



ПАРОВОЗЪ

Состав № 9–2019

ПОЭТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ-НАВИГАТОР
СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ



Москва
2019

УДК 821
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-5
П18

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации*

Куратор проекта *Виктор Маркин*
Составитель выпуска *Алексей Пурин*

П18 Паровозъ: поэтический альманах-навигатор (№ 9) / сост. А. А. Пу-
рин. — М.: Союз российских писателей, 2019. — 368 с.
ISBN 9785-901511-48-0

В этом выпуске собраны стихи семидесяти пяти поэтов и переводчиков, живущих в Петербурге или кровно связанных с городом на Неве. Это мастера очень разные по мировоззрению и стилю. У них несхожие родословные. Они вышли из зачастую противоборствующих студий и школ. Эти поэты готовы горячо спорить между собой по поводу предшествующих и сегодняшних ценностей. Битвы случаются не на шутку. Но почти все они — последователи «петербургской» поэзии в широком смысле этого прилагательного (как, впрочем, и многие их коллеги, живущие в Москве, Харькове, Омске, Бостоне...).

УДК 821
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-5



Начальник пассажирского
поезда
Светлана ВАСИЛЕНКО
(главный редактор)



Диспетчер движения
Екатерина АРТ
(ОМЕЛЬЧЕНКО)
(обложка, художествен-
ное оформление)



Машинист
Владимир МИСЮК
(редактор-составитель)



Проводница
Валентина КИЗИЛО
(литературный редак-
тор)



Кочегар
Виктор СТРЕЛЕЦ
(составитель)



Мастер депо
Павел МАРКИН (ЁЖ)
(обложка, рисунок)



Стрелочник
Алексей ПУРИН
(составитель выпуска)

ISBN 9785-901511-48-0

© Союз российских писателей, 2019
© А. А. Пурин, вступ. статья, составление, 2019
© П. В. Маркин (ЁЖ), обложка, рисунок, 2019
© Екатерина Арт (Омельченко), обложка, художественное оформление, 2019
© А. В. Васильева, верстка, 2019

Петербургский контекст

Памяти Олега Юрьева

Вообще говоря, «петербургской» может именоваться вся без исключения русская силлабо-тоническая поэзия. Просто потому, что она — петербурженка, родилась некогда в этом «умышленном» — морском, европейском, западном — городе. Известна точная дата ее рождения — 1739 год. «Ода блаженные памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над Турками и Татарами и на взятие Хотина 1739 года» — первое силлабо-тоническое стихотворение, написанное на русском языке Михаилом Васильевичем Ломоносовым: *Корабль как ярых волн среди, / Которые хотят покрыти, / Бежит, срывая с них верьхи, / Претит с пути себя склонити; / Седая пена вокруг шумит, / В пучине след его горит...*

Рифмы, увы, оставляют желать лучшего. Но слово «корабль» верно прочитывается в этом первом отечественном опыте конвенционного стихосложения, чего не скажешь о многочисленных ляпах последующих пиитов, у которых появляются и «кораБель», и «сентябОрь», и «октябЫрь».

Но если с рождением всё ясно, то с зачатием и вынашиванием вопрос куда более сложный. Нельзя тут забыть имён Василия Тредиаковского и Александра Сумарокова. Работа была дружной, хотя вся эта троица между собою и враждовала люто.

Как и многое другое, возникшее у нас в эпоху петровских преобразований, новая поэзия подслушана у европейцев, привита от них к существовавшей до того русской силлабике, но в отличие от своей германоязычной матери, погрязшей к середине прошлого века в безысходном верлибре-перформансе, цветёт и поныне.

Академик В. Н. Топоров ввёл понятие и очертил контуры «петербургского текста русской литературы», то есть огромного комплекса произведений, так или иначе описывающих Петербург как явление и феномен. Но и задолго до него создавались подобные или весьма схожие построения — «петербургский миф», «петербургский период русской словесности», «петербургская поэтика» и т. д., и т. п. Дело вполне понятное, даже житейское — то, что привлекает глаз и разум, постепенно становится «текстом». Существуют громадные «римский» и «венетский» тексты мировой (да уже и русской!) литературы. А сколь грандиозен и своеобразен «московский текст» — от, скажем, Ивана Дмитриева и Чаадаева, через романы Льва Толстого и Андрея Белого (этот отметился ведь и «Петербургом», и герои графа постоянно пользуются Николаевской железной дорогой), через очерки Гиляровского к незабвенному Вен. Ерофееву, Трифонову, Нагибину, Рыбакову!..

«Началось „Одой на взятие Хотина“ (1739), кончилось августом 1921 года», — решительно пишет Нина Берберова в своей эпохальной книге «Курсив мой». То есть смертью Блока, гибелью Гумилёва, эмиграцией многих выдающихся русских литераторов. В 1924-м брошенная временщиками столица утратила свое подлинное имя (уже подпорченное, десаκραлизованное в 1914-м), обзавелась кличкой.

Можно и нужно, конечно, говорить и о «ленинградском тексте» — со всеми иллюзиями 1920-х, с расцветом обэриутов и филологической школы, с ленинградской антисталинской фрондой в партверхушке, с крушением этих иллюзий в 1930-е, с убийством Кирова и массовыми репрессиями, с героической и ужасной блокадой, с безликой «областной судьбой» города в 1950–1980-е. Но поэзия теплилась и в эту эпоху. В Ленинграде жил Михаил

* Любопытно, что Стамбул тоже оказался революционерам слишком окраинным, чересчур западным и излишне морским.

Кузмин, жила царственная Ахматова, а в 1960-е город дал стране и миру замечательных новых поэтов — Евгения Рейна, Александра Кушнера, Иосифа Бродского...

Поэтому воспроизводимая нами статья эмигрантского литературоведа и культуролога Владимира Вейдле «Петербургская поэтика», написанная приблизительно в то же время, что мемуарная книга Берберовой, кажется пророческой и оптимистической. Настоящая поэзия не умирает. Дело не «кончилось августом 1921 года»!

Вот и город спустя пропасть лет вернул свое законное имя, что несказанно радует и меня, и поэта-петербуржца Александра Комарова: *Ни Пушкина, ни Блока, ни Ахматовой... / Всё меньше старых знаков и примет. / Но город погружён в привычно-матовый / и призрачно-необъяснимый свет. // Он пережил переименования, / вождей неудовольствие и гнет, / но было для надежды основание, / что имя настоящее вернет. // Хоть многое повыскребли, повытерли, / и перелицевали все вокруг, / но вот дарю Вам книгу, а на титуле, / как и тогда, стоит — «Санкт-Петербург»!*

Нельзя не порадоваться и тому, что Царское Село вновь значится на карте российских железных дорог (правда, остановку «21-й км» переименовали в «Детскоевельскую» — видимо, на память о полупреодолённом топонимическом идиотизме). Петербург без Царского плохо представим, это сообщающиеся сосуды. Поэтому наш сборник украшен исследованием «царскоевельского текста», принадлежащим перу Андрея Арьева, знатока, в частности, царскоевельской поэзии и творчества Георгия Иванова. На этих страницах наряду с классиками читатель увидит и имена некоторых пассажиров питерского «Паровоза».

Под этой обложкой собраны стихи семидесяти пяти поэтов и переводчиков, живущих в Петербурге или кровно связанных с городом на Неве. Это мастера очень разные по мировоззрению и стилю. Они пишут о чём им заблагорассудится. У них несхожие родословные. Они вышли из зачастую противоборствующих студий и школ. «Лейкинцы» никогда не согласятся в деталях (где прячется дьявол) с «сосноровцами», а тем более с «кушнерианцами». Кто-то ведёт свою линию от обэриутов, кто-то от акмеистов, кто-то ищет нечто совсем новое... Эти поэты готовы горячо спорить между собой по поводу предшествующих и сегодняшних ценностей. Битвы случаются не на шутку. Но почти все они — последователи «петербургский» поэзии в широком смысле этого прилагательного (как, впрочем, и многие их коллеги, живущие в Москве, Харькове, Омске, Бостоне...).

Олег Юрьев (28 июля 1959, Ленинград — 5 июля 2018, Франкфурт-на-Майне), поминая милые тени — Леонида Аронзона, Сергея Вольфа, Елену Шварц — тоже выстраивает свою родословную: *Слетай на родину, — я ласточке скажу, — / Где Аронзон жук избегает по ножу / В неопалимое сгорание заката, / И Вольфа гусеница к листику салата / Небритой прижимается щекой, / И ломоносовский кузнечик над рекой / Звонит в сияющую царскую монету; — / Ты можешь склунуть их, но голода там нету, / Там плачут и поют, и кто во что горазд, / И Лены воробей того тебе не даст.*

На первый взгляд — родословную очень специфическую, узкую, не каждому близкую. Но на самом деле, если читатель находится на уровне автора, в той же мере владеет материалом, в этом чудесном стихотворении для него звучит весь хор, весь орган почти трехвековой русской поэзии... да нет! — мировой! «Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин», — говорит Ходасевич о загробном мире. «Там с маленьким фонариком в руке / Жук-человек приветствует знакомых», — вторит ему Заболоцкий. И, разумеется, здесь присутствует Ломоносов, чуть похожий на Хлебникова.

И всё это удивительным, совершенно домашним образом как-то отодвигает и посрамляет смерть.

Алексей ПУРИН

ПОЭЗИЯ

*Михаил АЛЕКСАНДР
Ольга АНИКИНА
Евгений АНТИПОВ
Алексей АХМАТОВ
Владимир БАУЭР
Анатолий БЕРГЕР
Валерий БОБРЕЦОВ
Тамара БУКОВСКАЯ
Александр ВЕРГЕЛИС
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ
Николай ГОЛЬ*

1

Санкт-Петербург — Россия



АЛЕКСАНДР МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ родился в 1983 году в Ленинграде. Поэт, автор книг «Геометрия крыла» (2004), «Перед ночлегом» (СПб., 2006), «У воды» (2011), «Ultima Ratio» (2014). Лауреат и финалист ряда городских поэтических конкурсов. Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Зинзивер», «Нева». Член Союза писателей С.-Петербурга.

Михаил АЛЕКСАНДР

* * *

Стоят хомяки у самой реки
и думают хомяки,
что воды легки у этой реки
и глуби неглубоки.

И якобы, брод в реке отыскав,
почти не намок хомяк,
а вывел на берег свой батискаф
и только потом обмяк.

И будто бы там, на том берегу,
незримо за гребнем вод,
никто хомячат не кладёт в рагу
и счастлив, кто там живёт.

Но вот один не пьёт и не ест,
не ходит с набитым ртом,
холодным взглядом глядит окрест
и говорит потом

о том, что брод — это просто бред,
поскольку легенда врёт,
о том, что другого берега нет,
а если есть, то не тот

о том, что тем, кто всегда готов,
пора бы умерить прыть,
что жизнь прожить, в конце-то концов, —
не реку переплыть.

А я плаваю, и лопасть весла —
то в волны, то в облака,
и глубь глубока, и вода тяжела,
и лодка моя легка.

* * *

— Скажи, а если бы было две, ты бы прожил со мной вторую? —
вполне серьёзно спросила она, взглянув на моё кольцо.
И тут мне стало не по себе: я чувствовал, что ворую
её улыбку и красоту, и стыд опалил лицо.



— Послушай, — сказал я, придя в себя, в застенчивого зануду, который и в первой-то был, увы, не самый большой герой, — о том, что было бы, если б две, я говорить не буду, поскольку известно: всего одна, и нет никакой второй.

Потом она вышла. Растаял след, как обещанье рая.
А я остался, вновь ощутив жестокий приступ стыда:
«А как бы, действительно, я поступил, если б была вторая?»
И тут же стали советовать мне, как поступить тогда.

Зануда твердил: «Никакой второй!» Резвился подлец: «За нею!»
Романтик тоже шепнул: «Пошли», — и вынул билет в кино.
Скучал мизантроп, изучая стол. Нёс фаталист ахинею.
И все эти пятеро были мной. И были они одно.

Потом мы вышли. Точнее, я. Шаги её растворяя,
летела первая под откос, как камень летит с горы.
«А как я действительно поступлю, когда наступит вторая?»
И все эти пятеро, как один, хватались за топоры.

ЗАПОВЕДЬ

«Будь краток, — мне говорили перед рождением. —
Не будешь краток, во что мы тебя оденем?
Где мы найдём столько марли, фланели, ситца?
Не будешь краток — не сможешь нигде уместиться».

«Будь краток», — мне в детском саду говорили.
Экономили кашу, не слишком много варили.
И долго, но кротко я смотрел в молоко тумана,
где шумел за соседним домом проспект Шаумяна.

«Будь краток, — мне всегда говорили в школе. —
Сочинение это ты будешь писать доколе?
Мы ценим твой труд, но нельзя же сидеть до ночи!» —
И: «Зачем столько формул, если можно решить короче?»

«Будь краток, — говорил мне один из лучших
поэтов. — Сокращая стихи, получишь
ясный звук без оборок и оторочек».
Я сокращал, хоть мне было жалко строчек.

Так полюбил я писателей, больше — хлёстких,
не принимая классиков, их громоздких
построений по сотне страниц на каждую тему:
в двух словах легко изложить любую проблему.

Так полюбил самолёты с их равномерным
гулом; домишки, жмущиеся к тавернам
на тесной набережной с игрушечными катерами,
где мы коротко жили и времени не теряли.

Счастье было недолгим, ночлег был краток,
жизнь извивалась в сроках, контрольных датах,
всё обрывалось, что ожидалось присно.
Длилась разлука и тем была ненавистна.

И вот, я стою на пороге Нового года.
Короткий день свела до нуля погода.
Густые тени лежат по пустым долинам,
и мир этот кажется невыносимо длинным

как поезд во Владивосток, как роман Толстого,
как тьма впереди в декабре в половину шестого,
как очередь в кассу, усталые эти лица...
И всё это длится, Господи, длится, длится.

* * *

Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует.

Пабло Пикассо

Неназванной войны не умолкает эхо.
Осенний пересчёт — как перечень утрат.
— А эта где? — Не здесь. — А этот как? — Уехал.
Бессилья твоего печальный результат.

Такая пустота зияет вечерами,
такая немота подтачивает быт...
Один — на пару лет, — и это как бы ранен,
а тот, что навсегда, — как будто бы убит.

Что утешенья в том, что отперта граница,
что милые черты не искажает Сеть?
Ведь то, что было здесь, ни в чём не сохранится,
и даже то, что есть, запомнить не успеть.

И, видимо, беда не в том, что, переехав,
они своим огнём усиливают мрак.
Мне душно от себя. Мне тяжело от доспехов.
Но не объявлен бой. И неизвестен враг.

* * *

Всё оказалось не тем, чем казалось вначале.
Помню тот вечер, когда небосвод омрачали
лишь одинокие розовые облака.
Мне не спалось. Бесконечное, тикало время.
Вдруг оказалось, что ночь не смыкается. Темень
не наступает в июне. И даль далека.

После я думал, что только у нас и в Канаде
встретишь берёзы. И песню с обложки тетради
переложить невозможно на новый мотив.
Вышел наружу — и сразу развеялось это:
то ли не все уместились у песни куплеты,
то ли берёзы растут, никого не спросив.

Так продолжалось и дальше — оставим примеры —
преображались миры, исчезали химеры,
разума сон заменяла рассветная явь.
Я не сказал бы, что делалось хуже, — напротив,
но, предпринятие веры моей обанкротив,
что-нибудь мне, дорогая реальность, оставь!

Даже закон у того, кто не выплатил ссуду,
не отбирает, к примеру, кота и посуду,
стул и подушку, рубашку, часы и носки,
книжки на полке. Всецело распахнутый яви
разве и самую малость присвоить не вправе?
Это не роскошь, а средство спастись от тоски.



Да и чему доверять, если всё ненадёжно?
Завтрашний день обещает, что прежнее — ложно.
Чашка разбита, усатый подлец — пятилап,
главные книги — наивны, пятно на одежде...
Лишь бесконечное время спокойно, как прежде,
тиканьем нас приглашает на новый этап.

7 НОЯБРЯ 2017

В параллельной Вселенной колышутся транспаранты,
пахнет осенней прелью, бензином, одеколоном.
Утром друзья и соседи собираются у парадной,
дворник Иван Ильич формирует колонну.

Васька, дурак, при всех щеголяет новой машиной —
якобы у отца имеется разрешение.
Там молодые юристы рядком стоят над могилой,
их округлые лица напоминают мишени.

Там по всей стране от Донецка до Ленинабада
вьются красные флаги, слышится гром оркестра.
Нет, Иван Ильич, мне ничего не надо.
Я — человек без плоти. Просто пустое место.

Я человек ниоткуда — хочешь, стреляй навывет —
вещь с отрицательной массой, опыт, что ложно нажит.
Хочешь меня запомнить? Но ничего не выйдет.
Даже как звать — и то наутро никто не скажет.

Я человек оттуда, где Родина стала пылью,
болью, обломком глобуса. Там, сединой белея,
не ты подметаешь улицу. И красную эскадрилью
не поднимают в воздух по случаю юбилея.

Там безразличие стало залогом бесстрашия. Больше —
окольным путём к свободе, к странствиям между мирами.
Вечна лишь пустота и поздняя осень. Бой же —
только попытка спастись от медленного умиранья.

Но, чем размышлять, что лучше, пищу жуя сырую,
без координатной сетки двигаясь к абсолюту,
лучше уж встану в колонну, лучше промарширую
вслед за тобой навстречу флагам, цветам, салюту.



АНИКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА родилась в Новосибирске в 1976 году. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Жила в Москве и Сергиевом Посаде. Закончила Новосибирский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей С.-Петербурга.

Стихи, проза и критические эссе опубликованы в периодике («Сибирские огни», «Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба Народов», «Новая Юность», «Волга», «Зинзивер», «Волга», сетевой журнал «Литература»). Книги стихов: «Первоцвет» (2001), «Соло» (2006), «Жители съёмных квартир» (2012), «Картография» (2016). Проза: «Тело ниоткуда» (2014), «С начала до конца. Рассказы» (2017). Лауреат Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2013, III место; 2015, II место). Лауреат Международного фестиваля русской поэзии «Пушкин в Британии» (1-я премия, 2013). Лауреат Волошинского конкурса (2017). Дипломант премии им. Н. В. Гоголя в номинации «Вий» за роман «Тело ниоткуда» (2014). Дипломант Волошинского конкурса (2016). Лауреат литературной премии «Поэт года» портала Стихи.ру (1-я премия, 2011). Участвовала в 14-м международном фестивале поэзии в Буэнос-Айресе, а также в 32-м фестивале поэзии в Труа-Ривьер (Канада, Квебек). Стихи переведены на английский, французский, испанский, корейский, болгарский языки, а также на иврит и фарси.

Песню «Молитва» («Мой голубь за окном») и песню «Фишка» на стихи О. Аникиной и музыку Алексея Белова исполняет российская певица Ольга Кормухина.

Ольга АНИКИНА

КВАРТИРА

Я в чужой полутёмной квартире.
Табурет. Подоконник. Стакан.
Люди просто меня приютили
и разъехались по отпускам.
Дали ключ, на ходу показали,
где рубильник, утюг и бельё.
Я брожу в коридоре и в зале,
обживаю жилище своё.

И душа неожиданно вспомнит —
а казалось, что всё позади —
холод наскоро прибранных комнат,
вот таких же, как эти почти.
И вхожу я на кухню — и страшно,
и пространство стремится к нулю,
там, где каждая ложка и чашка
говорит: я тебя не люблю.

Наши вещи затравленно жались
по углам, где вина не видна,
друг от друга подальше держались,
и теряли свои имена,
и зиял серебристым пробелом
на две части поделенный дом,
и всегда что-то глухо скрипело
по ночам в коридоре пустом.

А сегодня я гость бессловесный,
гостя собственной жизни былой,
и кружатся метельные бесы



над сиреновой майской землёй.
Царство нескольких проклятых метров,
мир, где враг уживался с врагом.

И чужих одиноких предметов
только смертные маски кругом.

КУЛУНДА

Есть такое село в нашей огромной стране.
Зовётся Большая Вода,
по-местному — Кулунда.
Говорят, в Кулундинском районе голода нет.
Может, там просто некому голодать.

...Сначала по Ладоге, составы тащились по льду,
а потом нас грузили на поезд — и в Кулунду.

На каждой станции
поезда подолгу стоят.
Каждый вокзальный фонарь был как сказочный самоцвет.
Петьке — четыре, Анечке — шесть, а я
совсем большая — почти одиннадцать лет.

Петька крадёт мою пайку, засовывает в носок,
а ночью под одеялом тихонечко достаёт,
злыми зубами пережевывает кусок,
а после лежит, и руки его как лёд.

Может быть, когда-нибудь, где-нибудь,
в Кулунде
оба мы будем думать не о еде.

Я смотрю за окно — качается лес за окном.
Мы едем мимо изрытых полей, мимо домов-калек.
У Большой Воды на краю
нам выделяют дом,
поселят и позабудут на несколько лет.
Потеряют какие-то бумаги, потому что кругом война.

...В кружке сладкий топлёный снег —
ночью Анечка хочет пить.
Закроешь глаза: Петроградская сторона.
Откроешь — очнёшься на
самом краю Земли, посреди Кулундинской степи.

Весна на реке проклёвывала скорлупу
в апреле. Мы перестали слушать выкрики поездов.
Часть бумаг отыскали, в наш дом привезли крупу,
опять не сошлось: нас стало меньше
на пару десятков ртов.

Но было намного легче следующей зимой.
Петька выжил. Они с женой
до сих пор живут на Сенной.

А я что ли путаюсь иногда,
говорю: — Кулунда. Кулунда.
Анечка, принести попить?—
и она отвечает:
— Да.

СТЕКЛО

...Им нравилось моё лицо,
ему они и улыбались.
Когда ж я что-то говорила —
я говорила очень мало,
меня почти никто не слушал.
Но вдруг случилось кое-что.

Всему виной настенный шкафчик
с непрочной дверцей из стекла.

Он много лет висел на кухне,
и странно, что никто не видел,
как вдоль поверхности стеклянной
мелькнула трещина.
И вот —
я дверцей хлопнула, не глядя,
достала соль или петрушку,
и наклонилась над плитой.

А в это время гильотина
скользнула вниз.

Надбровье.
Веко.
Щека.
Часть носа.
Подбородок.
Глаз уцелел, о счастье, глаз.

Прошло два года. Что могли —
то залечили.

.....

Нынче люди
совсем не смотрят на меня.
Зато — что ни скажу — то слышат.
Прислушиваются, кивают,
и, отвернувшись деликатно,
ещё раз просят повторить.
Смеюсь в ответ: так меньше видно
лицо.

И мне давно понятно,
что ни умнее я не стала,
ни мир не сделался добрей.

Но я всё так же, как и прежде, —
люблю, что хрупко. То, что бьётся.
Стекло? А хоть бы и стекло.

* * *

Кошка подходит ближе, с точностью геометра
рисует круг и садится, перекаtywая в гортани
камень за камнем, и там, в её тёмных кошачьих недрах
рушатся города, закипает вода в Иордане
читает псалмы убийца, калеча слова губами,
ходят убитые, бьют в свои чёрные барабаны,
трескаются зеркала, и в их дымчатой амальгаме
только дисмасы, только гестасы, варраваны



тяжёлая, древняя дрожь земли, это скачут кони монголов,
стальные машины, рыча, прокладывают траншеи.
И видно ещё, как одна из нас перегрызает горло другой,
и видно, как я молчу, наклоня шею.

* * *

Когда уходит человек,
и комната гудит, немая,
ты в ней стоишь, осоловев,
и ничего не понимая
но сразу замечаешь ты,
как всюду возникают сами
полупрозрачные следы
его нечаянных касаний:

салфетка, ручка, метроном
и чашка со следами чая.
Ты слышишь где-то за окном
ветвей неясное качанье —

их тронул человек живой.
Коснулся и ушёл, уехал.
А в комнате такое эхо.
Такое эхо, боже мой.

* * *

Над старой канавой пырея густые вихры,
мои маргаритки, мои золотые шары,
ивняк серебрится над заводью, сторблен и сед,
горячая память, глухой облепиховый свет.

О дым погребальной сирени, сиреневый дым,
Скажи мне то имя, которое было моим,
О маковый ящер, ты держишь мой голос силком
на угольном шёлке под алым своим языком.

Ни слова не слышу, сияет зрачков чернота,
В закопанных бочках в саду замерзает вода,
На этой земле, и никак меня здесь не зовут,
где травы бледнеют, и бурые пятна текут.

Верни меня, дом мой, в свои ледяные круги,
Окликни меня, звоном яблочным, громом ирги,
Своим чечевичным, горелым, пустым забытём
насильно меня накорми на пороге своём.



АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ родился в 1958 году в Ленинграде. Поэт, эссеист, публицист. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. По специальности — архитектор. Автор ряда проектов, в том числе интерьера ведущей риэлторской фирмы России «Адвекс-Росстро». Действительный член Петровской академии наук и искусств. Печатается в периодике с 1987 года. Член Союза писателей России, автор восьми книг, эссе, исторических исследований, теоретических и публицистических статей. Лауреат премии «Созидатель» (2006), премии «Молодой Петербург» (2009), обладатель ленты «Поэт года — 2016». Действительный член Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина. В 1980-е годы — староста литературного объединения В. Сосноры. В настоящее время — куратор литературного клуба «XL». Преподаёт на кафедре рисунка

С.-Петербургского архитектурно-строительного университета, читает лекции на историческом факультете С.-Петербургского государственного университета. Член оргкомитета ежегодного литературного фестиваля «Петербургские мосты». Президент «Ассоциации творческих объединений».

Евгений АНТИПОВ

СТАРАЯ ПЕСЕНКА

Есть банальнее ли из поэзо-цитат,
чем в шипах диво-роза цветущей красы?
Только именно так она и цвела —
в ртутных капельках крупной росы.

Боже мой, смотрел, и как хороша.
Эти белые лопасти, нега, овал.
Пододвинув к лицу, я чуть-чуть дышал.
И — не трогал. Так рисовал.

Как послушно склонялась ее голова,
ибо знала, рисунок — обитель её.
Я лишь брал росу языком, как фавн,
я ничем не обидел её.

Не боялся шипов, ликовала свирель,
и рисунок, да что там, настолько хорош.
...Но — ходи в лесу и рыдай, как эльф,
только розу свою не вернёшь.

Как во всякой сказке, луна и меч:
шёл, должно быть, романтик. Сорвал, унёс.
Да и можно ли розу в саду сберечь,
это вопрос, вопрос.

Эх, цветок, цветок, я молчу вослед
и живу без палитры, не трогаю лир.
...Это старая песенка, ей много лет,
я только её повторил.

Где-то путал сюжет, но по нотам сыграл.
У невинной у песенки умный итог:
будь ты эльф, будь ты сказочник, а выбирай —
рисунок или цветок.



СИЛУЭТ

Конструкция из хрупких линий,
с печатью «юность» на челе,
кому приходишься богиней?
к кому приходишь на ночлег?

С улыбкой детской или светской
посеешь что и что пожнёшь?
В театре действий, в общем, скотских,
актрисочка, чего ты ждёшь?

Объект здоровых вожделений,
идёшь, как посуху. Паришь,
как мимолетное виденье,
в какой придуманный Париж?

О, нимфа (о, потенциальный
источник вирусов и лжи),
покрасив рот помадкой алой,
прекрасная, куда спешишь?

Туда, где с пылыми устами
и благородны, в «мерседесах»,
как принцы, как под парусами...
И ты походкой стюардессы

идёшь себе — и всё прекрасно, —
чтоб где-то там, у тридцати,
понять отчаянно и ясно,
что больше некуда идти

что вместо грёз и страстной дрожи —
семья, любовник-комильфо,
и всё, что на земле возможно,
вполне достигнуто: комфорт.

И это в лучшем варианте.
Куда, конечно, не вошли
чулки эротомана, бантик,
шприцы с блаженством до вершин

безапелляционность ласки,
своеобразная мораль
и где луч света в тёмном царстве —
фонарь. И всё. А дальше мрак.

Или сюжет, где смех с фужером,
благополучный смех... И что ж?
...Идёшь навстречу всем сюжетам,
со звонким цоканьем идёшь.

Иди. Пусть царства погибают.
Иди, чтоб головы кружить.
Как девушке и подобает.
Как и
предполагает жизнь.

НОЧЬЮ

Лампа грела интерьер:
стол и стул. На стуле,
будто пленный интервент,
он сидел сутулясь.

Это крах или игра —
он висок (не дурно:)
словно дулом подпирал
пальчиком скульптурным.

Он смотрел нехорошо
резвыми глазами.
Шевелил карандашом,
ноготок кусал он.

Чиркнет, и опять туда
смотрит: звёзд как грязи.
Там огромная луна.
Не луна, а праздник!

Что вынюхивал? Зачем?
На кого работал?
Чей он был агент? Ничей?
Просто так? Ну то-то.

Всё сидел, капризный. Ночь
двигала светила.
Одинок, не признан, но
грифелем водил он.

И поставил точку — здесь.
Встал, пошёл, зевал он.
...Две минуты на листе
что-то доживало.

ГОМЕР

В. Сосноре

Кто я? Пророк? Просветитель? Урод?
Боже, как жаждал я радужных солнц!
Жадный до жизни, я слеп. Лишь обрёл
дрёму дремучей архаики. Сон.

Мрамор — глаза мои, — мрамор. И зря
в белую бездну свой взгляд ты уставишь.
Пальцами, слышишь, я пальцами зряч.
Блеск этих глаз — только снег и усталость.

Им не дано ни порхать, ни парить.
Мышью летучей я маюсь во тьме.
Я же Гомер, а не просто старик.
Видишь, я тризна по этим и тем.

...Дым у бортов. От мостов. О восторг!
Тысячу лет набухал он в слезах
таявших век. Да, мы шли на восток,
смуглое мясо месил мой тесак.



...Бурю, Борей!.. Только парус обрюзг.
Слеп, я не ведал, о том, что творил.
Вот и не знаю теперь, что творю:
мой шестистопник, шесть крыльев твоих.

И не проси меня: выпей и спой!
Я — это память камней и комет,
плач о былом — а не просто слепой.
Я — навсегда: я Гомер.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Без доказательств и причин,
беззвучный, как перо,
за гранью точных величин,
на рубеже миров

летит Голландец. Он фантом.
И все-таки — летит!
Непостижимый как никто
и как никто один.

Неутомим и невредим,
изгой или бунтарь,
откуда и куда летит?
Откуда. И куда.

Прямолинейный, как беда,
и ветры нипочём.
Ничем твой вечный капитан
уже не омрачён:

когда забрезжит материк
и не охватит взгляд, —
то матерись, не матерись,
но это не земля.

В краях иных идей, веществ,
среди эфемерных скал
что ищешь ты? Что вообще
в таких краях искать?

На выбор: слава, суицид,
любовь и просто жизнь —
но суетись не суетись,
а это миражи.

В твоём загадочном НИГДЕ
реален лишь полёт.
...Лети, Голландец, как летел.
И каждому своё.



АХМАТОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ родился в 1966 году. Поэт, эссеист, руководитель общества «Молодой Петербург», главный редактор одноимённого ежегодника и куратор премии «Молодой Петербург». Член Союза писателей России (Санкт-Петербургского отделения). Лауреат премии им. Бориса Корнилова (2010), премии журнала «Зинзивер» (2014, 2015) и премии им. Н. В. Гоголя (2016). С 1980-х годов публиковался в журналах, альманахах и антологиях страны и ближнего зарубежья («Нева», «Звезда», «Аврора», «Юность», «Литературная учёба», «Немига литературная», «День поэзии», «Русские стихи 1950–2000», «Литературный Петербург XX век» и т. д.). Переводился на сербский, болгарский, немецкий и английский языки.

Автор поэтических книг «Солнечное сплетение» (1989), «Камушки во рту» (1993), «Сотрясение воздуха» (1998), «Избранное» (2005), «Воздушные коридоры» (2008), «Работа с любовью» (2011), книги статей «Срез» (2000) и книги эссе «Моего ума дело» (2016).

Алексей АХМАТОВ

ПОРЫВ

Внезапный дождик клюнул землю,
Прошёлся ветер взад-вперёд.
Неимоверно сузясь, щелью
Вдруг стал обширный небосвод.

Орешник кинулся в укрытье,
Ольха вскочила на коня.
Не в силах их остановить я,
Они не слушают меня.

Они бегут, как в паранойе,
Меня уносят за собой,
Всё отрицает куст терновый,
Жасмин кивает головой.

Трепещет в полной несознанке
Смородины резной листок.
К его фланелевой изнанке
Присох улитки завиток.

* * *

Я как-то гостил у поэта
В глубокой таёжной глуши.
Он раньше был баловнем света
И судьбы чужие вершил.

А нынче он гладит берёзы
И чинит свой старенький ЗИЛ.
Про эти вот метаморфозы
Его я за рюмкой спросил.

И он мне тогда, колоброду,
Сказал без особых затей:
«Чем ближе быть хочешь к народу,
Тем дальше держись от людей!»



* * *

Хорошо войти в метель
Не спеша, почти на ощупь.
Справа еле видно ель,
Слева ствол берёзы тощей.

Выйду снежною порой
Из натопленного дома
Клубы пара, как в парной, —
Бархатная глаукома.

Хорошо издалека
Мысль обсасывать, как льдинку:
Говорят, что смерть легка
Под метельную сурдинку.

Впрочем, разве это смерть —
В ледяном застыть каркасе?
Смерть — согреться, смерть — суметь
Вдруг оттаять в одночасье.

Парадокс... А там, вдали,
Дома печь гудит как улей.
Не пойму — гуляю ли?
К суициду подхожу ли?

* * *

Дом не готов был к нашему приезду,
Незапертый, скулил из всех щелей.
И всё же принял, просушил одежду,
Являя много радостных вещей:

Дрова нам дали жар, а снег дал воду,
Лучина свет дарила кочевой,
Спирт телу дал негибкую свободу,
А тело телу — не скажу чего.

Крепчал мороз, мрак исподволь сгущался.
К луне тянулся хоботок дымка.
В ночи светился дом — шкатулка счастья,
Коробочка уюта без замка.

УДИВЛЕНИЯ

Как ты удивилась, когда я взлетел
На несколько метров усилием воли.
Я видел, как лоб твой упрямый вспотел
И пальцы в смятении сжались до боли.

И я удивился такой слепоте:
Мной не заинтересоваться, покуда
Я не развлеку тебя по простоте
Смешной демонстрацией глупого чуда.

* * *

На помойке остывают книжки
Сиротливой стопкой за бачком:
Горький с Фетом, Федин, Пушкин, Пришвин,
В куче «Люди, годы, жизнь», «Разгром»!

Их недавно холили на полках,
Нежно пыль сдували с корешков.
А потом решили — нет с них толку,
И как тех есенинских щенков

Сунули в большой мешок без дрожи
И избавились в конце времён.
Ну кому сейчас потребен Дрожжин,
Это тот, который Спиридон?!

Снег неторопливо засыпает
Слово во плоти, бесценный «Дар».
И опять идёт на дно Чапаев,
И опять сгорает Жанна д'Арк.

Ну конечно, всё есть в Интернете,
Книжкам цифровым потерян счёт.
Только никогда никто на свете
Так, как мы, их больше не прочтёт.

* * *

Я небом сыт. Его ночной огонь
Уже не жжёт мирами ледяными.
Теперь милее колыханье крон,
Чем полыханье древних звёзд над ними.

Смотрю наверх — кругом одни ковши
Льют пламя из порожнего в пустое.
Что мне до этих неземных вершин,
Когда внизу на крик кричит земное?

Здесь боль, и кровь, и радость только здесь,
Где всё сиюминутно и не вечно.
Усилий пыль и дел ничтожных взвесь
Важнее вечности бесчеловечной.

* * *

Вот ты — неумный, некрасивый,
Неинтересный весь такой,
Ещё добавим, что ленивый
И приплюсуем, что больной, —

Сидишь и жалуешься Богу,
Своим нытьём его гнева,
А он тебе вдруг на подмогу
Шлёт не кого-нибудь — меня!

Не самого, ты не пугайся,
А в виде книжечки моей.
Сиди, читай и утешайся,
Что есть глупей тебя, больней!



* * *

Юлии Медведевой

Не пишет никто здесь теперь ни романы, ни стансы,
За нас перед вечностью слово пытаюсь замолвить.
Из пишущей братии в доме сегодня остался
Лишь с орденом Ленина гипсовый Серафимович.

А. Городницкий. Дом творчества

Просветы меж тучами яркие,
Шуршат кивера камышей,
Щетинятся сосны гусарски,
Залив гонит волны взашей.

Играет в щенячьем запале
С газетным клочком ветерок,
Пасутся на пляже мангалы,
Пощипывая песок.

Пейзаж комаровский безлюден,
В нём редок как цапля поэт.
Учёных здесь больше не будет,
Художников тоже здесь нет.

Урезала Родина квоты
Творцам всех мастей на жильё.
Оставив, по крупному счету,
На пляжах турьё и жульё.

И всё же, бредя от залива
В убогий Дом творчества свой,
Ты кажешься даже счастливой,
И я очарован тобой.

* * *

Вот паук посвятил свою жизнь клочковатой сосне,
В арматуре ветвей обустроив сквозное жилище.
То в сосновых чешуйках, как Будда сидит в полусне,
То, на стропах качаясь, от щедрого неба ждёт пищу.

Созревают чернила в чернильницах круглых черник,
Ими даже неграмотным грех языка не испачкать.
Раздвигает пещеристым телом хвою маховик,
И берёзки танцуют своих лебедей в белых пачках.

Поролоновым мхом обложив черепа валунов,
Август, словно музейщик, проводит подсчёт экспонатов,
Не мешая ему, отодвинув тихонько засов,
Из ахматовской будки выходит похмельный Ахматов.

Не нарушив собою пейзажа, садится за стол,
Раскрывает тетрадь, и тому паучишке подобно
Ждёт, когда же с небес залетит к нему вкусный глагол,
Нет, не пушкинский, жгучий — ахматовский, матовый, сдобный!



БАУЭР ВЛАДИМИР ГАРРИЕВИЧ родился в 1969 году в Тбилиси. Поэт, автор книг: «Начало охотничьего сезона» (2000), «Папа Раций» (2006), «Terra Ciorani» (2011). Стихи неоднократно публиковались в журналах и альманахах «Звезда», «Аврора», «Вавилон», «Воздух», «Зинзивер», «Белый Ворон», «Urbi», «Folio Verso» и др., а также в антологиях «Лучшие стихи 2011 года», «Лучшие стихи 2013 года», «Антология Григорьевской премии 2012», «Собрание сочинений», «Аничков мост», «Петербургская поэтическая Формация». Участник поэтической студии Виктора Кривулина, проводившей свои встречи и художественные акции с 1992 по 1999 гг. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2013), обладатель приза зрительских симпатий Всероссийского конкурса им. Д. Хармса (2013), финалист литературной премии «Антоновка. 40+» (2019).

Владимир БАУЭР

* * *

Блажен, кто верует, блажен,
кто верует, блажен.
Прямую как ни удлиняй,
ты, сам себе рефрен,
недели мыкая, живёшь
растягивая жгут,
который в прошлое ведёт
в котором писем ждут.

И чтобы выпросить моток
проклятого жгута,
ты принимаешься писать
неведомо куда.
(Читатель, Ваньку вспомни и
забуди его, ведь Жу-
ков Ванька этот тёмный был,
а я свечу держу.)

Так вот, ты пишешь, и письмо
взлетает над свечой,
и исчезает, словно лист,
покрытый саранчой.
Всё, всё проглотится, и зев
тщеты как бог велик.
Но ты зачем о том твердишь —
не мальчик, не старик.

Ужели мышцею спинной
в нечаянный окуляр
ты видел, как тебя пробьёт
резиновый удар.
А может, силой одного
воображенья лишь
сугроб попробовал на вкус,
в котором ты лежишь.

Допустим — да. Но а тогда
зачем не чуешь, крот,
как в глотку катится звезда, —
блаженство настанет.



* * *

В соседнем цехе болты жолты,
и так манят к себе оне...
Но мастер мне сказал: *пошёл ты...*
и я шагаю, как во сне
над темной изгородью смыслов,
морали мреющей поверх,
а мне навстречу архипристав,
неисследимый суперстерх.

Ни гения, ни идиота
пласт понятийный тех высот,
где нам доумевать охота,
не знает: *свет вам да пейот!*

* * *

Мчатся бесы, тщатся бесы
перемерить все портки.
Я гоню их: *прочь, повесы,*
слабым манием руки

Толь слова мои им лестны,
то ли пламя плавит зад —
вылетают враз из бездны
и в примерочной галдят.

Даже те, кто многозады,
в кучах роются порток.
Воют горестно с досады,
свирепеют как де Сады,
швей швыряют в кипяток!

Так кармический сей скрежет
преотвратен, что у нас
и ножи уже не режут,
и межзвёздный слипся газ.

Даже кто в полынь укурен,
холодеет, видя, как,
приодевшись, стал гламурен
чёртозадоморфный мрак.

Вижь — втирающий — *и внемли,*
улещая и масля, —
всяку тварь в душе прими
да не кайся опосля.

...Всех спалю и Бодхисатвой
отсижусь в саду камен.
Пусть хлебнёт нирваны зад мой.

Пред обугленным Махатмой
вольных не склоню знамён!

* * *

Мне холодная весна так нравится теперь,
что страшно за себя и за приятельскую такую.
Пронзительный сквозняк проскальзывает в дверь
и, бескорыстно чист, струю несёт нагую.

Снег водянистый льёт на съёжившийся сад,
чьи, белые уже, недвижимы ладони.
А я не хмурю взор, я даже втайне рад,
что не до суеты обледеневшей кроне.

Не страшен мне борей — борею не до нас.
Он хочет до ручьёв застенчивых подземных
добраться — не сейчас, так в следующий раз,
и навсегда застыть в их девственных вселенных.

О стылая душа, привет тебе, привет!
И мудрая притом, и чуткая умело.
И смерть конечно есть, но смерти всё же нет.
А если кто затих — то батарейка села.

* * *

На — она уже остыла,
Боже мой, моя душа.
Вечно плакала и ныла,
угрызеньями шурша.
Вся до ниточки ослабла,
одолесть пытаюсь хлад.
На платформе объявили
остановку «Зиккурат».

На, храни её, и если
жрать захочешь, отогрей.
Мне — узнать осталось, есть ли
жар без дна (у якорей),
рай без музыки (у пенья),
синь без просыпу (у сна)
в полынье сердцебиенья,
для которой плоть — блесна.

* * *

В книгах по психиатрии я читаю только высказывания
больных, но не комментарии автора.

Эмиль Чоран

Я в первом классе ненавидела читать,
и мать не знала, что со мною делать,
и записалась на макулатуру,
и Толкиена прикупила мне.
Вот с тех-то пор я плотно прикипела
ко всякой готике и брак с толкиенистом
(к несчастью, неудачный — не тому
учили игры ролевые) заключила.
Лилейность чутких персей отдала
ладоням вечно потным, неумелым.



Вот случая могущество! Маман,
зачем ты Трёх хотя бы мушкетёров
мне не подсунула?! На розовый талончик
Граф Монте-Кристо также выдавался
и Драйзера Трагедии кирпич...

Хоть и сменила я теперь пластинку,
отнюдь бытьё уютнее не стало, —
во внутренний попав круговорот
борьбы сверхзапрещённых тайных обществ,
безумные наживки Парвулеско
глотаю глупой рыбой...

— *Что за чёрт?! —*
отчаянье рассудок вопрошает,
таращащийся мутными глазами
на проблематики экзистенциональной
летающее навстречу остриё:
— *Коль человек свободен от страстей,*
то власть над гномами ему на кой, о боже?!

* * *

Моим стихам, написанным столь рьяно,
что воспалённый мускус павиана
досель висит — а им немало лет,
хотя б за то сегодня благодарен,
что открывают двери новых спален,
и как же не открыться им — поэт,
министр наслаждений сам стучится,
когда ещё такое приключится?
А может быть, наутро воспоёт?

...Ночь перья распускает, как жар-птица,
и вопль, противный слуху, издаёт.

А что есть дух, как не стремление тела
преодолеть естественный отбор?
Поёт, не задыхаясь, филомела,
пока бурлит желанье в норах пор.
И вслушивается осоловело
столетний вран, забыв про «невермор».

«*Всё мускулистое плодоносяще*», —
напишет вялофалльный философ
и в чахлои антиномий сирых чаще
ещё продремлет несколько часов.
Когда надежда при смерти, чего уж
петь и плясать тут — всё всегда зазря.

...И тут во склеп врывается Приёмыш —
лучист, розовощёк.
И это — я!



БЕРГЕР АНАТОЛИЙ СОЛОМОНОВИЧ родился в Ленинграде в 1938 году. Поэт, прозаик. Окончил Библиотечный институт. Служил в армии в Заполярье.

В 1969 году был арестован и осужден по статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) за свои стихи, прозу, пьесу, эссе о поэтах Серебряного века на 4 года лагеря и 2 года ссылки. В 1990 году реабилитирован. Член Союза писателей Санкт-Петербурга (с 1992 г.), Союза российских писателей (с 2008 г.), член Пен-клуба (с 2015 г.). Публиковался в антологиях, в том числе подготовленной Евгением Евтушенко «Строфы века», журналах, альманахах, сборниках в России, Америке, Франции, Израиле, Австралии. Автор 16 книг стихов и прозы: «Подсудимые песни» (1990), «Смерть живьём» (1991), «Стрельна» (1993), «Древние сновидения» (1998), «Стихи и проза» (2001), «Монологи» (2004),

«А где-то там шумит страна» (2006), «Недосказанное» (2008), «Времён крутая соль» (2012), «Продрогшие созвездия» (2014), «Пламень» (2014), «Небыль» (2016), «Узел» (2017), «Избранное» (2018). В соавторстве с Еленой Фроловой — «Состав преступления» (2011), «Горесть незрелая» (2014). Лауреат альманаха «Лёд и пламень» (2014) (первая премия).

Анатолий БЕРГЕР

* * *

Деревья торчат, чернея,
Обглоданные зимой.
Поникла трава. Над нею
Завис небосвод, немея,
В тяжёлой грусти немой.

И замершие канавы
Забыли родство зеркал,
И скорчены и корявы
Кусты и слева и справа,
И палых листьев развал.

Из прожитых межсезоний
Припомню сейчас едва ль
Мгновенья потусторонней,
Тоску мрачней и бездонней,
Безвыходнее печаль.

Давно породнясь с природой,
От века с ней заодно
Болею её невзгодой,
Свободен её свободой:
Мне вправду это дано.

Когда минуют столетья
Далёких вёсен и зим,
В снегах ли, меж трав соцветья,
Я знаю — на белом свете
Я всюду буду своим.



МОЕЙ МАТЕРИ

Был горек сон и не расстаться с ним,
Всей тяжестью ложился он на плечи,
Но как я ждал, предчувствием томим,
О, как же я мечтал об этой встрече!

Разлуки смертной тёмная тщета
Второй десяток лет упорно длилась.
О, хоть бы сон! Не тьма, не пустота...
На миг один... И вот она явилась...

Стояла, опираясь на клюку...
И бросился я к ней... И счастье это...
Не знал такого на своём веку...
Грядущего пути, быть может, мета.

* * *

Всего пережитого
Нельзя вместить в строку,
Но хоть клочок, полслова
Того, что на веку
Мытарило, томило,
И всё-таки вело,
Со мной — не с кем-то было,
Быльём не поросло,
О чём пою и плачу,
Порою прочь гоню,
Но не переиначу
И не переменю.
В чём суть моя земная,
Мне заданный урок,
Тьма адова, свет рая,
Чтоб воплотить их смог.

* * *

На вереницу предстоящих дней
С привычным ожиданием усталым
Гляжу. Но жить желание сильней,
И повторяю: «Будь доволен малым»
Вслед за поэтом римским и другим —
Всезнающим, как змей тот допотопный,
Стихом в ночи мерцающим своим
Воспевшим русский ямб четырёхстопный.
А коль строка бессмертие сулит —
Страх пропадает, как внезапный морок,
Не чуешь тяжести могильных плит,
И каждый новый миг взаправду дорог.

* * *

Я свои избываю страхи —
Отдаю их строке внаём.
Вот гляди — мои охи, ахи,
Всё же легче с тобой вдвоём.

И шепчу: без меня когда-то,
(Если что не так — извини) —
Расскажи всем, мой согладатель,
Что в мои подглядела дни.

* * *

Те же буквы и азбука та же,
А попробуй Толстого достань...
Вот лежим мы с тобою на пляже,
Постигаем рассветную рань.

Тишина — наш привычный помощник.
Небо смотрит на нас свысока,
Составляют нам словно подстрочник,
И рождается вправду строка.

Тень Толстого и Пушкина, может,
Недовольно поморщится. Что ж —
После них уж никто так не сложит,
Только неба рассветного дрожь.

* * *

Зима уходит тёмными ночами.
Усталых звёзд пульсируют огни.
О, как студёно там — в небесной яме,
Там годы как века, века как дни.

Там тишина настороже бессменно,
И одиночество — безмерней нет.
Представить: ты один во всей Вселенной,
Не можешь различить — где тьма, где свет.

И что там календарь — земной, привычный,
И всё людское — мельче, чем песок,
Когда над нами тёмный, безграничный,
Далёкий мир — о, как же он высок.

* * *

В дни предотъездной суеты
Душа и вправду не на месте,
Как будто тайно чуешь ты
Намёк на что-то иль предвестье.

Всё бросить хочется на миг
И жить, не покидая дома,
Где то, к чему давно привык,
Непререкаемо знакомо.

* * *

Ночь длилась мутно и протяжно,
Вновь снился дом пятиэтажный,
Широкой лестницы углы,
Ни лифта нет, ни отопленья,
Но детство, первых строчек пенье,



Отец и мать глядят из мглы.
О, как летит всё мимо, мимо.
И всё. И явь неотвратима.
Явь, разрушающая сон,
Как долго бы ни длился он.

* * *

Надо мной небеса распростёрты,
Подо мной жестковатый песок,
А в прапамяти Рима когорты,
Вновь Север их ведёт на Восток.

Развеваются зыбко знамёна,
Славных воинов поступь крепка.
О, как близко оно — время оно,
Как подобны мгновеньям века.

И дрожу — бедный сын Иудеи,
Страх грядущего бьёт мне в висок,
О, прапамяти злые затеи...
Небо дальше, жёсткий песок.

* * *

Всю ночь стрекотали сороки,
В мои сновиденья спеша.
Алело уже на востоке,
Сквозь веток узор мельтеша.

А снились мне люди чужие.
Далёкой их жизни клочки,
Внезапные перипетии,
Разбитых судеб черепки.

И медленно я просыпался.
Вникая в рассветную рань,
И зябко мой сон рассыпался,
В ночную летя глухомань...

* * *

Небо. Залив. Я вне.
Чайка на валуне.
Ветер сквозь тишину.
Тина бредёт по дну.
Зябко. Начало дня.
Где я? Всё без меня.



БОБРЕЦОВ ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ родился в Ленинграде в 1952 году. Литературовед, художник, писатель стихов. Закончил филфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. В 1976 году по недоразумению представлял Ленинград на Всесоюзном фестивале молодой поэзии в Душанбе. Меры были приняты, и более такое не повторялось. Член Союза писателей С.-Петербурга (с 1994 г.) и Союза российских писателей (с 2008 г.). Однако никогда не печатался в изданиях этих организаций, так что выступает здесь в роли юного дебютанта. Автор поэтических книг «Сизифов грех» (1994), «Вторая рапсодия» (2000), «Эссенции» (2008), «Это самое. Избранные стихи» (2013). Лауреат Григорьевской поэтической премии (2011).

Валентин БОБРЕЦОВ

* * *

Главное, что египтяне открыли, — это «насекомообразную будущую жизнь».

Розанов. Апокалипсис нашего времени. Вып. 9

Да будет мир как сад цветущий
Для окрыленных пчёл-людей.

В. Князев. Красное евангелие. 1918

...комиссар Блох...

И. Уткин. Повесть о рыжем Мотэле

Во имя насекомое своё,
грозя войною до скончания видов,
в мир явится апостол муравьёв,
мессия ос, пророк термитов.

И грянет бой, которому греметь,
пока не станет небо островерхим,
пока под ним не обновится твердь
медоточивым пчеловеком.

* * *

...во тме сидя, кланялся на чепи
не знаю — на Восток, не знаю — на Запад.

Аввакум

Бог, эту землю плоскую слепив,
назначил ей быть полем честных битв,
где витязь примет богатырский вызов,
отваги хитрованством не унизив.
Досель тут бьются Запад и Восток.
То европеец, наметавши стог
серебряною вилок, то славянофилы
одерживают верх, поддев бифштекс на вилы.



* * *

1

С иголочного острия
куда ж вы, миленькие, сплыли?
Пыльцы серебряной струя
да вихорь платиновой пыли
сверкнув в огне закатном, ах!
вияся оседают на пол
во пух и тополиный прах
растоптанных древесных ампул.

2

Дырка в ткани универсума,
именуемая мной,
та, в которую небесная
тьма и холод неземной
льются ближнему за шиворот, —
да я сам бы ту дыру
ликвидировал-зашил, да вот
ниток всё не подберу.

* * *

вон гляди из-за угла
медленно вылазит
разнолик и многоглав
но единоголасен
и ползёт подъема пыль
чавкая всем телом
шествий уличных упырь
демонстраций демон

* * *

Город. Транспорт. Пешеход.
Крыша дома. Крышка гроба.
Пушкин. Яблоко. Корова.
Бормоча как обормот:
раз-два-три-четыре-пять
вышел зайчик за брюнета
один Брутто другой Нетто
ум-уменьше-умирать.

* * *

Я своё отсидел в ките
и ни разу не поднял хипеж.
Я сидел, сколько Ты хотел.
А теперь отпусти мя в Китеж!
Благо вот он, во всей красе.
И не за морем — в шаге с моста.
Не совсем же я оборзел,
чтоб проситься у Бога в Бостон.

* * *

Цун-Хуэй

...я подумал: кто же лучше, мы или корейцы?
Но что китайцы лучше нас, это бесспорно.

М. Пришвин. Дневник

Когда Бог-Отец был совсем юн
и не помышлял о Сыне,
в Китае, при династии Сун, —
боюсь утверждать про сине-
матогграф, но лет примерно за трис-
та пятьдесят до Адама,
придумали и бумагу, и рис,
а порох так и подавно!

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ: КАЗНЬ ДЕСЯТАЯ

Вот, по слову Божьему обобран
(или повторяется Исход?)
вслед этрускам, амореям, обрам,
долгий составляющим эскорт
скачет, перекошен от обиды,
бедуин на лысом ишаке
мимо усечённой пирамиды
с мумией в кургузом пиджаке.

* * *

полуподвал-получердак
колодец звездочёта
где ты подвял под вечер так
что увидал здесь чёрта
полумонах-полумахно
и враг позитивизму
в пылу а паш! а ну в окно
но ах спасите висну!

* * *

А нормальный рехнулся давно бы,
забредя ненароком сюда.
И когда не задохся от злобы —
часом позже сгорел со стыда.

Ошалевши с такого пандана —
ты куда, совопросник? Постой!

Бога нет? Но людей — и подавно:
И вот только: звезда со звездой.

* * *

Доверяя коль не оку, так уху
не пугаюсь, — это кот за портьерой
запоздалую преследует муху
на поверхности окна запотелой.



Слава богу, слово за Фортинбрасом, —
от варягов завсегда нам спасенье.
И Офелия, плывущая брассом
в сарацинском ритуальном бассейне.

3 ИЮЛЯ

Такое в голове (да чтоб ей!)
а на стене (левее сердца)
«Час пик», «изготовление копий»...
— Какое нынче? — Третье Ксеркса —
из фортки высунясь, спросонья
спроси я — лето. Лотерея
безвыигрышная. Баба Софья
с букетом хлора и елея

* * *

Перемещаюсь взад-вперёд,
коль Бог дал ноги.
Покуда чёрт не поберёт
в свои чертоги:
— Ну что, любитель болеро,
припомнил брата?
И крюк нацелит под ребро.
Ан, нет ребра-то!

* * *

Счастливый, как нашед подкову
в приморском аэропорту,
о, как я на траву шелкову,
Вас увлекая, упаду
в воображаемом лесу,
где под словесными дубами
я мысленных свиной пасу,
надеясь на свиданье с вами.

* * *

Наверно, это мне кричат?
А я бегу, как вор с пожара:
чужая шуба на плечах,
и на руках жена чужая.
А Вечный Третий Лишний Рим...
...кричат, морозный дым вдыхая, —
не то «держи», не то «горим»...
Какая дикция плохая!



БУКОВСКАЯ ТАМАРА СИМОНОВНА родилась в 1947 году в Ленинграде. Поэт, эссеист. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета. На рубеже 1960–1970-х годов участник литературной группы «Поэты Малой Садовой». В 1970-е годы посещала ЛИТО Т. Г. Гнедич в г. Пушкине и Г. С. Семёнова при Союзе писателей. Работала библиотекарем, экскурсоводом, учителем в школе, руководителем ЛИТО «Бродячая собака». С 1973 года и по сей день работает во Всероссийском музее А. С. Пушкина (ведущий научный сотрудник), являясь одним из создателей практически всех его экспозиций. В 1970–1980-е годы участвовала в самиздатских журналах «Северная почта», «Часы», «37». Является создателем музея «Самиздата» на Пушкинской, 10. С 2000 года — редактор журналов «АКТ» и «Зинзивер». Стихи публиковались в журналах «Вестник РСХД», «ЧП», «Звезда», «Аврора», «Новый мир», «Орион», «Колокол», «Арион», «Дети Ра», «Крещатик» и др. во многих альманахах и антологиях, изданных в России и за рубежом, они переведены на английский, итальянский, немецкий, французский, финский языки и язык Брайля. Автор полутора десятка стихотворных сборников. Первая книга стихов («Отчаяние и надежда») вышла в 1991 году, одна из последних («Безумные стихи») — в издательстве «Вита Нова» в 2012 году. Действительный член Академии русского стиха (АРС), учрежденной И. Бродским, В. Уфляндом и С. Лёном, член Союза писателей С.-Петербурга, Союза российских писателей и ПЕН-центра. Входила в шорт-лист премии Андрея Белого, отмечена наградами журналов «Дети Ра» и «Орион» (США).

Тамара БУКОВСКАЯ

* * *

небо пялится на землю
покрасневшими глазами
в летнем зное беспощадном
злеет зрея дух войны
беззащитно всё живое
перед умыслом железным
дышит тяжело всяко тело
перемалывая жизнь
малость времени досталась
и течёт оно как влага
уходя в сухую землю
вместе с нами навсегда

* * *

божий замысел мыслящий кокон
растворясь в пейзаже убогом
ты безвиден бесправен ты сбоку
хоть пешком хоть бегом и с подскоком
что ты можешь и что в тебе проку
ну гуди словно провод под током
может кто и услышит в высоком
небе осени брызжащем соком
предзакатного рыжего ока
может кто и запомнит движуху
волн воздушных доставшихся слуху
может кто проследит за полётом
чёрнобуквенных птиц-самолётов
из бумажек сложенных ловко



растрепавших слова на поклёвку
обгоняющих жёлтую стаю
ту которую ветер листает
прошлых листьев прощальную пляску
их предсмертную нежность и ласку
предающую муку огласке

* * *

В тайной переписке неба
с отражением на водах —
свод законов или небыль
с лишним пафосом, как в одах.
Шифрограммы, но без кода,
дешифровка без подхода,
без ключа — отсылки к ходу
мысли, взгляду на природу
обращения к народу.
Текстология убога —
вот и нету пониманья.
Нету отклика — приманка
не вмещается в сознание.
Невозможно повторенье
малой жизни человеческой —
ей не светит даже тенью
стать от облака под вечер.
Когда ласточки в тревоге
перекраивают небо,
человек уже отмечен
в списке птичкой выбыл — не был...

* * *

Летом кажется жизнь будет вечной
Ветер волосы треплет беспечно
Шагом медленным вдоль парашета
Никуда ниоткуда одета
Легче лёгкого в сторону света
Устремляется плоть а душа
Преисполнена сладостной лени
ускользает от тягостной тени
и в восторге творит антраша

* * *

Злые вороны да старики
Старики да вороны
На расстояние вытянутой руки
Ветер полощет кроны
Воду мнёт как дешёвую блядь
Вороны картавят стенают чайки
Вот она вот она жизнестрасть
Воронёной масти страсти мордасти
Чего тебе надо любовной тоски
Слова живого захлёба от счастья
Вот она речь рви её на куски
форма большая ли малая части

переложенья себя на язык
внятный тому кто его понимает
звук из гортани горло кадык
мир человеческий тебя обнимает

* * *

морщинится гримасится фонтанка
и черная баржа навроде танка
растягивая девственную плеву
то вправо долбанет её то влево
без толку телепаясь посреди
свинцовой тяжести колеблемой реки
мне место где — как на сковороде
я на мосту и видно за версту
что человека старческое тело
не учиняя никакого дела
стоит не так как телу надо на посту
а так как должно на юру кресту
и небо надо мной белее мела
белее белого и на плечи осело
и этой тяжести уже я не снесу

* * *

подожди меня в проходном дворе
когда свистнет рак вон на той горе
на горе лысой поставь крестик плюсом
отпоёт басом меня ветер с флюсом
подожди меня в проходной дворе
когда с тенью тень лягут на заре
когда ночь взойдёт станет чёрным свет
подожди меня там где смысла нет
там где воеет страх там где стонет стих
там где жизни след как на небе штрих

* * *

на крюковке
как клюковку
склевали воробьи
циферки и буковки
кружочки и крючки
а палочки считалочки
абракадабру слов
корюшка да колюшка
это их поклёв
прыгалки и классики
касса для слогов
вставочки да ластики
значок всегда готов
было сплыло не было
сплыло а куда
в крюковке колышется
тёмная вода
добрый детский боженька
а не уследил
что там рыбка корюшка
зарывает в ил



ВЕРГЕЛИС АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ родился в Ленинграде в 1977 году. Поэт, прозаик. В 1997–1998 годах посещал литературную студию при Лениздате (руководитель — Светлана Иванова). Первая публикация состоялась в газете «Пять углов» (1997). С 2001 года — участник литературной студии Алексея Машевского. В 2001 году закончил факультет социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена. Преподавал историю и философию в школе, работал редактором. В 2003–2005 годах проходил срочную службу офицером в Выборгском пограничном отряде. Вернувшись из армии, закончил курс сценарного мастерства в Школе-студии «Кадр» при киностудии «Ленфильм» (2006–2008), работал журналистом в различных российских изданиях. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Звезда», «Знамя», «Нева», «Дружба народов», «Волга», «Крещатик», «Новый берег», «Новый журнал» (С.-Петербург), «Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал», «Homo Legens», «Prosōdia» и др. Лауреат премии журнала «Звезда» (2006), премии имени Беллы Ахмадулиной «Белла» (Верона, 2013), победитель поэтического конкурса имени Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2017). Автор книг стихов «В эпизодах» (2010) и «Обещание света» (2017).

Александр ВЕРГЕЛИС

ДОЖДЬ

Мы не умрём, пока, шепча и плача,
он топчется за дверью. Ничего,
что вынуждена вымокшая дача
выслушивать все жалобы его.

Мы будем жить, пока, у нас воруя
бесценный день, нас держат взаперти.
Мы не умрём сегодня, говорю я,
поскольку время замерло в пути

поскольку мир, прислушиваясь, замер,
забыв себя, остановив своё
сердцебиенье, мокрыми глазами
разглядывая мокрое бельё

которое с веревки не убрали.
И куст в окне тревожится за нас:
боится, что мы вынесем едва ли
бессмертия нахлынувшего час.

* * *

Вино прольёшь, уронишь на пол нож,
и вот опять очнёшься в настоящем,
где вновь себя внезапно узнаёшь
на чьей-то свадьбе за столом сидящим.

Вот справа просят передать салат,
а слева лезут с длинным анекдотом,
и услужить, и выслушать бы рад,
но всё это — неважный антидотум.

Тебе, пожалуй, поздно пить боржом
и к жизни относиться как к невесте,
скупающий на празднике чужом,
кричащий «Горько!» с остальными вместе.

Что мир тебе, тобой неуловим,
и что тебе они (куда их денешь!),
все те, кому ты хочешь быть своим,
все те, кого любить ты не умеешь?

Что жизнь тебе чужая, ведь своя,
неузнанная, топчется в приходеж,
пока сидишь, кивая и жуя,
сам на себя ни капли не похожий.

* * *

Снимался в массовке — играл гренадера-француза,
в траншее часами курил без особого дела.
Блокнот захватил, только псевдоокопная муза
кружила на месте и выше штыка не летела.

А рядом война бушевала, и взмыленный «гочкис»
хлестал холостыми по длинной цепочке статистов;
и, глядя с азартом на огненно-дымные кочки,
перуны метал пиротехник, космат и неистов.

Всё было, наверно, как в той непридуманной яви, —
чтоб зритель-знаток снисходительно буркнул: «Похоже».
Лежал манекен безголовый в раскисшей канаве,
и краска хлестала из ран, и мурашки по коже

бежали при виде рогатой пехоты германской,
что заволомила поросшее взрывами поле.
Мне тоже велели стрелять, и я видел под каской
убитого мною гримасу наигранной боли...

Мы их одолели, мы их превратили в окрошку,
но хмурился наш режиссёр: «Что-то злобы не густо», —
и снова стрелять, и опять ощутить понарошку
абсурд и кошмар совершённого мною душегубства.

Чем кончился день — пораженьем, победою или
всеобщим братанием вместо решающей стычки —
не знаю, поскольку меня в том окопе убили
и в рай вместе с музой отправили на электричке.

* * *

Кто жизни не жалел и битвы жар любил,
Тот в памяти людей навек остаться вправе.
Блажен, блажен, кто пал, как юноша Ахилл.
О подвигах его, о доблестях, о славе

Поговорим, хотя и нежность, и печаль
Он знал не хуже нас. Как мстил он за Патрокла!
Но Гектора, пойми, мне всё же больше жаль,
И детская душа моя насквозь промокла

От слёз, когда читал... О, как я горевал,
И тело рисовал пронзённое в тетрадке,
И каждый раз другой придумывал финал
Там, у троянских стен произошедшей схватки.

И вот читаю вновь — как будто в первый раз,
В надежде, что в живых остался сын Приама...



Пусть смерть к нему придёт — простая, без прикрас,
Без бранных погромых, без ужаса и срама
Без подвигов чужих, когда-нибудь потом,
И внуки чтоб вокруг его одра стояли,
Прося, чтоб рассказал (в который раз!) о том,
Как с греками дрались. Как Трою отстояли.

* * *

Жизнь перестала быть таинственной
примерно с тридцати пяти.
Ни в тишине широколиственной,
ни в городских, как ни крути,
туманах тайны нет, и прежнего
волнения тоже нет, когда
глядишь на дом эпохи Брежнева,
в окне которого звезда
мерцает тихо, будто в проруби.

Там проживала, в том окне
сама таинственность, и голуби
с карниза на голову мне
не гадили, но понимающе
урча, забыв про птичью спесь,
меня, как старого товарища,
по вечерам встречали здесь.
И, слыша смех её из форточки,
я улыбался, как debil.
Печалился. Присев на корточки,
закуривал. И счастлив был.

* * *

Вот так поглядишь на ребёнка
и больше не съешь ни куска,
почувствовав, как перепонка
меж жизнью и смертью тонка.

И, сдвинуться с места не в силах,
терзая салфетки края,
увидишь в глазах его синих
сияние небытия.

Настанет такая минута,
когда в эту бездну, живой,
ты что-то прошепчешь тому, кто
сияющей стал синевой.

И будь благодарен за то, что
оттуда тебе в свой черёд
души голубиная почта
невнятное эхо пришлёт.

* * *

Он этот мир ещё хоть как-то терпит,
я полагаю, только потому,
что всякий раз испытывает трепет,
приблизившись к ребёнку твоему.

Не дым и звон, не праведников кучка
разящую удерживают длань,
а мокрый нос и маленькая ручка,
немилосердно рвущая герань.

Устал Господь. Он руку поднимает
махнуть на всё. Но ради малых сих
откладывает, хоть и понимает,
кто очень скоро вырастет из них.

Их лепетом спасается планета,
и в том числе — паршивца твоего.
За мятую герань, поверив в это,
пожалуй, не наказывай его.

* * *

Не бойся, Господи, я с Тобой!
Ты не одинок в ночи,
когда спускаешься, как в забой,
на землю, где — хоть кричи! —

глухо, безлюбо и нет огня,
где я брожу, незряч.
Не бойся, Господи, за меня,
не плачь обо мне, не плачь!

Не бойся, Господи, я с Тобой!
Смотри, я уже иду
на дальний свет голубиный Твой,
лесную Твою звезду.

Я вышел в путь, чтобы нам помочь —
слышишь — настанет час —
кончится хаос и канет ночь,
что разделяет нас,

ангел взовьётся в зенит, трубя...
Главное — не забудь
верить в меня — как я в Тебя
буду когда-нибудь.



ВОЛЬТСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА родилась в Петербурге. Поэт, эссеист, автор десяти сборников стихов — «Стрела» (1994), «Тень» (1998), «Цикада» (2002), «Cicada» (London, 2006), «Trostdroppar» (Стокгольм, 2009), «Письмо Татьяны» (2011), «Из варяг в греки» (2012), «Угол Невского и Крещатика» (Киев, 2015), «Избранное» (2015), «В лёгком огне» (2017). В 1990-е годы выступала как критик и публицист, вместе с Владимиром Аллоем и Самуилом Лурье была соредактором петербургского литературного журнала «Постскриптум». Стихи переводились на английский, немецкий, шведский, голландский, финский, итальянский, литовский языки. Лауреат Пушкинской стипендии (Германия, 1999), премий журнала «Звезда» (2003) и журнала «Интерпоэзия» (2016). Печатается в литературных журналах «Звезда», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Этажи», «Новый берег» и др. Работает корреспондентом радио «Свобода / Свободная Европа».

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

* * *

Кто я, Господи, откуда я,
Почему в ночи не сплю,
Плечи в старый свитер кутаю,
От простуды водку пью?

Почему дорога лужами
И ухабами полна,
Почему чужого мужа я
Слушать за полночь должна?

Почему трава не кошена,
И удобства во дворе,
Карандашик в сумке кожаной,
В сердце — точки да тире?

Почему, как заговорено,
Прёт — бурьяном — естество:
Как заводишь речь — не вовремя,
Как полюбишь — не того?

И не дивно ли, не странно ли,
Что заплаканной семьёй
Облака летят, как ангелы,
Надо мной и над землёй?

* * *

Из трав, от ветра пошедших в пляс,
Из лужи, из глины сырой
Господь слепил тебя в первый раз,
А я леплю во второй.

Из мрака, из талого снега, слёз —
Ловя губами, леплю:
Плечо проступает, щека и нос,
И губы, то бишь, люблю.

Из мха, где комар заложил вираж,
Где прель под еловой корой,
Господь слепил меня в первый раз,
А ты слепил во второй.

Уже проступил под твоей рукой
Затылок, висок, плечо:
Я не видала себя такой
Ни разу. Ещё, ещё!

* * *

Всё кажется, жив, а не умер,
Всё кажется, ходишь, не спишь —
То буквы читаешь на ГУМе,
То слушаешь под полом мышь.

И сколько же дел неотвязных
Тебя осаждает с утра
И писем — из Праги, из Вязьмы,
Из града святого Петра —

Как будто невидимый кратер
Гудит — дорожает бензин,
Из гроба встаёт император,
Соседка бежит в магазин,

И сам с непонятною ношей
Несёшься вдоль ёлок и шпал.
А влюбишься — сразу проснёшься
И вскрикнешь: «Как долго я спал!»

* * *

На глиняной дороге вафельной,
Где в ямах ржавая вода,
У кочек в земляничных капельках
Стоять останусь навсегда —

Лишь бы не обрывалась музыка:
Собаки, пилы, голоса,
Лишь бы автобус с жёлтым кузовом
Опаздывал на полчаса,

Горел, накрытый красной скатертью,
Сквозь ёлки праздничный закат,
И Лёнька на упрёки матери,
Бездельник, мямлил невпопад,

Лишь бы на кошку бабка шикала,
Сосед буянил, загуляв,
И, прах взметая, местный жиголо
Летел на ржавых «жигулях»,

И день, почти лишённый горечи,
Мерцал среди пустых полей,
Как стопка водки с хлебной корочкой
Под фотографией твоей.



* * *

В Европе холодно, в Италии темно...

О. Мандельштам

В Европе учат жить, в России умирать.
В прозрачных городках, игрушках средиземных —
И молоко дождя, и солнца мармелад
Дрожит на языке, поблёскивает в звеньях

Улыбчивых домов и улочек кривых,
В чешуйках жалюзи, — вот тут-то жить и жить бы:
Базар, маслины, сыр — но ты же не привык, —
Как старый холостяк сбегает от женитьбы,

И ты бежишь назад — к пластинкам на костях,
К сортиру во дворе, в прокуренную нору,
И к хлебу чёрному, и к ссоре при гостях,
И — до сведённых скул — ночному разговору

О войнах мировых, путях добра и зла,
О Марксе и Христе, китайцах и евреях,
И водка кончилась, и крыша протекла,
И сушится пальто на ржавой батарее.

Но крыша подождёт — а что сказал Марат,
Когда к нему пришла та, нежная, понять бы.
В Европе учат жить, в России умирать,
А то, что не умрёт, — то доживёт до свадьбы.

* * *

Занесённые снегом сараи,
Плечи маленького городка.
Еду-еду, горю — не сгораю,
Тьма прозрачна, и тяжесть легка.

Огоньки, красно-белый шлагбаум,
Шпалы, шпалы, и снова огни.
Что мы нынешней встречей добавим
К звёздной карте? Усни. Обними.

Этой ночью с завёрнутым краем
Стылой жизни, с подтаявшим льдом
Мы друг друга найдём, потеряем,
Потеряем и снова найдём.

И какая нам разница, где мы —
Не вини. Не печалься. Налей.
Зимний ветер, летящий, как демон,
И пустые глазницы полей.

* * *

Будем любить друг друга — и сейчас, и потом, без тел,
Будем любить друг друга, как нам Катулл велел.
Это ведь репетиция — периодами Уитмена,
Перелётными птицами будешь любить меня.
Это ведь черновик — строчкою Веневитинова,
Скорописью кривых веток буду любить тебя.
Будем влетать друг в друга ласточкою, стрижом,
Вологодю, Калугой, двенадцатым этажом,

То холодком по спинам, то солнечным куражом,
Расклёванной рябиной в сквере за гаражом,
Грозы шелковистой кожей, бледным узором её.
Воздух висит в прихожей, поблёскивая, как ружьё.

* * *

Кто мусульманкой бабочку назвал,
Тот не жилец уже на этом свете.
С утра одета в чистое, трезва,
Его душа не думает о смерти,
И сон её тревожен и глубок,
Погашен взгляд, распахнуты ладони,
Она отыщет тихий уголок —
И думает, что скрылась от погони,
Что нипочём ей город-великан
Одышливый — шутнице, озорнице,
Что не за ней по рыжим облакам
Бегут подслеповатые зарницы,
Что чёрный ворон вьётся не над ней
И тормозит не у её подъезда.
Она уже почти в краю теней,
Но мешкает у входа — как невеста.
Её не занимает кутерьма
Допросов, протоколов, пересылок,
Она не понимает, где тюрьма
Кончается — и возникает, зыбок,
Пейзаж, где даже отнятый паёк
Не важен, и какую яму рыли,
И кто упал, и горизонт поёт
И дышит, будто бабочкины крылья.

* * *

Ангел мой хранитель,
Крылья поперёк,
Где твой белый китель,
Чёрный козырёк?
Где твоя фуражка —
В море потерял?
Без тебя мне страшно
В груди одеял.
В городе портовом —
Облаков балет,
Ты летишь, оторван,
Как входной билет
А куда — приметы
Были на виду,
Но сейчас я этой
Двери не найду.
Приходи на угол,
Пوماши рукой —
Или перепутал
Ты меня с другой?



ГОЛЬ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в Ленинграде в 1952 году. Поэт, автор книг «Речевая характеристика» (1991), «Наше наследие» (1994), «Стихами» (2012), переводчик (избранные переводы составили книгу «Запад — Восток», 2013), прозаик (книга «Первоначальствующие лица» (2001, 2014). Лауреат премии журнала «Нева» (2002, номинация «Критика и публицистика»). Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Николай ГОЛЬ

ГЛУБИННОЕ КАЛАМБУРЕНИЕ

(Краткий курс истории литературы. Фрагменты)

У нас все время что-нибудь умирает: то критика, то роман, то рифма. Последнюю особенно жалко. Вот и захотелось показать, что с её помощью — даже используя только каламбурную или, в крайнем случае, полную — можно до сих пор говорить более или менее осмысленные вещи.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ

Что говорит поэтика про форму?
Нелепо видеть в ней одну проформу.
Но очень грустно, если содержание
У формы, так сказать, на содержание.

О ФАБУЛЕ И СЮЖЕТЕ

Лапидарною строфа была —
В ней таилась только фабула;
дальше — больше: весь уже там
событийный ход с сюжетом.

О МЕТАФОРЕ

Метафоры (иначе скажем — тропы) —
в поэзию проложенные тропы.
К примеру, на странице прочитаем:
«Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ...»
Вздохнув, отложим книгу прочь и таем,
очами сердца видя рощу: бор
здесь ни при чём — ведь, чёрт возьми, у бора
не может быть багряного убора!
Всего одним навеянные образом,
роятся мысли; вот таким-то образом
из букв живых, из еров и из ятей
встаёт картина мира без изъятий.

О ФРИВОЛЬНОМ ЖАНРЕ

Эротику не путай с порно!
(Хотя порой различье спорно.)

О СЕМАНТИКЕ

Смысл до нас доходит через слово.
Но до нас доходит через слово.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ПЕРСОНАЛЬНАЯ

И. А. КРЫЛОВ (1769–1844)

Был строг венком наяд овитый
Крылов, мужчина ядовитый.
Умел судить он об изъяне
любом: о дуре-обезьяне,
О хитрых лисах, об умишке,
не слишком развитом у мишки.
Ему в строку — любое лыко:
вот царь зверей не вяжет лыка,
вот кто-то хвалит петуха...
Им даже суп воспет (уха);
Вот и посажен дед Иван
на постамент, как на диван.

К. Ф. РЫЛЕЕВ (1795–1826)

Переключались таланты Рылеева...
Голос поэта безвременно стих,
ибо однажды врубилось реле его
на революцию, а не на стих.
В петле тугой неизбежен кондратий.
Сами порой к себе кличем беду мы.
В битве с тиранами сгинул Кондратий.
Где его песни? Где его думы?

А. С. ПУШКИН (1799–1837)

Поэзия — езда по круче...
А Пушкин мог ещё покруче:
в потоке песен лихо рея,
он мог и в ямбе, и хорее,
он в карты мог, в лото и прятки
(когда искал девичьи прядки),
он мог пуститься в вальс и в польку,
он мог гречанку, финку, польку,
он в шашки мог, и в кости тоже...
Его способности итожа,
скажу: он мог и в то, и в сё,
за что и назван: «наше всё».



А. А. ФЕТ (1820–1892) (ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО)

«Уж осень. На иве с елью
Снежинки — как шубка с мехом,
И места нет ни веселью,
Ни летней любви со смехом.
Мортиру с мокрым лафетом
Сдвинуть скорее с луж бы», —
Так писано было Фетом
В период военной службы.

Н. А. НЕКРАСОВ (1821–1877)

Власть любить пристало на Руси ли нам?
Раньше был он против, после — за.
Нам, профанам, мнится дар усиленным,
если нерв в нём бьётся и слеза.
Ранив душу, лью на рану йода я;
все мы схожи... Так и надо — но
гнев гражданский с Муравьёвской одою
повенчать не каждому дано.

А. Н. ТОЛСТОЙ (1828–1910)

Нет того, кто б фыркнул: «Вот мура-то!»,
прочитавши про Хаджи-Мурата —
ни славян, ни сакса нет, ни гота...
Только кто читает про него-то?

Н. С. ЛЕСКОВ (1831–1895)

Читайте не «Манон Леско» вы
и не «Форсайтов» пухлый том,
а небольшой рассказ Лескова —
тогда узнаете о том,
кто больше — блохи или вши —
подходит для трудов Левши.

М. ГОРЬКИЙ (1868–1936)

Кабы с Волги был Софокл,
он бы — нет вопросов! — окал.
Это ж просто ужас — окал:
«ПОВстречались Уж и СокОл»...
Сей Софокл — не пешка вам:
он бы звался Пешковым!
Вы масштаб талантов смерьте!
Папирос учуй дымок!
Вроде «Девушки и смерти»
он бы печь баллады мог,
Был бы на посту поэта,
и Иосифа уста
изрекли бы тупо: «Это —
посильнее Фауста!»

В. В. ХЛЕБНИКОВ (1885–1922)

Словоигры смехачей
вызывали смех. А чей?
Стих, который штучен, уши
не выносят у чинуши.
У чинуши уши с мехом,
он своё на раз берёт
и встречается хамским смехом
то, в чём суть не разберёт.

Б. А. ПАСТЕРНАК (1890–1960)

Православие — и эдакий шнобель!
А фамилия — она не от трав ли?
А роман-то, а роман — это ж Нобель!
А от Нобеля полшага до травли.
Чернь и пачкала его, и чернила.
«Душу, — ей он отвечал, — в прозе мою»...
Эх, достать бы нам для плача чернила!
Только где ты их добудешь зимою?

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ (1891–1938)

Очень трудно петь щеглу в Воронеже,
большевее и с людьми играя, —
здесь не место для него; вороне же
всё равно где жить, вопя и грая.

С. А. ЕСЕНИН (1895–1925)

Есенину хватало данных,
с рождения от Бога данных.
Пыль гувернанток, мусор бонн
не приросли к нему. Сорбонн
он не кончал. Иные были
близки душе поэта были:
он, хоть Эдгара По читал,
при всём при этом почитал
превыше тайн Ниобы — чайную.
Но мощь имел необычайную!

А. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1933–2010)

Ах, какая пора была!
Сочинялась «Парабола»,
и, превыше Анд рея,
мчалась слава Андрея.
Жизнь казалась игрушками,
треугольными грушками,
все моря — по колени нам:
ведь ещё пока Лениным
можно клясться и каяться...
Как теперь-то икается?

ПОЭЗИЯ

*Борис ГРИГОРИН
Дмитрий ГРИГОРЬЕВ
Виталий ДМИТРИЕВ
Елена ДУНАЕВСКАЯ
Елена ЕЛАГИНА
Владимир ЗАХАРОВ
Валерий ЗЕМСКИХ
Галина ИЛЮХИНА
Евгений КАМИНСКИЙ
Вероника КАПУСТИНА*

2

Санкт-Петербург — Россия



ГРИГОРИН БОРИС ЭММАНУИЛОВИЧ родился в 1951 году в Ленинграде. Поэт. Окончил литфак ЛГПИ им. А. И. Герцена. Работал оператором газовой котельной. Печатался в самиздатовском журнале «Топка». Посещал Лито «Нарвская застава» под руководством Глеба Семёнова, позже Вадима Халуповича, а также семинар Александра Кушнера. Стихи публиковались в альманахе «Истоки», журналах «Аврора», «Нева», «Крещатик», «Изыщная словесность», «Семь искусств». Автор книг стихов «Межсезонье» (1992), «Заккрытие фонтанов» (1999), «Пробная зима» (2000), «На незамеченной земле» (2013), «Алфавит для безграмотных» (2015). Член Союза писателей С.-Петербурга и Союза российских писателей. Ведёт литературные вечера «Треугольник» в Еврейском общинном центре.

Борис ГРИГОРИН

* * *

Всё время громко радио играло.
Оно в ушах эфир прилежно пашет.
Нам из Колонного транслировали зала
«Скажите, девушки, подружке вашей...»

И звали штурмовать далёко море.
Мы поднимались с пионерской зорькой.
Родителей ссылали в санаторий,
А деток — в лагерь, с аппаратом «Зоркий».

Порядок был из цемента и стали,
И в мае на фасадах эти лица...
Им «сверху видно всё», мы это знали,
Но Моцарт был за нас, как говорится.

ДЕТСАД

В. К.

Будто сосланы в сад на работы,
Все в слезах и соплях, и в тоске,
Утром строятся детские роты
И работают долго в песке.

И в игрушечном том Магадане,
Где судьба их с утра решена,
Хором «Мама!» кричат они маме,
Будто мама у роты одна.

Дети с гномами строили дамбу,
Помогали им птицы и крот.
...Я тебя в детский сад не отдал бы
Исправительных этих работ.

* * *

Умрём,— поедem в пионерлагерь,
Снова в детство впадём, не страшно.
Будем знамёна носить и флаги,
Слушать горн с хрипотцою влажной,



В футбол играть дотемна, до линейки,
В волейбол с девочками, поотрядно в прятки,
Будем бегать, бегать как у Дейнеки,
Тумбочку содержать в порядке.

Мы не вырастем, не будем мы как люди.
Белый верх, шорты, короткие платья.
Думаю, стихов писать не будем,
Лучше станем, расставаясь, плакать.
Что там было ещё в раю? Варенье.
Мама с папой приедут с передачей.
Я черничное любил. Воскресенье.
День открытых дверей. Седьмая дача.

* * *

Заглянул за занавеску —
И живи чужой судьбою.
А пока неинтересно,
Можешь быть самым собою.

Открываешь постепенно,
Как живут чужие люди.
Этой маленькой вселенной
Никогда потом не будет.

Хочешь жить с другими дружно —
Будешь весел и повязан,
Будто поступил на службу
И ходить туда обязан.

Закипает чайник скоро;
На столе там чашки, блюда.
Руку жмут, берут за горло.
...Надо было отвернуться.

* * *

«Пустее стало...» — как сказал нам Плюшкин,
Повсюду смерть прошла, как вор,
Посредством паутины, а не пушки,
И дверь оставила открытой в коридор

И души умерших почтительно скупая,
слывёт помещиком в неведомых краях...
Нет-нет, да и слеза скупая
Появится, как птичка на полях.

Умру, хочу, чтоб по-другому было.
Не возвращаться. Вряд ли это мечь.
Хотелось бы, чтоб ты меня забыла.
Я весь умру, не продаваясь, весь.



ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1960 году в Ленинграде. Поэт. Учился на химическом факультете Ленинградского государственного университета, где занимался исследованием языка насекомых, работал бетонщиком, плотником, мозаичником, оформителем, старшим лаборантом, старшим лейтенантом (ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС), журналистом, копирайтером, редактором, стекломоем, оператором газовой котельной и т. д. (в общей сложности более 20 профессий). Публиковался в журналах «Сумерки», «Родник», «НЛО», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Крещатик», «Воздух», «Новый мир», «Poesia» и др.; антологиях «Русский верлибр. Итоги века», «Легко быть искренним», «Раміес», «АКТ», «Современная литература народов России», «Стихи в Петербурге. XXI век» и др. Автор книг «Стихи разных лет» (1992), «Перекрёстки. Стихи» (1995), «Сторож ночи. Роман» (1995), «Записки на обочине. Стихи» (2000), «Господин ветер (поэтическая версия романа)» (1998), «Господин ветер. Роман» (2002; 2-е изд. 2012), «Огненный дворник. Рассказы и стихи» (2005), «И снова солнцу удивлюсь (о Поладе Бюль-Бюль оглы)» (2006), «Другой фотограф. Стихи» (2009), «Между играми. Стихи» (2010), «Новые сказки. Стихи» (2011), «Индия: На плечах Великого Хималая (путевые заметки)» (2012), «Все цвета жизни. Рассказы» (2013); «Птичья Псалтырь. Стихи» (2016). Лауреат премии Н. Заболоцкого (2005), книга «Птичья Псалтырь» вошла в шорт-лист премии Андрея Белого (2017). Стихи переведены на английский, польский, французский, чешский, сербский и итальянский языки.

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

* * *

Мальчик играет в блинчики на воде залива,
считает, сколько камень-лягушка сделает прыжков
туда, где в тумане корабль счастливых,
неотличим от корабля дураков.

Интерференция — это когда друг с другом,
а интервенция — когда один в другого
заходит, осматривается, вещи бросает в угол,
но камень-лягушка скачет через его голову,

через разговоры о войне и прочем:
важнее найти плоский камень среди других,
чтобы не тонул сразу, а оставлял многоточия,
на ровной воде круги.

НОВОСТИ

Кормят нас всяческой дичью
газетные утки, тетерева,
а мы все ждём псалтырь птичью,
где царь Соломон — сова
где на солнечный луч нанизаны
золотые строки крылатого льва,
а здесь воробей на карнизе
клюёт мусорные слова
да сорока-воровка варит кашу,
которой всегда не хватает,
и над тем, что нам завтра скажут,
уже мухи летают.



* * *

По радио снова прогноз погоды на Марсе,
Патти Смит везёт камни тюрьмы Сен-Лоран на могилу Жене,
треплет тёмные волосы ветер, живёт жизнью простых насекомых...
Что ты споёшь в этой странной пустыне, — говорит ей Жене, —
ты мне ничем не поможешь.

Зачем переводы на сто языков, если я говорю на одном,
переводы лучше этот гашиш или русскую водку,
я песен не слышу, язык мой присох к раскалённому небу Танжера,
спасает лишь ветер, на Марсе есть ветер и дождь,
есть даже Элизий, Патти.

И я сам только несколько грамм удивительной пыли
— но кто за неё мне заплатит?

* * *

Городские фотопейзажи,
старые портреты:
унибром-бромпортрет-фотобром,
бумага сгорит,
серебро останется,
оно не летит вместе с дымом,
мы все останемся на земле серебром.

В серебряном пепле
каждый отыщет своё тайное имя,
видимое лишь под красной лампой,
в полутьме, где родители были ещё молодыми
и находили друг друга на ощупь,
а на бумаге вдруг проступали
какие-то ветки, дома, лица,
сначала неясно, потом всё чётче,
только была размазана
фигура человека, бегущего за трамваем:
он всё бежит,
бежит и не может остановиться.

* * *

Белые ночи закончились, наступили чёрные дни,
я смотрю в лицо луны, разрезанное битым стеклом,
мраморные короли из церкви Сен-Дени
сидят за моим столом.

Дагоберт Первый в грязных штанах, вывернутых наизнанку,
Людовик, весёлый отец народа,
Генрих Второй, старый лев Нострадамуса с выколотым глазом,
и совсем не известный мне король.

Они спрашивают меня: где письмо,
где бессмертие, о котором ты пел?
Никто из нас не вернулся домой,
подземные олени лижут соль наших дел.

И мне бы сказать: я здесь ни при чём,
вы вышли из праха и в прах ушли,
но мрамор сковал моё плечо,
и вокруг сидят короли.

Дагоберт Первый в грязных штанах, вывернутых наизнанку,
Людовик, весёлый отец народа,
Генрих Второй, старый лев Нострадамуса с выколотым глазом,
и совсем не известный мне король.

ЛОЖНЫЕ ЛЮДИ

Прошло время линьки, из старой кожи
они вышли как прежде, только немного темнее,
те же изумруды и жемчуг тот же,
но другое небо над ними алеет,

не узнав меня, они назовут позже
тем, кто в углу под иконой на корточках тенью сидит,
я закрыл бы глаза, но уже невозможно
как паутину смахнуть законный вид:

там птица идёт по полям коллективного ада,
чёрная, как анархист, не знающая границ,
и райские яблоки долго искать не надо —
их вынуть легко из моих глазниц.

* * *

Как рассказать о стране,
где тени деревьев падают в тёмную воду,
где водопады скалят ледяные прозрачные зубы,
где Олав колун и Олав святой один и тот же,
где волчья шерсть по ночам растёт из кожи

где предки живут весело в круглых камнях,
а дети играют плоскими, ставят их друг на друга,
говорят: это женщина, это олень, это твой дом,
где летнее солнце ходит по кругу,
а зимнее прячется в озере подо льдом...

Нет ничего белее этого снега, этого вечного снега,
нет ничего яснее голоса этой воды,
горсть зачерпни и попробуй, пока не застыло горло,
не затянулась прорубь...

* * *

Реки, которые нас уносят,
жёлтые, белые, чёрные, чаще мутные,
чем прозрачные,
начинаются весной,
заканчиваются осенью,
где домики дачные,
сад-огород,
где реки, которые нас уносят,
наши дети легко переходят вброд.

РИСОВАЛЬЩИЦА ПЕСКОМ НА СТЕКЛЕ

На прозрачное стекло
она бросит горсть песка:
нас ещё не замело,
мы ещё видны пока.



Она пальцем обведёт,
вокруг пальца обведёт,
и ладошкой разотрёт
жёлтый маленький бархан:

где лицо — там станет дом,
в небе — птицы силуэт,
а вокруг темным-темно,
и едва проходит свет

сквозь ворота из песка,
за которыми летает,
нашу жизнь перебирает
её лёгкая рука.

ЖОРЖ МЕЛЬЕС

— Построй голубятню, и дело в шляпе,
голубиная почта надёжнее всех надежд,
когда их нет, наступает свобода, —
так сказал мне однажды
контрабандист иллюзий с глазами ребёнка,
торгующий игрушками в лавочке на Монпарнасе.

Голуби, вылетевшие из его шляпы,
теперь важно расхаживают по моей крыше
и внешне ничем не отличаются от обычных...
Но лишь они находят дорогу к дому
даже за тысячи километров.

* * *

Трава рассыпается зелёными лучами,
сквозь цветочное небо проглядывает Бог,
и ангел приходит в дни печали,
а в дни радости колобок

давно несъедобный, — высохло тесто,
он скачет под окнами бодрым мячом,
и когда разбивает случайно стекла,
делает вид, что вообще ни при чём:

мол, это ангел во время печали
долго стучал неловким крылом...
Впрочем, ангел колобку всё прощает,
и небо растёт там, где было стекло.



ДМИТРИЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1950 году. Поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза российских писателей и ПЕН-центра. В 1977 году окончил факультет журналистики ЛГУ им. А. А. Жданова. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Континент», «Нева», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Стороны света», «Паровоз», «Бронепоезд Победы» и др. Учредитель журнала «Изысканная словесность».

Автор четырёх книг стихотворений: «Первая книга стихотворений» (2006), «Надстрочник» (2008), «Сердцевина» (2012) и «Post scriptum» (2016). Лауреат премии им. А. Ахматовой (2007), конкурса «Елагин остров», всероссийского литературного конкурса «Свобода слова».

Виталий ДМИТРИЕВ

* * *

А всё начнётся с мелочей — в овраге высохнет ручей,
скворец в свой домик не вернётся,
забудится среди ветвей, с тропы собьётся муравей,
пчела об улей разобьётся...

Да, всё начнётся с ерунды, на полюсах подтают льды,
слегка сместится ось земная,
до срока отцветут сады, но не завяжутся плоды —
прихлынет влага ледяная...

Да, всё начнётся с пустяков, ведь мир действительно таков
и смётан на живую нитку.
Он потому ещё живой, что выдаёт нам не впервой
закономерность за ошибку.

Немного вкривь... Немного вкось... И понеслось... И началось —
пожар, потоп, землетрясение...
Что остаётся — только ждать, когда настанет благодать,
смакуя каждое мгновенье.

* * *

Хоромы сменив на полати,
свершив переезда обряд,
толкаясь на Старом Арбате,
зачем я так выпукло рад,
узнав на лубочной картинке
ограду, двойной светофор
в том месте, где улица Глинки
впадает в Никольский собор?

Зачем я цепляюсь за место,
коль время едино для всех?
Сквозь город, не стоящий мессы,
почти презирая успех,
бреду, то ли слаб, то ли болен.
Но вот наступает тот миг,
когда с четырёх колоколен
вещает единый язык.



И вновь вдоль изгибов канала
иду неизвестно куда.
Ты помнишь, ведь здесь протекала
иная, живая вода,
иные деревья шумели
под тёплым весенним дождём,
где Росси, Ринальди, Растрелли
рокочут, как пойманный гром.

И даже не верится толком,
что всё это сходит на нет.
Лишь ты, безымянным осколком
в пространстве блуждая, поэт,
ещё не предвидишь, не знаешь,
куда и зачем возлетишь,
чьей кровью себя запятнаешь,
чью душу безвинно спалишь.

* * *

Ефиму Бершину

Это теперь «Ракеты» и «Метеоры»
мчатся по глади залива, почти взлетая.
Прежде, я помню, были другие скорости —
до Петергофа ходили речные трамваи
от Летнего сада.

Целое путешествие.

Сколько ж мы плыли тогда?
Наверное, целую вечность.
Долгим всё это кажется по прошествии
жизни такой короткой и быстротечной.
Хлопья прохладной пены, чайки в кильватере.
Как они ловко хватали мои подачки —
все эти булочки, плюшки, завёрнутые матерью.
Есть не хотелось. И вряд ли, что из-за качки.
Помнишь — Самсон, разрывающий пасть шведам?
Пётр. Ну конечно, Первый. Какой же иначе!
Нас приучили с детства к таким победам,
что до сих пор остаётся вера в удачу.
Как и тогда — в классе шестом или пятом
после полётов Гагарина и Титова...
Я бреду вдоль Невы,
любуюсь имперским державным закатом
и, ты знаешь, — счастлив.
Честное слово!

* * *

Олегу Охапкину

Среди полночной стрекотни существ незримых
вдруг ужаснёшься — как они проводят зиму?
Когда безмолвием объят весь мир подлунный,
где эта армия цикад живёт бесшумно
и прячет простенький мотив от всех на свете,
под слоем снега схоронив рулады эти?

Где затаилась красота? В пустоты? В щели?
Какие тайные места мы проглядели,
пещерный опыт затаив внутри сознания,
себя навек отгородив от мироздания?

Не плачь. И слёзы оботри в преддверье стужи.
На всё, что знаешь изнутри, взгляни снаружи.
Никто нигде и никогда не ставил точку.
Слоится воздуха слюда и оболочка
сползает, больше не нужна, как слой хитина.
Ведь лишь душа обнажена. Лишь сердцевина.

Нас время пестует. Оно почти бесплотное,
пока в себе заключено бесповоротное
и бесконечно, словно взгляд в такие дали,
где нет препон и нет преград. И жизнь — в начале.

* * *

Жене Татьяне

Девочка на самокате,
мальчик на велосипеде
не спеша куда-то катят,
не спеша куда-то едут
вдоль по берегу, по краю
серебристого залива,
нас почти не замечая,
медленно, неторопливо...

Впереди конец июля.
Позади макушка лета.
Прокатили, промелькнули...
Почему я вспомнил это?
И залив, и тёплый вечер,
и прогулку между сосен —
Этот мир такой беспечный.
Там ещё не скоро осень.
Там я счастлив. Не иначе.
И для грусти нет причины...

Поздно вечером на даче
задремлю — всплывёт картина,
где опять куда-то едут,
растворяются в закате
мальчик на велосипеде,
девочка на самокате...

МАМЕ

Я путаю, где тот, где этот свет.
Мать целый день бормочет, пребывая
там, где меня всего скорее нет.
Вот и опять глядит, не узнавая,
и даже улыбается в ответ.
Но мне ли? Не уверен. У неё
свой мир. Он моего ничуть не хуже.
Да, иногда бывает, что наружу
вдруг выглянет, нарушив забытьё,
но ненадолго. Ей куда милей



общение с десятками теней.
Не зря ж она беседует всё время
с отцом своим, в блокаду умершим, и с теми,
кого я и не видел никогда.
А этот мир ей скушен, и сюда
она теперь является всё реже.
Она другая. Это мы всё те же.

* * *

Я растранижил всё, что мне на вырост
в подарок эта жизнь преподнесла.
Теперь и сам не знаю, как случилось,
что радость узнавания прошла
уже перерастая в дежа вю.
Всё чаще мысли странные находят —
не по второму ль кругу я живу?
Ведь всё, что где-то рядом происходит,
уже не откровенье, а повтор.
Придирчивее вглядываясь в лица,
ищу своё. Зачем-то до сих пор
и хочется, и страшно повториться.

* * *

А сказка вовсе не страшна.
И что тревожиться впустую?
Один укол веретена...
Сон в ожиданье поцелуя...
Отгородила жизнь иную
плющом увитая стена...
Лишь из раскрытого окна
зубчатой башни, за оградой
дорога пыльная видна.
Полдневный зной. И где-то рядом
идёт июльская страда.
Покос. Нельзя терять ни часа.
Пасутся тучные стада
в полях маркиза Карабаса.
Неприхотливый сельский быт.
Феодализм, средневековье...
Который век принцесса спит...
Не приставайте к ней с любовью.

* * *

А казалось — чего уж проще-то, —
осознав свою одарённость,
взять уйти от бездарной общности
в гениальную разобщённость.
От корней отрываясь, главное —
в пустоте задержав дыхание,
научиться хоть с чем-то сравнивать
это новое мирозданье,
где ни пафоса, ни иронии, —
только в поисках новой истины
вечный хаос и дисгармония,
чьи законы ещё не писаны.



ДУНАЕВСКАЯ ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА родилась в 1950 году. Филолог, литератор, переводчик, преподаватель. Первые поэтические публикации — в 1966–1967 годах в газете «Смена», в журнале «Костер», в молодежном альманахе «Тропинка на Парнас». Далее, до перестройки, оригинальные стихи практически не печатались, они появились в конце 1980-х годов в зарубежных изданиях («Континент», газета «Новое русское слово», «Новый журнал») на них были одобрительные отклики в эмигрантской прессе. Занималась художественным переводом, переводила вначале для себя, потом для различных издательств стихи У. Б. Йейтса, Дж. Китса, Р. Киплинга, сонеты Э. Спенсера, М. Дрейтона, Ф. Гревилла, позднее — П. Б. Шелли, Д. Донна. Неоднократно сотрудничала с серией «Литературные памятники». С конца 1980-х годов активно переводила англоязычную прозу, в основном класси-

ку. В общей сложности для различных издательств были подготовлены Д. Томас, Р. Киплинг, А. Конан-Дойл, В. В. Джекобс, Урсула Ла-Гуин, Э. Фромм, А. Рипли, У. М. Уильямс, А. Уолтон, Э. Несбит, У. Бойд, Г. К. Честертон, А. Сьюэлл, Г. Пайл и др. На родине после перестройки публиковалась в журналах «Октябрь», «Нева», «Звезда», «Всемирное слово», в многочисленных альманахах и антологиях. Единственная книга стихов «Письмо в пустоту» (1994) номинировалась на «Северную Пальмиру» (1995). В 1998 году вошла в число победителей конкурса ИОО (Фонд Сороса, перевод романа Уильяма Бойда «Браззавиль Бич»); финалистка премии имени Анны Ахматовой (2015). Участвовала во Всемирном поэтическом фестивале в Труа-Ривьер (2017).

Елена ДУНАЕВСКАЯ

ПРОГУЛКА К МАРСОВУ ПОЛЮ

Чайки орут, как кошки.
Просто — погожий день.
Глиссер одной ладошкой
Хлопает по воде.
Как они тугогруды,
Сизым ветром полны,
Мытые, как посуда,
Облачные челны.
Две куртины пурпурных,
Светлых, лохматых роз.
Под булавой глазурной
Странный живёт Христос.
Слева — дворец на страхе,
Справа — храм на крови.
Тот родился в рубахе,
Кто родился в любви.
В детстве, сером и книжном,
Полном любви и слёз,
Сквером сирени пышной
Был этот плац-погост.
А без любви лишь скукой
Веет от стёртых плит,
Той, что созвучна с мукой,
Как со штыком — гранит.
Только любви под силу
Град на костях спасти,
Призраков и могилы
Розами оплести...

.....



Полдень. Длинные тени
На ледяной траве.
Смерть? Умиротворенье?
Лёгкий дым в голове.

ВХОДНОЙ БИЛЕТ

Давай поможем вере и надежде,
Не то они расплачутся навзрыд.
Ну что ж, мы за колоннами, как прежде,
Но музыка по-прежнему звучит.
И в белый лес с хрустальной листвою,
Где в разноцветных зайчиках стволы,
Вступаешь ты, свободный от конвоя —
От привидений, сотканных из мглы.
Они овеществляются снаружи
И пахнут сапогами и дождём.
Но магию вершат смешные мужи
В концертных фраках, с худеньким вождём,
Гармонию ночного небосвода
Приманивая в наш промёрзший хлам.
В порядок претворяется свобода,
И ангелы содействуют часам.
Мир скрежетом и грохотом заверчен,
И, как волчок, несётся в никуда.
Но вы — ловцы гармонии предвечной.
Удачной вам охоты, господа.
И пусть перо в горящих переливах
Поймает на концерте человек,
И будем мы добычей вашей живы
Ещё на вечер, на сезон, на век.

* * *

Уже и не больно —
как зуб под наркозом.
Привет вашим бойням,
крестам и берёзам.
И свету надежды —
как бритвенный луч
сквозь Виевы вежды
коричневых туч.
Здесь всё, что казалось,
безвременьем смыло:
родного осталось —
дома да могилы,
да горстка друзей,
уходящих во тьму
безумия,
или к Отцу своему.
А то, что здесь было,
так это же мы.
Мерцали, светили
друг другу из тьмы.
Уже разлетелась
галактика эта
по разные стороны
белого света.

А мы, второгодники
в школе бесчестья,
застряли в отстойнике,
пахнущем жостью.
Смиренью? Презренью?
Чему здесь учиться?
Налёт озверенья
на пепельных лицах.
Как холодно, боги!
Снежинки летят
на ржавой империи
красный закат.

* * *

Ребята, у нас безнадёжно,
Как в доброе старое время,
А значит, расслабиться можно:
Ну вот, мы опять не со всеми.
У нас безнадёжно, ребята,
Уютно родное болото,
Пронзительны краски заката,
И это — такая свобода,
И вновь ты — комок протоплазмы
На брошенной в бездну планете,
Спасать никого нет соблазна,
И ты за других не в ответе.
С душой своей очную ставку
Устрой, посмотри, что осталось.
И радуйся, коль на затравку
Отыщется малая малость
И в ней, как в хрусталине горной,
Заплещутся радугой грани.
И в том одиночестве горнем
Нет места словесной оправе,
И только сиянье осталось
И странные, смутные тени,
И страшно по скалам под старость
Ползти, обдирая колени.
У нас безнадёга, ребята.
И это — такая дорога.
С неё мы свернули когда-то.
Теперь — возвращаемся — к Богу.
...
Живыми ли, мёртвыми, Отче,
Прими своих чад маломощных.

О КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТАХ

Пышный снег опять уводит в детство,
И, как шубка беличья, нечист.
На рекламе брачного агентства
Нарисован брачный аферист.
Жёлтые дома, тупые шубы,
Гниловатый, сладостный уют.
Можно здесь остаться. Почему бы
Нет? Тебя нарочно не убьют,
Оттого, что выпило все силы



И висит, темнея, надо мной
Облое чудовище — Россия,
Недовоploщённый мир иной.
Сказки Пушкина в фольге нарядной
И модерна мертвенный дракон,
Злая удаля дали безоглядной
И Дейнеки медный стадион,
И подспудное «написан Вертер»
Прошептала чёрная земля...
Что ещё? Пленительный Дар Ветер,
Как в метро, в утробе корабля.

...

Всё года безвременья слизнули,
И остался от бредовых лет
Белый хвостик матушки-косули
И детёныш, семенящий вслед.

* * *

Старость — это больше бумаг, чем времени их прочесть,
И становится страшно от мысли «долги и честь»,
Потому что долгов тебе уже не отдать,
И охотно честь променял бы на благодать,
Только кто ж подаст, если руки твои пусты
И любая кошка о жизни знает больше, чем ты.
Старость — это когда погоды — и только — с надеждой ждёшь,
И мысль о смерти приводит не то что в дрожь,
А к мысли о том, что долгов уже не вернуть,
Но надо стараться, хоть жизни осталось чуть,
И нечего думать о том, что ждёт впереди.
Когда-то ты подписался на это. Теперь — иди.

* * *

Апрель у запертых дверей —
как арестант, обритый наголо,
в тюремном солнечном дворе,
и самолётик вместо ангела.

Машины в пыльных шлемах каменных
Стекают медленно с моста:
Везут захватчиков раскаянных
На их рабочие места.

И жизни правда обнажённая
Встаёт мосту наперерез:
Дворца лепнина, окружённая
Колючкой стриженных древес.

Но в небо тянут губы трубочкой
Ростки тюльпанов фиолетовых:
Как негритянки в мини-юбочках,
Стоят в снегу и словно нет его.

Отсутствуя, внимая музыке...
Такое могут лишь немногие,
Кому свобода или мужество —
Не подвиг, а физиология.



ЕЛАГИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА — поэт, литературный и арт-критик, теле- и радиожурналист. Автор девяти поэтических книг. Лауреат поэтической премии им. А. А. Ахматовой, а также премий журналов «Звезда», «Нева» и сетевых изданий «Питербук» и «Зинзивер». Как поэт и литературный критик публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Нева», «Новый мир», «Сибирские огни» и многих других. Стихи переводились на английский, немецкий, итальянский, румынский, чешский языки. Ведёт на «Радио России — Санкт-Петербург» еженедельную публицистическую дискуссионную программу «Радиоклуб на Карповке» и еженедельную рубрику «Читаем вместе с детьми».

Елена ЕЛАГИНА

* * *

Господь не дал любви, но дал певучий дар,
Не дал богатство, но позволил быть счастливой.
Другой разложен был передо мной товар —
Не яблоко в руке, но цвет весенний сливы,
Не древо, но поля с шершавым звуком трав,
Не сад, но дальний лес языческой породы.
Господь не дал Себя, но дал смиренный нрав
С бунтарским языком и знаньем несвободы.

* * *

...Не так мучительно, не знаю почему.

А. Кушнер

Бомжи, бредущие, как Брейгеля слепцы,
Судьбы своей Ван-Гоговы жнецы —
Куда ни глянешь, всюду зришь искусство,
Неудержимо прущим сорняком
Сквозь жизни неформившийся ком, —
На кой нам эстетическое чувство?

На кой нам помнить, кто что рисовал,
Зачем нам знать, кто, словно Бог, хорал
Из хаоса выдавливал скульптурно?
Ассоциаций плотные ряды,
Как карасями полные пруды,
Нас окружают кольцами Сатурна.

И пусть. Их паутина неслышна,
Но пухнет кровеносная мошна,
И памятливое не дремлет око,
Внеродовую напрягая связь,
И чувствуешь, забвенья не страшась,
Что с ними впрямь — не слишком одиноко.

* * *

Сочась сквозь дырявое лето,
Пulseирует свет без границ,
Целуя волосы цвета
Перепелиных яиц.



И снова мостов и арок
Тягуче-ленивая прыть,
И вечный город в подарок,
Коль нечего больше дарить.

В дешёвом кафе за стаканом
Незнамо какого вина,
Как Гёте сидим с Эккерманом,
Повинность у коих одна

Невидящим взором друг друга
Удерживая на оси
Земного непрочного круга,
А большего и не проси

В краю, где, глядишь, сегидилья,
Глядишь, irish-step к русским щам...
Где сохнут намокшие крылья,
Приросшие к нашим плащам.

НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ

Падают листья, как при рапидной съёмке,
Медленно, неестественно и прекрасно.
Что там ещё осталось у Бога в котомке,
Не уместившись в зазор между «буря» и «ясно»?

Воздух прозрачен, и видно, как время полёвкой
Шмыгает в травах, надкусом у корня губя их.
Щёку утри незаметно рукою ловкой,
Вечной вдовой при греках, варягах, мамах.

Выбрана доля собой, и слёзы лить лень, и
Коли поёшь, то всяк тебе будет милый,
Знать, уцелеешь и в этом землетрясенье,
Не понимая, откуда берутся силы,

Как при любой самой дурной напасти,
И при любой утрате, безмерно веской,
Как сердолик на сильном твоём запястье,
Схваченный полупрозрачной нервущейся леской.

ТОСТ

Я пью за военные астры...

О. Мандельштам

Я пью за судьбу Иокасты,
За Гамлета вечный вопрос,
За крик попугая «Пиастры!»,
За то, чтоб Том Сойер не рос,

За всё, что зовётся культурой,
За книги и даже кино,
За живопись тонкой фактуры,
За терпкое это вино.

Я пью за колючие астры,
За свинства отпущенных дней,
За то, что одни педерасты
Поэты в отчизне моей,

За время, которому на фиг
Не нужен ни Бог, ни пиит,
За липкой иронии трафик,
Что в буковке каждой жужжит.

Я пью за чудачества Бога
И за молодое хамьё,
За то, что осталось немного
Глядеть, как скудеет жнивьё,

За то, что в тиши изобилен
И в грязной надсаде пивных
Рождается, чист и невинен,
Бессмертно-блистающий стих!

А всё, что помимо — до срока:
Прольётся и в землю уйдёт.
Стоят — как всегда — одиноко
И этот, и этот, и тот...

И славы пускай не стяжали,
И нету читателей, но
Оставив покуда скрижали.
Один есть, что крутит кино,

Где в первом ряду сладкопевцы
И гимнослэгатели дна.
Где соли довольно и перца,
Где сладко сжигается сердце,
И чистая радость одна!

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФОРМЕ

Земля имеет форму стула,
Судьба имеет форму дула,
И форму сна имеет сон,
Вода имеет форму капли,
Невозмутимость — форму цапли,
Глистов — завязки от кальсон.

Весна имеет форму скерцо,
А счастье — той заветной дверцы,
Что Буратино отыскал,
Сугроб имеет форму снега,
А бег имеет форму бега,
И форму смеха — карнавал.

Имеет форму всё: декабрь
Похож надохлый дирижабль,
На тризну — думы о былом,
И лишь бесформенное горе
Вовсю пирует на просторе,
Свистя в три пальца за углом.

* * *

И климат наш неисправим, и души,
И смрад тысячетного барака.
Одна седьмая — непригодной — суши.
Здесь жить нельзя. А мы живём, однако.



Отапливая гиблое пространство
Своими невеликими телами,
В кликушество впадая и в шаманство,
Мир изумляя странными делами.

Здесь жить нельзя. Но мы живём упрямо,
Детей рожаем и с зимой воюем,
То всласть выводим «Мама мыла раму»,
То храмы рушим, то кресты целуем.

Нас оттеснили от тепла Европы,
Её морей, её семьи народов,
Мы — сироты, убоги наши тропы
Среди повальных бед и недородов.

Какой там третий Рим! Снега! Сугробы!
Зима по триста дней, о чём вы, право?
Какие тоги здесь? Тулупы, шубы, робы,
Подлёдный лов да зимние забавы.

* * *

Так приходит в негодность отжитый век,
Так летит в глаза прошлогодний снег,
И, впиваясь иглою в припухлость век,
Прерывает бег.

Так с вокзалом вместе уходит в ночь
Тот последний поезд, что мог помочь,
И стуча на стыках: точь-в-точь, точь-в-точь —
Убегает прочь.

Так, сглотив слюну, говоришь: прошла
Эта жизнь, что когда-то с тобой была,
А теперь — проводит лишь до угла,
И — свои дела.

Так кончается этот роман. Почти
Канонически. Что ж, за труд не сочти,
И не то чтоб заново перечти,
Но как текст учти.

* * *

В том краю, где нету зубной боли,
Где ладонь гладка — ни одной мозоли,
И безгрешны помыслы, либо их
Вовсе нет, где соблазном не искалечен
Ни один, где каждый любим и замечен,
Никогда — представь! — не родится стих...



ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ родился в 1968 году в Миассе. Поэт, с 1984 года живет в Ленинграде — С.-Петербурге. Первая публикация — подборка стихов «True bow чист» состоялась в сетевом поэтическом альманахе «45-я параллель» (2009). Затем последовали публикации в сетевых изданиях-литературный альманах «Ликбез» (2011, «Квадрига Аполлона» (2016). Публиковался в журналах «Зинзивер» (2012, 2015, «Аврора» (2017). Участник международного фестиваля поэзии в г. Труа-Ривьер (Канада, 2012), а также ежегодного поэтического фестиваля «Петербургские мосты».

Владимир ЗАХАРОВ

* * *

запишу пару строк для потомков, когда
из набрякших небес выпадает вода,
и скребётся зелёной тоски паразит
под рубахой, а дождь моросит, моросит.
неизменным оставляю я мир за собой,
дунет ангел дежурный в дырявый гобой,
душу с телом пришедший укладывать врозь,
не жалея, что многое не удалось
с голубыми глазёнками мне — малышу,
и не жаль ничего, ни о чём не прошу,
просто кверху лицом, просто руки по швам,
извините, что не был я ровнею вам
за мой кукиш в кармане, за медный алтын
равнодушия к вашим желаньям простым,
неумение быть как стакан — под рукой,
нежелание всем отвечать, кто такой
за ошибки при выборе жён и друзей,
за убогость моей зоологии всей,
я вам тоже не стану за правду пенять,
нам друг друга уже не понять, не понять.

* * *

игра не стоит свеч, свершения — утрат,
а парусину штор норд-ост едва колышет,
за ней квадрат окна возводит мир в квадрат,
и ярко-жёлтый круг на синем фоне вышит.
он неуместен тут, как аргентинский флаг
на широте болот и комариных полчищ,
ни славы не ищи, ни материальных благ,
тогда и горевать под старость не захочешь.
недостижимый рай, разбившийся о быт,
как о скалу фрегат. достичь его стараясь,
ты сделался рогат и всеми позабыт,
и на родной колхоз похож Буэнос-Айрес.

* * *

лимитчицы-зимы сухое молоко
припорошило пыль, впиталось и намокло,
печаль моя светла, мне грустно и легко
сквозь грязные глядеть безжалостные стёкла



как остывает день и посреди двора
водитель-азиат газели смотрит в зубы,
потеряна искра и, стало быть, пора
на свалку отвезти просроченные судьбы
твою или мою — успеть бы до тепла,
чтоб тленья аромат не мучил, не тревожил,
чтоб шаркали года как старая метла
и чтоб надежды свет случайно в них не ожил.

* * *

как бишь там тебя? побудешь Леной.
(все равно запомнил бы едва)
я живу на краешке вселенной,
говорю слова.
как меня зовут? положим Виктор,
хоть в активе никаких побед.
буквы ворошу. но и у них-то
тощий как велосипед
и банальный как лопата смысл,
а другой-то мне откуда взять?
стал я неприветливым и лысым,
никому не муж, не зять.
круглый год одолевают быт мой
грусть-ханум и колотун-бабай.
много ходит мимо любопытных,
вот и ты ступай.

* * *

Снег за окном, мельтешение февральского улья,
Зрение свой объектив не наводит на резкость,
Словно парад палачей капюшоны понурых прохожих,
Грохот трамвая сквозь стёкла похожий на кашель.
Нет у зимы никакой отрезвляющей правды
Будущих бурь замерзающим не обещает.
Месяц короткий, которого на небосклоне
Не различить даже ночью — так бледен, так слаб он телесно,
Словно мое отраженье в удвоенных стёклах,
Будто напрасная речь без надежды и рифмы,
Всё переделать себе самому обещанье.
Падают под ноги белые хлопья забвенья,
Тикает, тихо теряя терпенье, будильник,
Из темноты коридора выходит тревога и тает,
Жизнь через дырочку дня утекает по капле.

* * *

я сижу в углу дивана, знаю прикуп от и до,
на костях левиафана логотип шарли хебдо,
каждый пидор в пьяном виде пишет в блогик — я шарли,
депутаты в Антарктиде затыкают пуп земли.
только мне какое дело, ровен час или бугрист...
за свободу отдал тело в жертву карикатурист.
для чего рисуют шаржи? у меня вопрос возник.
на стене сортира так же я сумею и без них.

неспроста же ваши сети вечно ловят мертвеца,
лучше яду попросите у небесного отца.
он всё видит, он не фразер, как его ни назови,
может, реквием сыграет о разлуке и любви.

* * *

Над промокшими «Крестами»
Серой ватой облака,
И знакомыми местами
Ты слоняешься пока
Ноги мокрые озябли,
Голова горит в огне,
А слова острее сабли
Прямо в сердце целят мне.
Бог не балует погодой,
Круговертью снежных пург,
Ты на зиму заработай,
Нищий отрок Петербург.
Он с небес снежинку бросит,
Где по лужам ходишь там?
Где тебя, мой ангел, носит,
В клюве Осип Мандельштам?

* * *

за пилотов Энола Гей, которые умерли, но не раскаялись,
за все купоны, которые вы настригли,
вам, приближающим термоядерный апокалипсис
посредством Мак-Дональдса и жевачек Wrigley
я говорю на языке Толстого и Гоголя,
всю красоту которого вы поймёте вряд ли, —
задумайтесь хоть на секунду, а много ли
на самый свой чёрный день вы припрятали?
и когда ударит в лицо вспышками яркими
тот последний свет, за которым сломалось всё,
может статься, что никакими миллиардами
не заменишь какой-то бесплатной малости.
за украденный детский мир, которого так и не было,
за Микки-Мауса, Тома Сойера и Хижину дяди Тома
воистину, воистину говорю вам — Эбола
на оба ваших 110-этажных дома.



ЗЕМСКИХ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в г. Волхове Ленинградской области. Поэт, член Союза писателей С.-Петербурга, Союза российских писателей, редактор-составитель пятитомной антологии петербургской поэзии «Собрание сочинений». Закончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал инженером-программистом, инженером-наладчиком на атомных станциях, оператором теплоцентра, верстальщиком, редактором, художественным редактором. Публиковался в газетах, журналах, сборниках, альманахах, антологиях. Стихи переведены на итальянский, английский, польский, чешский, румынский, хорватский, словацкий и др. Автор книг «Неверный угол» (1991), «Страстная неделя» (1993), «Послекнижие» (1996), «Безмолвное пение каракатиц» (1999), «Слегка чуть-чуть и кое-где» (2000), «Книга» (2001), «Хвост змеи» (2006), «Кажется не равно» (2009), «Неразборчиво» (2010), «Ветреность деталей» (Шупашкар, 2011), «Время-повреждение» (Таганрог, 2012); «Несчётное множество» (СПб., 2012), «Шестьдесят шесть и шесть» (СПб., 2014), «Почти всё» (Шупашкар, 2016), «Ну и» (М., 2016). «Бог сидит за пулеметом» (СПб.; М., 2017): «La maglienna rossa si è sirappata» (Рим, 2017). Лауреат премии им. Н. Заболоцкого. Участник множества литературных фестивалей, в том числе и международных (Армения, Бельгия, Польша, Финляндия, Эстония), различных художественных и фотовыставок.

Валерий ЗЕМСКИХ

* * *

Умер он молодым
Девяностолетним
С белой юной бородкой
Высокий стройный
Ему бы жить да жить
Писать стихи
Веселиться
Видимо стало скучно
Всё один да один
Уже четверть века
Только картины по стенам
Да в голове картинки
Столь неприличные
Что стеснялся смотреть при свете

* * *

Насобираю
Наскребу
И всё впустую
Дыряво время
Подставляя ладони
Кулак сожму
Но воздух
Сквозь щели слов
Уходит
Разучился
Дышать

* * *

Пойдём мой друг пойдём
И купим по арбузу
Зачем нам два
Не съесть
Но больно уж красивы
Их можно покатить с горы
И у подножья
Поймав
Разрезать
Набить рты мякотью кровавой
И на ходу друг в друга
Плеваться семечками
Это ли не счастье

* * *

Я не пойду стрелять по окнам из рогатки
А очень хочется
Мир беспощаден
Страхи прячутся за стёклами
Зачем их выпускать на волю
Ты бросишь камень и бежать
А мне расхлёбывать
И объяснять
Что всё не так как было
На третьем этаже открыта форточка
В ней кот лежит
Лениво ловит муху

* * *

Медленно жаба ползёт
Через тропинку
Некуда жабе спешить
Слышала жаба что есть
Какие-то люди
Их надо бояться
Ибо не любят они
Прекрасную жабу

* * *

Мало кто достоин
Мало
Вот он например достоин
Достойн
Но его мало
Да и он не совсем
Совсем недостойн
А если он не достоин
То что говорить о других
Мало
Так мало
Да вовсе нет
Тех кто достоин



* * *

Разве есть места
Где не умирают
Но и места где живут
Мне неизвестны
Долго ищу поляну
Пень чтобы присесть
За соснами брезжит свет
Вышел
А это кончился лес
Впереди
Низина болото хлябь
Мокрая трава
Крапива в полный рост
И чей-то след

* * *

Мы не можем стрелять, мой Генерал.
Мы не можем стрелять.

А в чём дело?
Не хватает снарядов?
Разбиты пушки?

У нас много снарядов, мой Генерал,
И все пушки целы.
Мы не можем стрелять, мой Генерал.
Мы не можем стрелять.
У нас люди не той системы.

Мы идём не туда, мой Генерал,
Мы идём не туда.

Неужели неверны карты
Или компас сбоят?

Карты верны, мой Генерал,
И компас в порядке.
Но мы идём не туда, мой Генерал,
Мы идём не туда.
Это не наша Земля.

* * *

Нам бессмертным недолго осталось
Замолчала кукушка
Неподвижные звёзды
осыпались снегом
Медленно тают

Нам бессмертным не выплыть
Берег всегда за спиной
Волны прячутся друг за друга
Бьют по губам
И тонут

Дай заверну тебя в бежевый холст разлуки
Подушка пропахла сеном прошлогоднего лета
Нам бессмертным не о чем думать
Только о смерти
А у неё и без нас дел по горло

* * *

Нам надо было бы
Так нет
Не удалось
В пути попались буераки
Трясло
А тут ещё с обочин
Кричали
 мол долой
 мол так и надо
 кювет вам будет пухом
Пытались уши заложить комками глины
Чтобы не слышать этот бред и склоки
На газ давили
Горизонт был близок
Но сколько ни крути случайный глобус
Повсюду очумелая дорога
Травы коснёшься
А она пожухла

* * *

Внезапно начинаешь жить
Недолго длится век
Топорщатся минуты
У дня широкая душа
 и всё пытается объять
Но нестерпимо
Желание угадывать конец
А тот с ухмылочкой
И стоит отвернуться
Как новая личина
Но никуда не денется
А мог бы
 сбежать
 и спрятаться
 в соседней подворотне
В соседнем мире
Там всё по-другому
Попутчик в электричке рассказывал
А он не будет врать
Ведь я с ним поделился пивом



ИЛЮХИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА — поэт, одна из основателей и организаторов ежегодного Международного литературного фестиваля «Петербургские мосты». Составитель поэтической антологии «Аничков мост» (СПб., 2010). Зам. гл. редактора журнала «Зинзивер». Член Союза писателей С.-Петербурга, Союза российских писателей и Международного ПЕН-клуба. Стихи публиковались в многочисленных альманахах, антологиях, российской и зарубежной периодике, переведены на украинский, польский и английский языки. Автор книг «Пешеходная зона» (2006), «Ближний свет» (2010), «Птичий февраль» (2013), «Колокольная горка» (2016), «Прощение славянки» (2018). Лауреат премии «Молодой Петербург» (2009), премии журнала «Дети Ра» (2012), премии «Русский Гофман» (2017), дипломант Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2018), обладатель Специального приза Волошинской премии (2013).

Галина ИЛЮХИНА

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕТСТВО

Колодца дворовая рама,
и в небо с квадратного дна
опять фортепьянная гамма
летит из чужого окна.

И голос мальчишеский, ломкий,
взмывает за ней в синеву,
а я невесомой соломкой
восторженно следом плыву —

громаде доходного дома
худую ручонкой машу,
и платице с биркой «швейпрома»
вздувается, как парашют.

И ветер — огромный, весенний,
такой, что бери и лети!
А завтра — ура! — воскресенье,
и в школу не надо идти!

И этот невидимый мальчик,
и хрупкий серебряный алыт,
и хилый герой-одуванчик,
пробивший бугристый асфальт,

и небо, что рвётся на части,
сияя в промытом окне —
моё ленинградское счастье,
которое выпало мне.

33-й ТРАМВАЙ

Забывай, забывай, ностальгию возьми в укорот:
Тридцать третий трамвай отправлялся от Нарвских ворот —
шёл по Газа к Обводному. Я выхожу за мостом.
Закопчённые стены, кирпичный обшарпанный дом.
Там в убогом подвале районный клубок ДОСААФ,
где мы преподавали собачникам клубный устав.
Особняк через улицу — чинный советский райком.

Мы обедать в столовую к ним пробирались тайком:
три копейки салат, канапе с разноцветной икрой,
комсомольские бонзы — под семьдесят каждый второй.
Возвращались в подвал, в темноту, как дюймовочкин крот.
В клубе числилось ровно пятнадцать служебных пород.
Всюду стенды с портретами лучших собак и вождей,
не работал сортир, и крысиные норы везде —
под столами, у сейфа... А в нём небольшой арсенал:
из спортивных «пневмашек» по крысам палил персонал —
генералы блошиных подвалов, собачьи чины,
под портвейн мы стреляли по стендам с вождями страны.
Веселились наутро, дивились, что нам не слабо,
вынимая корявые пульты из ленинских лбов.
Ох, и пили! С размахом, и пофиг нам был дефицит, —
забывалось, что он безраздельно и нагло царит,
что сидит он у всех поголовно в печёнках, в крови, —
нам тогда с перехлёстом хватало счастливой любви,
и на вечное «негде» тем паче плевали стократ —
прямо в клубе собачьем, на стол постелив дрессхалат.
Выходили в осеннюю сырость, чисты и легки,
и вдали, приближаясь, светились во мгле огоньки:
два — зелёный и красный. Ура, тридцать третий трамвай!..

Ностальгия, молчи! Забывай-забывай-забывай,
забивай, не смотри, как в распахнутых створах ворот,
прибывая, угрюмо гудит разномастный народ:
все пятнадцать пород одичалых советских бомжей...
Только рельсы разобраны. Некуда ехать уже.

ЗИМА БЛИЗКО

О чём вы, о каком пути особом?
Я тихо становлюсь социофобом,
всей кожей чуя ледяной прогноз —
что воздух обжигает ментолов,
что близится зима в игре престолов,
и мир идёт вразнос.

Наедине с собой слышнее звуки:
с угрюмым лязгом танки и базуки
в невидимого целятся врага.
И с криком вскинув тоненькие руки,
роняют тапки маленькие муки
и падают в снега.

Грядёт зима. Я не хочу о грустном.
Но боже, как смертельно пахнет дустом
легчайший первый снег.
Забьёшься в щель — а Третья мировая,
железной фомкой плинтусы вскрывая,
идёт, одна на всех.

* * *

Серебряные гвоздики дождя
вколачивает август в гробик лета.
Кончаются под утро сигареты,
и злишься, в эту сырость выходя.



А зонтик — сломан. И, почти бегом, —
на волглый огонёк ларька в тумане,
где, если повезёт, дежурит Аня —
твой слабый шанс разжиться коньяком.

Но за прилавком сладко спит Айгюль.
Ей снится мама, дыни, абрикосы,
ленивые разморенные осы,
И азиатский солнечный июль...

Возьмёшь тихонько с полки пачку «Вог»,
Стараясь не звенеть, положишь деньги.
А дождь прошёл. На мокрые ступеньки
легла луна. И ты один, как бог.

Дым сигареты, призрачный ивняк,
седые сосны — всё твое до завтра.
В тиши охрипший рокот динозавра
Разносит эхом дальний товарняк.

Весь мир, как храм, — волшебен, незнаком.
Идёшь, не чуя ног, луной облитый.
И счастье есть, чего там ни мели ты.
И спит Айгюль. И бог с ним, с коньяком.

ПОЭТ И ЯБЛОКИ **(осеннее, почти несерьезное)**

Он у окна сидит, небритый,
подпёрши щёки кулаками.
А яблоки летят с орбиты,
блистая лунными боками.
Треща от спелости, наливывы
о землю стучаются глухо.
А он — на даче, несчастливый,
и жизнь ему скучна, как муха,
жужжащая в проёме окон
за старой тюлевой гардиной.
Тоска, свивая серый кокон,
ворочается за грудиной:
кому — венец лауреата,
земная слава, Ницца, Варна...
а он вот жертва плагиата,
интриг и сплетен кулуарных.
Стихов его не оценили,
и быт накрыл разбитой лодкой...

На кухне в облачке ванили
жена щебечет над шарлоткой.
Он подышать выходит в сени
и там стоит, забытый Богом,
как яблоко с подгнившим боком
в траве осенней.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

На виске вспотела родинка,
жарко, жарко, спать пора.
Спи, хороший мальчик Роденька,
не касайся топора.

Сон горячечный откатится
по Столярному к Сенной:
видишь — Соня в чистом платице,
вся пронизана весной,
завернула на Садовую,
солнце брызнуло в лицо,
и блестит на пальце новое
обручальное кольцо.
Попусти ты, им, сквалыжникам,
что томятся да дрожат,
тут под каждым под булыжником
деньги липкие лежат.
Сотворить дурное есть кому,
крутят бесы шар земной.
Не спустить бы Достоевскому
тысяч десять в казино,
после корчей эпилепсии
не скрипеть в ночи пером —
ан тебе на чёрной лестнице
не стоять бы с топором...

...Дождь накрапывает вроде как,
воздух чище и свежей.
Спи спокойно, мальчик Роденька,
всё исполнено уже.

* * *

Когда нам остались метель и тщета,
а всё остальное забрали,
на ощупь заснеженный Питер читай
по Брейгелю, словно по Брайлю.

Следи вереницы бредущих слепцов
во времени нашем холопьем —
как кружат они, подставляя лицо
мятежным вихрящимся хлопьям.

Смотри, как бывшее втекает в сейчас,
и новый разлив неминуем.
Лови их сетчаткой залепленных глаз,
запихивай в клетку грудную —

шары фонарей, и аптеку, и ночь,
канал, погрузившийся в кому,
незрячих людей, ковыляющих прочь
по тонком льду золотому

и верь, что хранит твой непрочный ковчег
спасенья наивный талантца,
покуда плывёт сквозь беспамятный снег
твой малый летучий голландец.



КАМИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ родился в 1957 году в Ленинграде. Поэт, прозаик, переводчик. Лауреат премии Н. В. Гоголя (2007). Победитель IV Международного поэтического конкурса «45-й калибр» им Г. Ямпольского (2016). Автор поэтических сборников «Естественный отбор» (1989); «Толпа» (1990) «Исход» (1992), «Процесс» (1994) «Командированный» (1998) «Память смертная» (2002), «Из мрамора» (2007), «Пиршество живых» (2012), «Избранные стихотворения» (2014), «С глазами загнанного зверя» (2017). Автор девяти романов, нескольких книг прозы, опубликованных под псевдонимами Евгений Покровский и Евгений Крестовский. Публиковался в журналах «Звезда», «Урал», «Волга», «Юность», «Нева», «Аврора», «Октябрь», «Крещатик», «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «Плавучий мост», «Северная Аврора», «Петербург», «Южное сияние», «Литературс» (Хельсинки), «Литературная учёба», «Литературная газета», в альманахах «Поэзия», «День поэзии» (2007–2017), «Паровоз», «Истоки», «Подвиг», «Urbi», «Невский альманах», «Васильевский остров», «Царское Село», «Век XXI» (Германия) и др. Участник многих поэтических антологий, в частности «Поздние петербуржцы» (СПб., 1994), «Строфы XX века» (сост. Е. Евтушенко, 1999), «Россыпи» (стихи и песни петербургских поэтов-геологов, 2000), «Поэзия третьего тысячелетия» (Берлин, 2010), «Лучшие стихи 2010 года», «Антология Григорьевской премии» (СПб., 2010, 2011), «Екатерининская миля: поэтическая антология Крыма» (СПб., 2016), «Антология современной поэзии о Крыме (1975–2015)» (СПб., 2015), «Афонская свеча. К 1000-летию русского присутствия на горе Афон» (СПб., 2016), «Тырговиште — Кишинев — Санкт-Петербург» (Тырговиште, 2013), «Дом писателя» (СПб., 2016) и др.

Евгений КАМИНСКИЙ

* * *

Время лететь... И ты ходишь по жизни кругами
около края, вчера собиравшийся в рай...
Хочешь остаться? Упрись в эту жизнь хоть рогами,
а всё равно отведут и поставят на край...

Ты их не знаешь. Их крылья — шесть метров в размахе,
тень от них больше, чем всей твоей жизни враньё,
если летят, то немеют все певчие птахи
и прижимается в страхе к земле вороньё.

Ты их не знаешь... У них всё неспешно и молча,
но для тебя безнадёжно, как в зале суда.
Что им души твоей горем изорванной клочья,
если для счастья её присылали сюда?!

Что им твои оправдания, полные фальши,
ложь и тщета твоих к небу протянутых рук?!
Страшно узнать, что бескрылый не числится дальше,
но пострашней — в том бескрылом узнать себя вдруг.

Если всю правду, то жить собиравшийся вечно
должен был даже не жить, а носить два крыла.
Участь отмерена с точностью дозы аптечной,
дни сочтены... И так жаль даже ту, что была.

* * *

На кладбище среди берёз,
где воздух пополам с крапивою,
там, где природа в полный рост
стоит, не силясь быть красивою

где между скрученных ветвей
то крест, то чудище античное,
сидит в засаде соловей —
такое вспыльчивое личное.

Ему и круча нипочём:
талант растрчивает попусту,
свистит, по сути, ни о чём,
срывается, как крик над пропастью...

Клянусь, душа его пуста.
Не Лемешев совсем, не Собинов...
Но от любви поют уста,
в контексте кладбища особенно

где разлеглась повсюду смерть,
куда зайти-то страшно с улицы,
где людям не на что смотреть,
а вот глядят — не налюбуются.

А вот стоят, открывши рты,
припадок соловьиный слушая.
И что скрывал, как ужас, ты
вдруг открывается как лучшее.

Не всё ж нам тьма да власть ворон?!
Свисти, безмозглое ребячество,
чтоб, ухо наострив, Харон
забыл, зачем он нужен, начисто.

Чем не святой Иероним?!
Ведь вот лежит и не противится
смерть — переложённая им
кириллицей любви латиница.

* * *

...И всё ближе развязка. Предчувствует бездну душа.
Подловив поколение на сладкий крючок барыша,
зверь уже закрутил свой сюжет от Москвы до Нью-Йорка.
А в партере зевают, фольгой откровенно шурша.
И, устав понимать, помирает от смеха галёрка.

В первом акте бы всё завершить, где в кожанке начпрод
строит светлое завтра, и ражий квасной патриот
по сравненью с борцом за свободы из третьего — душа.
А в последнем на сцену, как водится, выйдет народ,
чтобы твердь сокрушить. Ох, поплачет над сыном старушка!

Затаиться бы где, затеряться б... но, как ни юли,
и в сермяжной глубинке, спасенье купив за рубли,
не уйти от времён, ни юродствуя, ни лицемеря...
Даже те, что — как дети, смеясь, отпадут от любви,
возлюбивши из бездны на свет выходящего зверя.

САМАРКАНДСКИЙ БАЗАР

Где в полудрёме царствует Восток,
где тыквы ждут, надменные, как персы,
и жгут на солнце лбы и спины перцы,
пока из спелых дынь сочитается сок



я полагал наесться жизнью впрок:
взяв дыню, словно голову рабыни,
пройти до самой корки мякоть дыни
и — разлюбить... Но разве я так мог?!

Страшилась азиатчины душа,
к картошке прикипев и луку с квасом.
И зря манил меня багровым мясом
тугой арбуз как символ барыша.

Апологет душевной нищеты,
сомкнув уста, я честно грыз фисташку,
и зря Восток в халате нараспашку
пытался перейти со мной на «ты».

Нет, этот сад эдемский был мне ад.
Я понимал, и нечем тут хвалиться,
позволь лишь поднести к ноздрям корицу,
и вмиг в тебе проснется азиат.

И кто тогда удержит дурака
от тяги единения с народом,
чьи дыни истекают тёплым мёдом,
под вечер отлежав себе бока?

Я знал, тогда от счастья не спасут
на горе обречённого поэта
ни пятничные вопли с минарета,
ни память о повестке в Страшный суд.

* * *

Не помню, чтоб рвался к свободе за сорок морей.
И даже когда здесь давил нас антихрист, нахрапист,
я шёл от свободы, зовущейся грозно Хорей,
к свободе, носящей печальное имя Анапест.

А если и думал бежать, свою долю кляня,
брал в руки цилиндр, то оттуда вдруг — заяц и птица!
Спасибо, Господь без прикрас открывал мне меня,
и, глядя окрест, я уже не дерзал откреститься...

Лишь в этих пределах, где чёрное море скорбей,
ознобный восторг перед небом не ведал предела...
Что, скажешь, не дело — смешаться с толпой голубей
и крохи клевать, не заботясь? — Великое дело!

Но самое важное в этом вопросе, поверь,
у неба глаголы вымаливать, дышишь покамест...
Пока, спохватившись, за горло не взял тебя зверь,
чтоб вырвать из сердца с корнями Хорей и Анапест...

* * *

Поблизости где-то живёт воробей,
счастливый премного.
Ну что тому тяжкое бремя скорбей,
кто славит здесь Бога?!
Он ту же пластинку заводит с утра
под крышей палатцо.
Прислушаться если — сплошное «ура!»

и «рады стараться!».
И всё оттого, что ликует душа,
живущая духом,
зело городского сего крепыша
под ангельским пухом.
Ах, этот беспечный, не битый рублём,
лишенец пернатый,
не знает и сам, отчего так влюблён
в родные пенаты.
Нет, тем, кто по жизни не прёт напролом,
напором пугая,
не сделаться в будущей жизни орлом
с душой попугая.
Ведь тем и овчины копеечный клочок —
великое благо,
кто зрит в каждой малости к счастью предлог
и Бога живаго.

* * *

Скрученный, как валторна,
смысл нерождённых строк
радостно и просторно
сердцу дарил восторг,
предвосхищавший слога
первого в слове звук...
Бывшему дудкой Бога,
как это — согнуть вдруг?!
Быть наравне с травой
вытоптаным дотла
нынешней татарвою?!
Чисто метёт метла
новых времён по старым...
Выйдешь с берегов Невы,
слово отдавший даром,
превозмогая рвы,
горы передвигая,
волн прогибая гладь...
В сердце струна тугая
стонет: не смей рыдать!
Это ещё не точка.
(Мало ли что — невмочь!)
Будет и в грудь заточка,
и за колючкой ночь.
Станешь ещё угаром,
горечью сей стране,
в ней погибавший даром,
и не желавший — вне.



КАПУСТИНА ВЕРОНИКА ЛЕОНИДОВНА
родилась в Таллине. Поэт, переводчик, прозаик. Окончила факультет иностранных языков ЛГПИ им. А. И. Герцена, по образованию учитель испанского и английского языков. Первая публикация стихов — в журнале «Нева» (1992). Стихи и рассказы публиковались в журналах «Нева», «Звезда», «Новый мир», «Знамя», «Крещатик», «Семь искусств». Член Союза писателей С.-Петербурга, член Союза российских писателей. Автор книг стихов «Зал ожидания» (1994), «Благодаря Луне» (1999), «Улыбка марафонца» (2005), «История костра» (2011), «Дезертир» (2013) и книги прозы «Намотало». Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2006). Переводы стихов и прозы с испанского и английского языка публиковались издательствами С.-Петербурга и Москвы.

Вероника КАПУСТИНА

* * *

У нас почти весёлые глаза,
мы пьём и говорим давным-давно,
но что-то он рассеянно сказал,
и каждый сразу понял: вот оно.

Все жили, шли, вставали в семь часов,
потели летом, кашляли зимой —
чтобы услышать пару странных слов,
зачем — да кто же знает, боже мой.

Для этой цели выбрали его.
Он выйдет в ночь — как выйдет из тюрьмы...
Но мы ему не скажем ничего.
Пусть думает, что он такой, как мы.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Смытый с палубы злой волной
лежит ничком на плоту.
Боже, это и впрямь со мной,
бормочет сквозь дурноту.
Но, видно, я жив, если вижу сны,
жив, если снятся те,
чьи лица к морю обращены
на западной долготе,
в Дублине, Плимуте... Я не труп.
Если бы я погиб,
забыл бы и вкус прохладных губ,
и локтевой сгиб,
где я, медлителен и упрям,
пульс пугливый ловил.
Видно, я здесь, поскольку там
быть не может любви...
Так он думает, и неправ,
к тому же умер вчера.
Предсмертные сны его украв,
играет ими жара.

В Дублине, Плимуте... По ночам,
поисками больна,
бродит она от вещей к вещам
и не находит сна.
Не спят кроты и нетопыри,
и море в густой ночи
шепчет вяло: иди умри
или лежи молчи.
Она бормочет: меня найдут.
Твердит себе: не реви —
ты уже там, поскольку тут
быть не может любви...
Она лежит и считает пульс,
И, стало быть, неправда...
И темнота смеётся: пусть
надеется, что мертва.

* * *

Сказав «Прощай», ты остаёшься жив,
и то же слово выслушав в ответ,
ты застываешь, трубку положив,
и смотришь на какой-нибудь предмет.
Следишь, угрюмый снайпер, вор, шпион,
упрямый испытатель злой тоски,
как в вазе раскрывается пион,
лениво разнимая лепестки.
Теперь ты и цветку, и вазе враг.
Пропасть, как и положено вещам,
они стремятся. Спрятаться во мрак.
Вещей не существует по ночам.
Ты, повторяю, жив, а прочих нет.
Выбрасывая новые «прощай»
в холодный, по ночам горящий свет,
в тебе одном вращается праща.

* * *

Может, мне покажут мир, когда умру, —
Синий шар на чёрном слепом ветру.
Скажут, прожили вы не так чтобы, но вполне,
не бывали нигде — отправим-ка вас в турне.
Вы увидите сверху Родос, Техас, Прованс,
Левантский берег, что раньше был не про вас.
Убедитесь, что тесен мир и прочен шар,
Не узнали запах? Пот, парфюм, перегар.
Вы вращайтесь тихонько, спутником, не дыша.
А зачем вам вообще дышать, если вы душа.
С вашей смертью качнулись Весы совсем чуть-чуть,
Близнецы попирают по-прежнему Млечный Путь,
тихо свистнул Рак — мол, кончено, наконец,
и пульсирует аккуратно тупой Телец,
и объедет вас кто-то опять на Козе кривой,
Как он делал всегда, пока вы были живой.

ПОЭЗИЯ

Ольга КИРЕЕНКО
Александр КОМАРОВ
Игорь КУБЕРСКИЙ
Александр КУШНЕР
Игорь ЛАЗУНИН
Олег ЛЕВИТАН
Дмитрий ЛЕГЕЗА
Вячеслав ЛЕЙКИН
Валентина ЛЕЛИНА
Александр ЛЕОНТЬЕВ
Елена ЛИТВИНЦЕВА

3

Санкт-Петербург — Россия



КИРЕЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРОВНА родилась в 1941 году. Поэт, кандидат физико-математических наук. Член Союза писателей С.-Петербурга. Занималась в литобъединениях Глеба Сергеевича Семенова и Александра Семеновича Кушнера. Стихи печатались в журналах «Нева», «Континент» и др., а также в различных поэтических сборниках. Автор поэтических книг «Знак воздуха» (1997), «Танцы во сне» (1999), «К северу от любви» (2003).

Ольга КИРЕЕНКО

* * *

Жить в городке, где все друг друга знают,
Где кличут всех собак по именам...
Да и они ни на кого не лают,
Традиционно доверяя нам.

Вернее, лают, но для развлечения,
Иначе — что? Весь день скучать, молчать?
И времени неспешное течение
На всё вокруг кладет свою печать.

Ну вот — к своим истокам и пришёл ты,
Но прислониться не к чему душой.
А на листве зелёной — странный, жёлтый,
Больной налёт от химии большой.

Событие — на днях приедет драма.
Закатом небо выжжено дотла.
Ну что сказать? Тебе спасибо, мама,
Что здесь меня ты только родила...

ЛИТВА 1980

А птицы не по-нашему кричат
За утренней воздушной занавеской...
Лениво ловит полусонный взгляд
Детали быта в ракурсе нерезком.

Вот на плакетке — древняя Литва:
Смоленск и Киев, и на юг до моря.
По краю — непонятные слова,
Но с ними соглашаешься, не споря.

Какие карты через триста лет
На сувенирах будут красоваться?
И что в горнилах всех возможных бед
Останется от языков и наций?

Ну а пока что — в Вильнюсе жара,
Старинных переулков странный запах...
Гроза крадётся с самого утра —
Мохнатый Локис на бесшумных лапах.



Воскресный перезвон костёлов дальних...
И юноша с портфелем «дипломат»
Вдруг на колени встал к исповедальне.
Ксёндз — в кружевах и в позе театральной...

И птицы не по-нашему кричат.

* * *

Такие времена... Парад планет
Как оправданье неудач и бед
Вполне годится. Мы не виноваты,
Что у фортуны ржаво колесо
И внутренних осипших голосов
Ночные откровенья глуповаты.
Первопричин не сохранив следа,
Судьба свои невнятицы картавит.
А всё-таки — упавшая звезда
Опять желанье загадать заставит,
Сплетёт свои окольные пути,
Чужих ошибок заслонит примеры...
Метеорит — окурок атмосферы —
В земную урну брошенный летит.

* * *

Чуть июль рассыплется грозами,
Бродишь по лесу — примечай:
Заживающим шрамом розовым
Полосой стоит иван-чай.

На пожарищах да по вырубкам
След беды закатом горит.
Из калёной памяти вырви-ка
Клин крушений да гвоздь обид.

Помогает природа выжить нам —
Таково её ремесло.
То, что смолоду было выжжено —
Всё же травами поросло.

* * *

К северу от любви несёт сквозняком из подвала,
Злые Бореи свистят, мечутся капли дождя.
Было тепло в Крыму — разве этого мало,
Чтобы добром помянуть, в серую мглу уходя?

К северу от любви тлеет холодное солнце,
Редко роняя лучи, — каждый просвет лови
Памяти лёгким сачком. Жаль только — жизнь остаётся,
Как ни вращай горизонт, к северу от любви.

* * *

Неженское дело — свобода
От боли, страданий, обид...
Бродягу, бандита, уroda
К горячей груди прислонит.

Милует, и кормит, и лечит,
Дарует живое тепло,
Подставит несильные плечи,
Что там бы на них ни легло.

В слезах захлебнётся без звука:
Идёт — то ли пить, то ли бить...
И корчится в яростных муках,
Не в силах простить и забыть.

Я звякну замками у входа,
Окурки смахну со стола...
Неженское дело — свобода,
Но тем она мне и мила.

* * *

Просроченная жизнь — и смерть в пустой квартире,
Где даже сгустка нет кошачьего тепла.
Ударит мелкий тромб, как пулька в детском тире, —
И валится мишень. Печально поплыла
Под пыльный потолок прозрачная монада
Подержанной души. Взглянуть на свой уют
Ещё возможность есть, но ей уже не надо
Того, чем здесь жила... Ей слышно, как поют
Незримые в раю, — обещан за старанье
Не красть, не убивать, не возжелать и чтить.
Туда, скорей туда! Она уже за гранью.
Зачем же держит нить, что порвана почти?
Зачем ей здесь витать и девять дней, и сорок,
Над пеплом всех надежд несбывшихся кружа?
Чтобы успел истлеть воспоминаний ворох,
Привязанности чтоб сточить успела ржа,
Чтоб потускнели те волшебные минуты,
Где дыбилась травой воскресшая земля,
И даже соловей примолкнул почему-то
И паузу держал, мгновенья счастья для...
Не знали мы тогда, что был любовью назван
Природы злой обман, а трели соловья —
Акустика внутри бездушной протоплазмы.
Программа в ней давно заложена своя —
И файлы бесполезные стирает
Нажатьем кнопки. Планомерный труд...
Куда спешить? Ведь в двух шагах от рая
Устроят общий шмон — и память отберут.

* * *

О чём шумит листва на внятном языке?
Как лепетом своим пытается осина
Бездумных остеречь? Но пьяный в холодке
Так беспробудно спит, что боль невыносима.

Вот так, по одному, кончается народ...
Детей у многих нет, подарком редким — внуки.
Последнею в роду поэзия умрёт —
И сгинет наш язык, огни пройдя и муки.



Лишь в шёпоте листвы останется намёк
На скорбный результат жестокого урока:
Уж коли сам народ себя не уберёт,
То не нужны враги или проклятья рока.

* * *

О милости моля, надеемся на чудо,
Что сверху снизойдёт, не требуя труда.
А Бог живёт внутри и видит нас оттуда,
А вовсе не с небес, как думали всегда.

* * *

Откос в цветочках жёлтых и лиловых.
Излучина. Миниатюрный плёс.
В недвижимом ожидании улова
Рыбак и сам как будто мхом оброс.

А цапля — воплощение водных граций —
На глади скользкой начала разбег.
Обидно будет с этим расставаться,
Возможно — скоро, а вообще — навек.

Потери не заметит ширь большая,
Лес мокрый, где звериных лежбищ глушь.
И как-то не особо утешает
Слух бодрый про переселенье душ.

Душа, очнувшись где-нибудь в Алжире,
И знать не будет, как она жила
Когда-то здесь, где вся река не шире
Двух лёгких взмахов птичьего крыла.

Но будет ныть, испытывая зависть,
По строчке на каком-нибудь клочке
Припомнив, как легко стихи писались
На бесподобном русском языке.

* * *

Чуть-чуть не хватает мне ягоды чёрной,
Чтоб банку наполнить живым витамином.
Дождинки грибам не хватает проворным,
Чтоб выбежать с горки в раздолье долины,
Ещё не хватает уклончивой лодке
Простора речного, размашистой шири...
А хватит ли мне моей жизни короткой,
Чтоб всем насладиться в том праздничном мире?



КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ родился в 1945 году в Ленинграде. Поэт. Был токарем, журналистом. Первая книга — «Штрихи» — вышла в 1984 году. В настоящее время в активе поэта шесть стихотворных книг.

Александр КОМАРОВ

* * *

Мороз натягивает провода.
Они подрагивают от натуги.
До дна окаменевшая вода
стоит в каналах. Коченеют руки
в перчатках шерстяных. И щёки жжёт, —
лишь колкий воздух шевельнётся слабо.
Метеослужба наша наперёд
об этой стуже известить могла бы.
А ныне мы застигнуты врасплох.
Надолго ли? — не объявляют срока...
И если делать чуть поглубже вдох, —
покалывает лёгкие немного.
Замёрзло время. И ни тпру ни ну!
Ни из кого не выщипнуть ответа:
возможна ли надежда на весну,
и можно ли рассчитывать на лето...
Но грохот вдруг объемлет водосток!
Рассоплились и заслезались стёкла.
С востока дует? С запада? Жесток
весёлый шквал. Набухло и намокло
всё, что могло намочнуть. Потекло
всё, что способно было течь и литься,
и, небу потемневшему назло,
надеждой осветились наши лица.
Ещё не лето. Не весна пока.
И не к лицу расслабленность и нега,
покуда нависают облака,
вываливающие кучи снега.
Но это — недвусмысленный намёк
на то, что почки лопнут, как терпенье,
что летний — на каникулы — звонок
вплетётся в птиц раскованное пенье.
Ну да! — куда же деться? — лету быть!
Теперь я это чётко понимаю.
А ежели весна покажет прыть,
то всё уже зазеленеет к маю...
Но спросите: какой была зима?
И тут сомненье овладеет мною:
возможно, что холодной. И весьма...
А может, и какой-нибудь иною...
Где ж сил набрать, чтоб охватить века? .
В раздумье, щёку подперев рукою,
поймёшь — как наша память коротка,
да, впрочем, и всегда была такою...



* * *

Не до красоты. Её запасы
истощены. Закрыт лимит.
Деревьев чёрные каркасы
имеют огорчённый вид.
И с каждым днём дома мрачнее,
хоть выкрашены в жёлтый цвет.
От измороси сатанея, —
от жизни ожидаешь бед.
В Манилу бы махнуть не хило,
в Бразилию, в низовья Нила, —
в обетованные места...
А здесь — и солнце изменило
себе, не греет ни черта!
Всё отказало! Не рифмую;
на сердце и на небе муть...
Ай, как-нибудь презимую.
Перекантуюсь как-нибудь.

* * *

Ни Пушкина, ни Блока, ни Ахматовой...
Всё меньше старых знаков и примет.
Но город погружён в привычно-матовый
и призрачно-необъяснимый свет.

Он пережил переименования,
вождей неудовольствие и гнёт,
но было для надежды основание,
что имя настоящее вернёт.

Хоть многое повыскребли, повытерли
и перелицевали всё вокруг,
но вот дарю вам книгу, а на титуле,
как и тогда, стоит — «Санкт-Петербург»!

* * *

Сперва вдали, потом — на ближних
аллеях парка, меж берёз,
мелькает одинокий лыжник,
и видно, что бежит всерьёз.
Не новичок неловко-жалкий,
а ладно скроен, крепко сшит.
О, как в руках мелькают палки!
Как снег под лыжами визжит!
И предположим для примеру,
допустим хоть на миг, что он —
закончивший свою карьеру
непобеждённый чемпион.
Теперь пред ним стезя другая.
Теперь важнее для него,
ни от кого не убегая,
не настигая никого,
открыть внезапно, что на свете
существовали искони
вот этот снег, деревья эти,
и одинокий свист лыжни.

* * *

Как часто сам себя ругаю,
собой доволен не вполне, —
что медленно я запрягаю,
а еду — медленней вдвойне.
Но если поразмыслить строго,
стереотипам вопреки,
у каждого — своя дорога.
Так с кем скакать вперегонки?
Как я ни догоняй удачу,
как ни настёгивай коня, —
те так и так меня обскачут,
а те — отстанут от меня.
И я на них взираю кротко.
А за собою признаю:
свой путь, свой темп, свою походку,
и, наконец, судьбу свою.

* * *

Нрав изменился у погоды-плаксы —
зима была устойчива, как баксы,
и ожидалась дружная весна.
И как ни странно говорить про стужу,
что лишь она и согревала душу,
но душу согревала лишь она.

Хоть что-то было на земле стабильно.
А снег ложился плотно и обильно,
о переменах думать запретив.
Ах, наше бытие не без изъяна:
его непостоянство — постоянно,
и в будущем — негусто перспектив.

Трамвай прошёл, и дом, как в лихорадке,
затрясся; через промежуток краткий
на лестнице грохочет лифт дверьми
и, выйдя из него, орёт пьянчуга;
ночами же в окно стучится вьюга...
А я хочу покоя, чёрт возьми!

Но каждый ждёт и требует совета:
кто — дельного, кто — мудрого. И это,
как думают, — мой долг, моя судьба,
не ведая, каков я настоящий...
Отстаньте все! — момент неподходящий:
я гостью жду, что заколотит в ящик
и упокоит Божьего раба!

* * *

Какое подлинное горе —
век проваландаться на свете,
и до скончания петь в хоре
иль танцевать в кордебалете.
А есть счастливики, которым
везёт всегда и повсеместно
солировать на фоне хора



в сопровождении оркестра.
Но я — ни с этими, ни с теми.
Я к тем и тем — спиной и боком,
И нету зависти ни тени
на лбу моём, не столь высоком.
Ведь славу я не добываю,
как хищник, ищущий добычу.
Зато, когда один бываю, —
я сам себе под нос мурлычу.

* * *

В булочных, где тихо и уютно,
добрые старушки-продащицы
с покупателем ведут беседу
уважительно и деликатно,
отпуская сухари, и сдобу,
и, конечно же, насущный хлеб.
Здесь любой бы выкрик был нелеп.

В магазине, где торгуют рыбой,
продавцы угрюмы и сварливы...
Но они не повышают тона:
через руки их проходит тонна
и трески, и хека, и минтая.
Рыба свежая скользит как мыло,
а мороженная, что, не тая,
в холоде хранится под стеклом, —
неподъемна, как металлолом.

Ну а там, где продают картошку,
где капуста зеленеет бледно,
где оранжев репчатый хрустящий
лук, где свежие морковь и свёкла,
огурцы, салат и помидоры
создают насыщенную гамму
ярче, чем у импрессионистов, —

так вот там, где всем торгуют этим,
там накал общения неистов:
бабы за прилавками крикливы,
к покупателям несправедливы,
злобно на весы швыряют сливы.
Вежливости тут мы не заметим.

Покупатель, делом самым первым
дай покой своим усталым нервам.
Если ты пошёл купить картошки,
помидоров, огурцов и лука,
размышляй дорогой понарошку,
как рекомендует нам наука,
будто ты собрался спозаранок
в булочную прикупить баранок.



КУБЕРСКИЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ родился в 1942 году в Ульяновске, в семье кадрового офицера. Прозаик, поэт, переводчик. После службы в армии закончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Участник «Войны на истощение» (1967–1970 гг.) между Египтом и Израилем. Постоянный автор и трижды лауреат премии журнала «Звезда» (1993, 2011, 2016). Лауреат международной литературной премии имени Н. В. Гоголя (2017). Автор книг «Свет на сцену» (1979), «Отблески. Дирижер. Подпись под клише» (1987), «Ночь в Мадриде» (1997), «Маньяк» (1997, 2004), «Праздник свиданий. Избранные стихотворения и монологи» (2000), «Пробуждение улитки» (2003), «Лола» (2004), «Массажист» (2004), «Игры с ветром» (2010), «Репетиция прощания» (2010), «Египет-69» (2015), «Полынья» (2018).

Игорь КУБЕРСКИЙ

ПАДАЮЩИЙ АНГЕЛ

1

Над ледяными зданьями,
Над проседью садов
В белёсом хрупком пламени
Ночных прожекторов,
Над арками, решётками,
Шестёрками коней,
Над облачками шёпота,
Молчанием теней,
Над паутиной, проволокой,
Угрюмой толчей,
Над всем, что было промельком,
Негреющей свечой,
Над куполами, плитами,
Кругами колоннад,
Над каблуками, сбитыми
В паломничествах, — над
Глухой тоской острожною
В кольце углов шести
Мой ангел обмороженный,
Лети, лети!

2

Приземлимся на песке,
Петропавловка за нами,
И полощется в реке
Долгой набережной знамя.

Загляну в твои глаза,
Где собрал хрусталик синий
Солнце, небо, голоса,
Спевку плавающих линий.

За спиной — курантов звон,
Будто ангела паденье,
И растёт со всех сторон
Жизни свадебное пенье.



Будто реют и для нас
Ленты, выпелы и флаги —
Яблочный одарит Спас
Спелым яблоком отваги.

И у самой у черты,
Где грозю блещут тучи,
Вздвогнув, обернёшься ты
Неизбывно, неминуче.

* * *

В свете нынешних событий
Вход гвоздями заколочен.
Потому и не звоните
У порога в колокольчик.

Потому и не придёте,
Отряхнув с плеча ненастье,
Что в рассыпанной колоде
Не осталось вашей масти.

За окошком ходит осень
С покрасневшими глазами.
Я бы прожил только в прозе,
Если бы не встреча с вами.

Не беда, что понапрасну
Мы измучаем друг друга, —
Жизнь, она тем и прекрасна,
Что не ведает испуга.

А любовь, чем безнадёжней,
Тем, конечно, долговечней, —
На ветру, в простой одежке,
С немигающею свечкой.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светят свечи каштанов
В пелене грозовой.
В этот раз я не стану
Пререкаться с судьбой.
И как будто бы снова
Начинается счёт
С года сорок второго,
С тех, приволжских, высот.

Я, крещённый войною,
На войне не убит.
За отцовской спиною
Моё детство стоит.
Только песни и крики,
Смертный шорох знамён,
Исступленные лики
Неизжитых времён.
Только радость с бедою
И Победы озноб,
Да отцовской звездою
Поцарапанный лоб.

* * *

Мне приснилось, что я умер,
Будто кто-то надоумил
Перейти черту.
Перейдя, я оглянулся —
За спиной канал тянулся,
Тусклый, в темноту.
Мир вибрировал обратный
Музыкою невозвратной.
И в одной из тем,
Преисполнены печали,
Голоса родных звучали
Из-за тонких стен.

И стоял я, незаметен,
Но не прерывался, светел,
Дух и ровно пульс стучал.
И сквозь смертную усталость
Всё ясней обозначалась
Даль других начал.
Было как перед рассветом...
Если б мог я весть об этом
Передать теперь —
Позвонить по телефону,
Чиркнуть ласточкой с балкона,
Постучаться в дверь.

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Опять он над заливом снежным
Скользит, азартом обуян,
Наполнив ветром побережным
Свой чёрно-белый парашлан.

Поют натянутые стропы,
Шуршит, расслаиваясь, наст —
Вот так душа за новый опыт
Весь предыдущий свой отдаст.

А ветер и резвей, и громче,
Вопит орган над головой,
И, стало быть, ещё не кончен
Невероятный путь земной.

Ещё любви трепещет птица
И рвётся бешено из рук,
И сердце больше не боится
Ни расставаний, ни разлук.

Вот так перед последней гранью
Над коркой ледяного сна
Душа на празднике прощанья
В кипящий шёлк воплощена.

НАКАНУНЕ

Но и без прикосновений возникал стеклянный звон,
Как тогда, когда мы прятались под ёлкой,
Где и звёзды, и гирлянды, и огни со всех сторон,
Новый год, и ожидания, и толки...



Да и позже, там, в июне, за оградами, за тем
Мокрым ворохом мерцающей сирени
Всё звучало вечерами обращённое ко всем
Обещание любви и озаренья.

Грех сказать, что не случилось, или что не довелось, —
Нет, скорее, отыграло, как по нотам.
И неважно, что осталось слушать музыку поврозь,
И что всё-таки не получилось что-то.

* * *

Я ищу свободы и покоя!

М. Лермонтов

Когда с автобуса — пешком
и вдоль шоссе, потом направо,
с выдавшим виды рюкзаком,
вниз по тропе — туда, где травы
ещё топорщатся в мой рост
по-над извилистой рекою —
там дальше деревянный мост,
а от него подать рукою...
когда опять облает пёс,
вскочив с хозяйского порога,
и злой крупой замёрзших слёз
ноябрь окропит дорогу...
когда, сезону поперечь,
наперекор предзимней стуже
вновь натоплю сырую печь
и на плите сготовлю ужин,
и снова выйду на крыльцо
под звёздный купол небосвода...
А что ещё в конце концов
назвать покоем и свободой?



КУШНЕР АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ родился в 1936 году в Ленинграде. Поэт, автор книг «Первое впечатление» (1962), «Приметы» (1969), «Голос» (1978), «Таврический сад» (1984), «На сумрачной звезде» (1994), «Кустарник» (2002), «Холодный май» (2005), «Вечерний свет» (2013), «Над обрывом» (2018) и др. Лауреат Государственной премии России, Пушкинской премии России, национальной премии «Поэт» и др.

Александр КУШНЕР

* * *

Эти трое любуются первой ласточкой:
Муж с бородкою, юноша и подросток.
Это лучше, чем воинский быт палаточный,
Даже эпос троянский, такой громоздкий!

Что за чудная ваза краснофигурная!
Где суровость, безжалостность и свирепость?
Солнце чудится, видится даль лазурная.
Вообще это лирика, а не эпос!

И каким же сиянием вся пропитана,
И какую простую несет идею!
И как будто она на меня рассчитана,
Что когда-нибудь я залюбуюсь ею.

* * *

Утром тихо, чтобы спящую
Мне тебя не разбудить,
Я встаю и дверь скрипящую
Пробую уговорить
Обойтись без скрипа лишнего,
И на цыпочках, как вор,
Может быть, смеша Всевышнего,
Выбираюсь в коридор.

Есть в моём печальном опыте
Знание горестное. Вот,
Так и есть: в соседней комнате
На столе записка ждёт:

«Провела полночи с книжкой,
Не могла никак уснуть.
Постарайся утром мышкою
Быть. Не звякни чем-нибудь».

Спи, не звякну. Все движения
Отработаны, шаги,
Как церковное служение,
Не забыты пустяки,
Всё обдумано и взвешено
Не должно ничто упасть.
Спи. К любви печаль подмешена,
Страх, а думают, что страсть.



* * *

Мы в постели лежим, а в Чегеме шумит водопад.
Мы на кухне сидим, а в Чегеме шумит водопад,
Мы на службу идём, а в Чегеме шумит водопад,
Мы гуляем вдвоём, а в Чегеме шумит водопад.

Распиваем вино, а в Чегеме шумит водопад.
Открываем окно, а в Чегеме шумит водопад.
Мы читаем стихи, а в Чегеме шумит водопад.
Мы заходим в архив, а в Чегеме шумит водопад.

Нас, понурых, с колен, а в Чегеме шумит водопад,
Поднимает Шопен, а в Чегеме шумит водопад.
Жизнь с собой не забрать, и чему я особенно рад, —
Буду я умирать, а в Чегеме шумит водопад!

* * *

Мои друзья, их было много,
Никто из них не верил в Бога,
Как это принято сейчас.
Из Фета, Тютчева и Блока
Их состоял иконостас.

Когда им головы дурили,
«Имейте совесть», — говорили,
Был горек голос их и тих.
На партсобрания не ходили:
Партийных не было среди них.

Их книги резала цензура,
Их пощадила пуля-дура,
А кое-кто через арест
Прошёл, посматривали хмуро,
Из дальних возвратившись мест.

Как их цветочки полевые
Умели радовать любые,
Подснежник, лютик, горицвет!
И я, — тянулись молодые
К ним, — был вниманием их согрет.

Была в них подлинность и скромность.
А слова лишнего «духовность»
Не помню в сдержанных речах.
А смерть, что ж смерть, — была готовность
К ней и молчанье, но не страх.

* * *

Поговорить бы тихо сквозь века
С поручиком Тенгинского полка
И лучшее его стихотворенье
Прочесть ему, чтоб он наверняка
Знал, как о нём высоко наше мнение.

А горы бы сверкали в стороне,
А речь в стихах бы шла о странном сне,
Печальном сне, печальней не бывает.
«Шел разговор весёлый обо мне», —
На этом месте сердце обмирает.

И кажется, что есть другая жизнь,
И хочется, на строчку опершись,
Ту жизнь мне разглядеть, а он, быть может,
Шепнёт: «За эту слишком не держись», —
И руку на плечо моё положит.

* * *

«И не такие царства погибали!» —
Сказал синода обер-прокурор
Жестоко так, как будто на медали
Он выбил свой суровый приговор.

И не такие царства. А какие?
Египет, Рим, Афины, может быть?
Он не хотел гибели России
И время был бы рад остановить.

И вынув из жилетного кармана
Часы, смотрел на них, но время шло.
Тогда вставал он с жёсткого дивана
И расправлял совиное крыло.

А что теперь? Неужто всё сначала?
Опять смотреть с опаской на часы?
Но столько раз Россия погибала
И возрождалась вновь после грозы.

Итак, фонарь, ночь, улица, аптека,
Леса, поля с их чудной тишиной...
И мне не царства жаль, а человека.
И Бог не царством занят, а душой.

* * *

Питер де Хох оставляет калитку открытой,
Чтобы Вермеер прошёл в неё следом за ним.
Маленький дворик с кирпичной стеною, увитой
Зеленью, улочка с блеском её золотым!

Это приём, для того и открыта калитка,
Чтобы почувствовал зритель объём и сквозняк.
Это проникнуть в другое пространство попытка, —
Искусствовед бы сказал приблизительно так.

Виден насквозь этот мир — и поэтому странен,
Светел, подробен, в проёме дверном затенён.
Ты горожанка, конечно, и я горожанин,
Кажется, дом этот с давних я знаю времен.

Как безыдейность мне нравится и непредвзятость,
Яркий румянец и вышивка или шитье!
Главная тайна лежит на поверхности, прятать
Незачем: видят и словно не видят её.

Скоро и мы этот мир драгоценный покинем,
Что же мы поняли, что мы расскажем о нём?
Смысл в этом жёлтом, — мы скажем, — кирпичном и синем,
И в белокожем, и в лиственном, и в кружевном!



* * *

Пока Сизиф спускается с горы
За камнем, что скатился вновь под гору,
Он может отдохнуть от мошкары,
Увидеть всё, что вдруг предстанет взору,
Сорвать цветок, пусть это будет мак,
В горах пылают огненные маки,
На них не налюбуйешься никак,
Шмели их обожают, работяги,
Сочувствующие Сизифу, им
Внушает уваженье труд Сизифа;
Ещё он может морем кружевным
Полюбоваться с пеною у рифа,
А то, что это всё в стране теней
С Сизифом происходит, где ни маков,
Ни моря нет, неправда! Нам видней.
Сизиф — наш друг, и труд наш одинаков.

* * *

Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная, —
Это значит, что грекам жилось неплохо.
Подгоняла триеру волна морская,
В ней сидели гребцы, как в стручке гороха.

Налегай на весло, ничего, что трудно,
В порт придём — отдохнёт твоя поясница.
А в краях залетейских мерцает скудно
Свет и не разглядеть в полумраке лица.

Я не знаю, какому ещё народу
Так светило бы солнце и птицы пели,
А загробная, тусклая жизнь с исподу
Представлялась подобием узкой щели!

Как сказал Одиссею Ахилл, в неволе
Залетейской лишённый огня и мощи,
На земле хорошо, даже если в поле
Погоняешь вола, как простой подёнщик.

Так кому же мне верить: ему, герою,
Или тем, кто за смертной чертой последней
Видит царство с подсветкою золотою,
В этой жизни как в тесной топчась передней?

* * *

Я люблю тиранию рифмы — она добиться
Заставляет внезапного смысла и совершенства,
И воистину райская вдруг залетает птица,
И оказывается, есть на земле блаженство.

Как несчастен без этого был бы я принужденья,
Без преграды, препятствия и дорогой подсказки,
И не знал бы, чего не хватает мне: утешенья?
Удивленья? Смятенья? Негаданной встречи? Встряски?

Это русский язык с его гулками падежами,
Суффиксами и лёгкой побегою ударений,
Но не будем вдаваться в подробности; между нами,
Дар есть дар, только дар, а язык наш придумал гений.



ЛАЗУНИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1975 году в городе Жданове. Поэт.

Получил среднетехническое образование в Мариупольском индустриальном техникуме (1990–1994 гг.). С 1998 года проживает в С.-Петербурге. Работает сварщиком в мостоотряде. Член Союза писателей России. Публиковался в периодических изданиях России и зарубежья, а также в коллективных сборниках. Автор пяти поэтических книг: «Чужие сны» (2003), «Лёгкая атлетика» (2006; в соавторстве с К. А. Пасечником), «Макет весны» (2009), «Путеводитель по бездорожью» (2014), «Химсостав предчувствия» (2017). Участник первого Международного форума молодых писателей России и Китая (Китай, Шанхай), участник Международного литературного фестиваля в Нови Сад (Сербия, Нови Сад). Стихи переводились на румынский, китайский, сербский и французский языки.

Игорь ЛАЗУНИН

* * *

Воздушный змей перегрызает леску,
Свободой неосознанно влеком;
И вот она с остроконечным треском
Ему дарует небо целиком.

И у него распутный ветер в штате.
Ему смешно, что он — папье-маше,
Пяток гвоздей, гнилой оконный штапик.
Восторг его толкает вверх взашей.

Он обернётся с невообразимых
Высот узреть, что в пыльном далеке
Ребёнок превращается в слезинку,
Бегущую по луговой щеке.

ДИРИЖЁР

Нелепый, будто фрак на вырост,
На нём болтается оркестр.
А он сейчас такое выдаст,
Что зал повскакивает с мест.

И незачем, смотря в бинокль,
Его ловить на мелочах,
Ведь с каждой выигранной нотой
Он шире прежнего в плечах.

То плавно, то тревожно резко
Пронзает звуков кутерьму
И слишком раздражён оркестром,
Что жмёт под мышками ему.

ЯВЬ

С тишиной, как с женой,
Не спеша регулярно живу.
Осмотрюсь, Боже мой,
Неужели я весь наяву?



Утро цвета халвы.
Кувыркается в небе луна.
В цветнике головы
Расцветает бутон бодуна.

Поперхнувшись мечтой,
Уповаю на помощь вина.
Жизнь как женщина, что
Не в меня влюблена.

* * *

Я сконструирован по чертежам,
Что лично спроектированы Богом.
Когда ослабили гайки крепежа,
Я стал ходить со временем не в ногу.

По мненью измерительных клещей,
Подвержен перепадам напряженья.
Противоречат логике вещей
Моей души нелепые движенья.

Я сам себе Ерёма и Фома.
Я — червь, я — царь, я, в общем, тот, который...
...Уже не помнит собственный формат
И выход из конструкторской конторы.

ПАСХА

Жизнь прошла при невыясненных обстоятельствах.
Очерствел, и раскаянье в душу не тычется.
Тот же, кто обвинял тебя в страшных предательствах,
Даже если захочешь, уже не отыщется.

Долго споришь с собой о вреде беспорядочных
Связей (будто бы в жизни есть что-то безвредное).
А потом, покрасневшись, боясь, лихорадочно,
Шепотком поверяешь себе заповедное.

Охлаждаешь лицо под фырчащим смесителем.
Снова силы не хватит на то, чтоб отчаяться.
И в ответ на пароль о Воскресшем Спасителе
Стонешь: «Да, чёрт возьми, и такое случается».

ЗАЛИВ

Не к парку с мёртвыми прудами
Примчался я, на всё забив,
Сюда, где, летними трудами
Умаянный, лежит залив

Где яхта на ветру тугая,
Вся важная до мелочей,
Сидит пиратским попугаем
У горизонта на плече.

Ничуть не утруждает зренье —
Открыт на лучшей из страниц —
Учебник по стихосложению
В старинном переплёте птиц.

* * *

Прямо над улочкой узенькой,
Не отовсюду видна,
Брызжет классической музыкой
Свежая рана окна.

Кто там за шторкою бежевой,
Сам становясь сквозняком,
Скачет по клавишам бешено,
Как по стеклу босиком?

Звуков лихих авиация
Мёртвые петли чудит.
Входит в пике вариация,
И никого не щадит.

Мне же приятнее немощный
Звук, будто полунамёк —
Мне позволяет быть мелочным
Сердца тугой кошелёк.

* * *

Не психовала, не била тарелки.
Только смотрела с безумьем в глазах,
Как, конвульсируя лапкою стрелки,
Вышла на нет батарейка в часах...

Пережила. Перестал быть Голгофой
Мир без него. В сердце прибыло сил.
Даже милы стали старые гольфы —
В них он её больше жизни любил.

* * *

Сердечен был грозы размах.
Прохожие играли в прятки.
Промокли на балконе тряпки
И ливень клокотал впотьмах.

Насквозь, казалось, протыкал
Он стёкла кухни. Бил как профи.
И даже тушевался кофе
На поворотах кадыка.

Под толщею ночных глубин
Закрыло нас в квартире лето.
И крем вишнёвого рулета
Мерцал не хуже, чем рубин.

Что целый мир в грозе погряз,—
Для нас неожиданная услуга.
Ведь мы делили этот угол
В последний раз, как в первый раз.



* * *

Берёза шупает рассвет,
Как будто встреча их впервые
Произошла, и дождевые
Он сбросил облака. Раздет

На весь простор, стоит красив.
Она же вся, дрожа, двоится.
Что в голове её творится?
А ну, попробуй-ка, спроси.

Его мужскую наготу,
Вдруг оттолкнёт... и пожалеет.
Скрипит, печалится, желтеет.
И стыдно, и неумоготу.

* * *

Нет ни выси, ни глубин,
Плоско, не причудливо,
Но становится другим
Химсостав предчувствия.

Та же лампа, тот же свет,
Тень от штор приборями,
Но читаешь текст газет
Скрытых под обоями.

Жизнь до родинки видна,
Близкая, коварная,
Словно голая жена
Проскользнула в ванную.

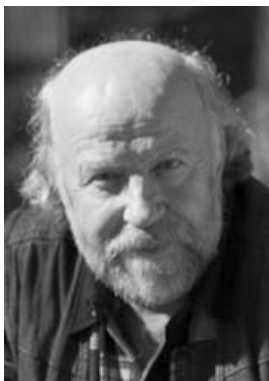
И слетаются, легки,
Прекратив верчение,
Звёзды, будто мотыльки,
На твоё свечение.

* * *

До осени, не позванный никем,
Скучал один, а говорили, где-то
Маслята выросли на грибнике —
Такое праздничное было лето.

А я по телеку смотрел балет.
Реке предпочитал течение чтенья.
А весь наш двор весёлым заболел:
Как побывал в опасном приключенье.

С моей любимой бежали в кино
Друзья, а я выдумывал проекты...
Лишь по ночам я брал топор и нож...
Но стоит ли рассказывать про это.



ЛЕВИТАН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1945 году. Поэт, в разные годы публиковался в ленинградских «Днях поэзии», московском альманахе «Поэзия», журналах «Звезда», «Нева», «Юность» и др. Член Союза писателей С.-Петербурга и Союза российских писателей. Автор трех книг: «Возвращение» (1982), «Взгляд» (1989), «Дорожное эхо» (2016).

Олег ЛЕВИТАН

ГОСТЬ

Гость смотрел на нас с лёгкой улыбкой,
и, гранёную рюмочку в рот
опрокинув, закусывал рыбкой
и смешной вспоминал анекдот.

Но чего я никак не забуду —
как он вдруг за столом заявил,
что всю жизнь свою — всем и повсюду! —
только правду всегда говорил!

Он — военный моряк, но в отставке.
И — торговый, но тоже в былом.
Он сказал это — так, для затравки,
чтобы спор поддержать за столом.

Видно, мнилось ему, как ребёнку,
что застольные эти умы
закивают согласно вдогонку —
мол, и мы только правду, и мы!

Не лгуны же мы здесь, в самом деле?
В самом деле, едва ли лгуны...
Но одни — прежде выпить хотели,
а другим и солгать — хоть бы хны.

А всего интереснее — третьи,
что на рюмочку молча глядят,
потому что давно уж не дети...
И давно уже лгать не хотят.

* * *

Ребёнок любит мать, и льнёт, и обнимает.
И что она в отце нашла — не понимает.
То занят я, то зол, то дома я, то нет...
О, маменькин сынок, трех с половиной лет!

Останусь в няньках с ним — такой чудесный мальчик! —
то чинит грузовик, то в книжку тычет пальчик...
А если и вздохнёт невольно от тоски,
то — сдержанно, слегка, достойно, по-мужски.



Но стоит зазвучать шагам её за дверью,
уж тут у нас конец согласью и доверью, —
бежит, не чуя ног, навстречу ей сынок!
Он так несчастлив был, он так был одинок...

Он даже и во сне не может без оглядки,
и голос подаёт, тревожный, из кровати,
(уж что ему во сне привиделось, бог весть):
— Ты, мама, где, ты тут? — и в ожиданье весь.

— Я так тебя люблю... — бормочет виновато.
И я шепчу во тьму: — Ну а меня, меня-то? —
А он чуть помолчит, подумает, потом
ответит: — И тебя... —

Спасибо и на том.

ДОЖДЬ НА ЛИТЕЙНОМ ПРОСПЕКТЕ

Ирина проснулась и встала. Зазвякала штора,
являя рассветный, раскисший от влаги Литейный, —
дом в памятных досках напротив, огни светофора
и взгляд человека из окон квартиры музейной.

Он был нездоров (кутал горло), он был старомоден,
похож на кого-то, с унылой бородкою клином...
В таком, так сказать, петербургском (вот именно) роде...
«Наверно, сотрудник музея», — решила Ирина.

И вдруг она вновь ощутила сердечную жалость —
желанье помочь человеку, которому худо.
Ей ночью приснилась тоска и, приснившись, осталась.
Теперь она знала — о чём та тоска и откуда.

Сквозь дождик глухой, морозящий давно и уныло,
хоть в форточку крикни, да там не услышат ни звука,
и это мучением было, на сердце давило...
«О боже, — Ирина подумала, — что там за мука?»

«Действительно, мука, — вздохнул Николай Алексеич, —
долги, корректура, цензура с охранкой в комплоте...
И мыслей тщета — и ничем их не сбить, не рассеять,
печальных, как барышня эта в окошке напротив...»

«Небось, нигилистка, — подумал, — а время лихое,
вот мы в нём обвыклись, а ей комом в горле, быть может...»
Он даже кивнул ей, махнул ей легонько рукою.
Ирина заметила это, кивнув ему тоже...

А дождик всё лил — незатейлив, и мелок, и робок,
сбивался, частил, забывал, что с которого края, —
два времени разных приблизив, поставив бок о бок...
Лишь в городе нашем бывает погода такая!

На кухне соседи вели коммунальную свару.
Ирина очнулась, на службу скорей побежала.
И мокрый троллейбус, кряхтя, подкатил к тротуару...
А в доме напротив — Панаева в дверь постучала.

Вскричала: «Ах, Коля, вон там — у подъезда — крестьяне!»
Потом Николай Алексеич, увлёкшись сюжетом,
брался за перо, и бросал, и лежал на диване...
Ирина под вечер со мной говорила об этом.

И всё, что в тот день — тут и там — не в пример суесловью,
рассказано было, а также написано было —
подсказано жалостью было, а жалость — любовью,
той самой, что всех нас однажды в людей превратила.

В МЕТРО

На Удельной ты сядешь в метро
и — под рокот соседней беседы
задремав, — полетишь как ядро
в направлении «Парка Победы».

А напротив — девчоночий лик,
то ли едет она, то ли снится.
Ты на «Невском» очнёшься на миг,
а на месте девчонки — девица.

Та в веснушках была и юна.
Эта в блеске косметики броской.
А на «Фрунзенской» глянешь из сна —
едет женщина с полной авоськой...

Двери хлопнут, проедут огни,
сквознячок пробежится по коже —
и подумаешь вдруг, что они
друг на друга — все трое — похожи.

И привидится вдруг в твоём сне,
что вот так, если вдуматься здраво,
и мелькает вся жизнь — как в окне
струны кабелей слева направо.

Что, пока ты в дремоте витал,
жизнь свою продремал ты, беспечный,
и скрежещет колёсный металл —
на краю остановки конечной!

Тут ты вздрогнешь, мотнёшь головой,
и ресницы раздвинешь — и точно,
вон старуха сидит пред тобой,
всё в морщинах лицо и отечно...

А уж больше и нет никого.
Знать, и впрямь — окончанье маршрута.
И в стекло на себя самого
страшновато взглянуть почему-то...



ЛЕГЕЗА ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1966 году в Ленинграде. Поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, один из основателей и редактор лито ПИИТЕР», организатор Международного литературного фестиваля «Петербургские мосты». Закончил медицинский институт, работал врачом. Автор сборников «Башмачник» (2006), «Кошка на подоконнике» (2010), «Картины изменчивого мира» (2017). Печатался в журналах «Знамя», «Аврора», «Северная Аврора», «Зинзивер», «Бельские просторы», «Сибирские огни», «Интерпоэзия» (США), «Новый берег» (Дания), «Arquitrave» (Колумбия), «Шо» (Украина), «L'immaginazione» (Италия), «Mange Monde» (revue de création poétique, Франция) и др. Стихи переводились на английский, польский, французский, испанский, итальянский, арабский языки. Лауреат конкурса им. Хармса (2013).

Дмитрий ЛЕГЕЗА

* * *

У нас погибла водомерка,
Теперь вода неизмерима,
Она бушующим потоком
Смывает наши города.

Мы не построили ковчегов,
Нас просто не предупредили
Ни замечательный синоптик,
Ни восхитительный пророк.

Теперь спасаемся, как можем,
И счастливы владельцы лодок,
Всем остальным достались брёвна:
Ментам, чиновникам, бомжам.

Мы зажигали фейерверки,
Мы зарабатывали деньги,
Квартиры брали в ипотеку
Подолгу делали ремонт.

Мы как-то вышли на прогулку,
И там был вроде пруд пожарный.
Вдруг кто-то смотрит: водомерка.
И бросил камень. И попал.

БЕЛОРУССКОЕ

Что такое дорога в лесу?
Безмятежности тяжесть большая.
Я иду и конфетку грызу,
Кое-как тишину заглушая.

А у вас, говорят, замело
Петербурга дворы и болота,
А ещё агитируют зло,
А ещё отравили кого-то.

А ещё опустела казна,
Император кричит на бездарных
Исполнителей. Здесь же сосна

И какой-то колючий кустарник
И далёкий серебряный звук,
Будто звон колокольный с Коложи.
Жаль, дорога кончается вдруг,
И конфета кончается тоже.

ИЗГНАННЫЕ

Послышался голос: «А знает ли кто твои стихи
Наизусть? И те, кто знает,
Уцелеют ли они?» — «Это забытые, —
Тихо сказал Данте, —
Уничтожили не только их тела,
их творения — также».
Смех оборвался. Никто не смел даже переглянуться.
Пришелец поблел.

Б. Брехт. «Посещение изгнанных поэтов»; пер. Б. Слуцкого

Хотел придумать рай для поэта — и вот тебе на:
Ни пиров Валгаллы, ни сочных гурий Джанната.
Только ранняя осень и домик над озером, и луна,
Кисточки, тушь, бумага — большего и не надо.

Наблюдать за дорожкой лунной, слушать шорохи камыша,
Рыбы тихий плеск да птичий крик над водой,
Так сидит поэт и кисточкой, не спеша,
Он выводит строки — одна прекрасней другой.

И приходят друзья — Вергилий, Овидий, Дант,
Пьют вино, головами кивая, — ты гений, блин!
А потом я внезапно взял и придумал ад —
То же озеро, кисточки, строки... но ты один.

HASTA SIEMPRE

В городе Санта Клара
На Авеню де лос Десфилес
Есть тайная лаборатория,
О которой не знало даже руководство страны.

Никто, кроме Фиделя,
Никто, кроме Рауля
И ещё двух-трёх товарищей
Не знали, что в городе Санта Клара
Глубоко-глубоко в бункере,
Там, где хранятся руки
Убитого команданте
Лучшие учёные мира —
Генетики и врачи —
Совершили великое чудо.
Им много платили за время,
Но гораздо больше за молчание.

Ради них, ненасытных учёных,
Тысячи крепких мужчин
Добывали коричневый сахар,
Сотни горячих женщин
Трудились на Варадеро.



И лучшие учёные мира —
Генетики и врачи —
Совершили великое чудо:
Viva la Revolucion!

.....

Hasta la victoria siempre, hasta...
Всё тот же чёрный берет,
Та же проклятая астма
(Ничто её не берёт).

Снова в зубах сигара...
— О великое чудо!
Амиго, мы ждём сигнала,
Мы ждём приказа, барбудо!

Мы — твоя гвардия личная,
Мы — двадцать девять верных
Эрнесто Рафаэля Гевары Линча
И далее де ла Серны.

...

— Я с вами, мои камрады,
Романтики революции,
Никто нам теперь не важен,
Ни *patria*, ни *muerte*
Нам дела нет до Фиделя,
Раулю до нас нет дела,
Есть лишь огонь революции,
Пламя любой революции!

И нет иного сигнала,
Чем первый случайный выстрел,
И нет иного приказа,
Кроме приказа «огонь!»

Так вейся, бандера росса,
А также *otra bandera*,
Мы — прошлой жизни отбросы,
Мы — кости из Ла Игера.

Мы будем менять нашивки,
Бежать и стрелять куда-то,
Вчера боец по ошибке
Назвал меня «комайданте».

И нету над нами власти,
И нету за нами Кубы...
Вот только болят запястья.
Запястья болят. К чему бы.

СЛУЧАЙ

«На войне случается всякое.
Так однажды сержанту Николаю снарядом
Оторвало правую руку, правую ногу
И полголовы разворотило (конечно же, справа)».

Лежит сержант Николай и сквозь шок болевой
Думает развороченной головой:
— Был я человеком, а стал половиной,

Кровь моя перемешана с глиной,
Вот я умер наполовину, сейчас умру целиком,
Стану облаком белым, ах, скорей бы стать облаком... —
И не видит сержант Николай, превращаясь в ничто и дым,
Как белые санитары идут за ним.

А за линией фронта — поле, на поле минном
Рядовой лежит — он тоже стал половинным,
Усечённым слева кусками кусачей стали,
И зовут его Николаем. Точнее, звали,
Потому что душа Николая, та, что цела,
Потихоньку уходит, то есть почти ушла.
И сейчас Николай превратится в ничто и дым...
Но приходят два санитары за рядовым.

.....

«Доктор Франк доволен. Группы крови совпали.
По всем параметрам эти двое подходят друг другу.
— „Идеальная пара“, — шутит доктор Франк.
С хорошим настроением он идет в операционную».

.....

Человек на кровати, вокруг провода, по которым
Уходят сигналы от датчиков к мониторам.
Человек подключён к аппарату, но сам уже сделал вдох.
Доктор Франк, вы — бог!

.....

Я не помню себя, не помню, кто я такой,
Я могу дышать, а вчера шевельнул рукой.
Медсестра говорит, что я иду на поправку,
И за это всё спасибо доктору Франку.

О, спасибо ему, спасибо, что я живу,
И что линия фронта теперь проходит по шву.
Слева прячется враг и справа прячется враг.
Ты родил чудовище, доктор Франк.

— Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй,
Ты зачем пошёл гулять,
Из винтовочки стрелять.



ЛЕЙКИН ВЯЧЕСЛАВ АБРАМОВИЧ родился в Ленинграде в 1937 году; с 1945 года живёт в Царском Селе (г. Пушкин). Учился в Педагогическом институте им. А. И. Герцена на факультете математики, а также в Горном институте на вечернем. С 1960 по 1972 год работал в геологической экспедиции от ВНИГРИ (Нефтяной институт), в основном в Заполярье (Ямал, Таймыр, устье Оби). С 1972 по 1991 год работал в детской газете «Ленинские искры» литконсультантом, руководил поэтическим кружком при газете, а также студенческим театром «Подорожник» при Железнодорожном институте, там же вёл литературное объединение. Автор книг стихотворений «Одинокый близнец», «Действующие лица», «Образы и подобия», «Сто и одна», «Герой эпизода» и др., книги прозы «Нет счастья в жизни», книг для детей «Шумный сон», «Привет от носорога», «Всегда по четвергам».

Вячеслав ЛЕЙКИН

* * *

Я с утра полетал — оказалось, во сне.
Сосчитал капитал — оказалось вполне.
И пошёл кувырком по своим и чужим,
Заедая сырком, сокрушая режим.

Где округу ларьки обложили стеной,
Я следил, как хорьки не стоят за ценой;
Думал, крыша сползла, когда палился на
Опущенье козла и полёт кабана.

На свету оголял, оправлял на ветру.
Хорошо я гулял, по душе, по нутру,
Где ни вставляю запал, там бикфордом строка.
Тут и вечер упал, как штаны с дурака.

Вот и кончен разгул, где я был молодой.
Только угли раздул, как пора за водой.
В голове дребезжит, плесневеют слова;
То ли время бежит, то ли жизнь такова.

То ли жизнь такова — соловеем чело;
Засучил рукава — и забыл для чего,
Насклонял, наспрягал — ни душе, ни уму,
Настрогал мадригал — непонятно кому.

Каждой шкуре — поклон, каждой твари — виват.
Впрочем, где эталон? Да и кто виноват?
Так, себя изозлив, выправляешь следы,
А в окне чернослив: ни единой звезды.

ВАРИАЦИИ НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ

Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин.

А. С. Пушкин

Снова жизнь перестаралась в оказании услуг.
От избытка впечатлений так и тянет постареть.
Заглушая птицу кашлем, обрекая луг на плут,
Загружая пустяками недопрожитую треть.

Но не стоит обольщаться, — затаись и последи.
Результаты не замедлят, будешь выжат либо вжат:
Ангел слева, ангел справа, свято место посреди,
Просто некуда деваться, нет же, вот они — кружат.

С недоразвитой душою за незакланнм тельцом
Довыплясывался, братец; подступили чередой:
Этот с черепом угольным, тот со складчатым лицом,
Кто по-грачи носоротый, кто с бизоньей бородой.

Тут держал один из многих небольшое интервью,
Как он сямо и овамо на решительной ноге,
Как он лиру приторочил к огнестрельному цевью,
Как он вывел из забвенья Чернышевского Н. Г.

Как он любит ранним утром по пороше, по росе,
Типа странною любовью, перегноем в борозде.
А другой из тех же самых на газетной полосе
То ли молится вприсядку, то ли пляшет по нужде.

Чревочёсы, мракомесы, поедатели белил,
Горбуны, строфокамилы, струг с персидского княжной...
Будь я проклят, если с вами хоть когда-нибудь делил
Это лето, это небо, этот жребий раздвижной.

* * *

Ты — герой эпизода, фигура второго плана:
Грация скакуна, раскованность лейб-улана.
Восемь минут всего-то, но как это зло и густо,
А рядом первый любовник, слегка перебравший дуста.

Ты — герой эпизода. Кстати, весьма сырого.
Интрига пока размыта, но смотрят уже сурово.
Тыходишь с дамой на сворке, и сразу взбухает ссора,
И рядом первый любовник с лицом плохого танцора.

Восемь минут — и пьеса живёт, обретает соки.
Ты даму спустил со сворки, и прочие дамы в шоке.
Ах, кто это там, за кадром, их топчет, как вольный кочет,
Покуда первый любовник второго угрохать хочет.

А помнишь, какие роли? Не отодрать личины.
Какие расклады — помнишь? Какой перебор дичины.
И ты на плаву, на гребне, на полном скаку, на взводе.
Не помнишь. Ты не был первым. Ты был всегда в эпизоде.

* * *

Этот мир Иеронимус Босх сочинил,
Своенравный чудаК Иероним.
То есть так живописно его очернил, —
Не понять, что храним, что хороним.

Зверожабы, жуки, павианий балет,
Получешуевшая птица.
Чтоб такое узреть за полтысячи лет
До того, как оно воплотится.

Чтоб вогнать в каталог изощрения зла,
Чтоб смешать в обоюдозаглоте
Похотливую помесь кота и козла
И гибрид механизма и плоти.



Вот они, заводных городов посреди,
Оголтелы, навязчивы, хватки.
Отличи их от прочих, в упор проследи
Эти выходы, это повадки...

Как сползти удалось им, покинуть холсты,
Разопсеть на бензине и дёгте,
Не задёрнув клыки, не распутав хвосты,
Не вобрав ядовитые когти.

* * *

Мгновение назад ты был ретив и ловок,
Но основной мотив ушёл в подзаголовок,
Остался сущий вздор, отхожие слова.
Едва ты с Князем тьмы не подписал контракта,
Как тут же началось: одышка, катаракта
И дребезга полна пустая голова.

Отсунешься назад: там дебри непролазны
Наткали-наплели убогие соблазны,
И память, что твой лещ, снуёт промеж ячей.
Морёный, словно дуб для мебельных поделок,
Необъяснимо зол, неразлично мелок, —
И как бы сам не свой, и вроде бы ничей.

И вот, ссутулив торс, как сонная ворона,
Ты ждёшь на берегу парома ли, Харона,
И сладковатый смрад исходит от реки.
А тот, кто уверял, что жизнь всему научит,
Забившись сам в себя, сырые зенки пучит
И медленно молчит, рассудку вопреки.

БЛЮЗ

Один чужак к сорока годам
Решил, что всему конец.
Он понял вдруг к сорока годам,
Что полный всему конец.
И тут же, спугнув с постели мадам,
Явился к нему гонец.

«Ты прав, старина, — он сказал чужаку, —
Плохи твои дела».
Трубу расчехлив, он сказал чужаку:
«Исчезнешь — и все дела.
Мужское ли дело считать ку-ку
И тупо грызть удила».

«Ты слишком был верен своей судьбе,
А она что ни день дурит.
И смерть — не судьба, а прокол в судьбе,
Когда она, тварь, дурит.
Как если бы на голову тебе
Рухнул метеорит».

«Так стоит ли ждать, играть в поддавки, —
Сказал чужаку гонец, —
Ведь сколь ты ни целься, всё — поддавки
И жмурки, — сказал гонец, —
И ежели яд тебе не с руки,
То вполне подойдёт свинец».

«Ты слишком часто платил по счетам
И слишком терпел скотов.
Так вот, — чем платить по чужим счетам,
Чем быть своим у скотов,
Откупорил перстень, — и ты уже там,
Плюмбум — и ты готов».

«Глаза затекли и дырка в боку —
И ты перестал грустить.
Вчера ещё спал на этом боку, —
Шарах! — и нечем грустить.
Ну, бывай, — сказал гонец чудаку, —
Мне троих ещё навестить».

И вдруг он завял, и крыльями вдруг
Поник, что твой марабу.
И пошёл, спотыкаясь о землю вдруг,
Сутулый, как марабу.
А Господь незримо стоял вокруг,
Ладони прижав ко лбу.

ПОСВЯЩАЕТСЯ МУЗЕ

Когда ты незримо паришь надо мной, моя дорогая,
Сгустки холодного пламени вот именно изрыгая,
Скорее всего, единственная в своем сокровенном роде,
Наперекор порядку, жизни, самой природе,
Когда невпопад порхаешь, роняя свои — теперь я
Отчетливо понимаю, что все-таки это перья —
Когда, не имея случая сжечь себя на костре, ты
Бьешься почти в истерике о стекла, шкафы, портреты,
Когда ты взрываешь свечкою, чтоб тут же уйти в пике,
И вдруг замираешь жалобно в неведомом тупике,
Я вдруг понимаю, чувствую, что время мое — вода,
Текущая в разные стороны, но чаще всего туда,
Где вспять отследив небывшее, едва ли оставишь след,
А просто закроешь форточку, погасишь на кухне свет,
Свою, как чужую, голову обхватишь со всех сторон,
Вспугнешь напоследок зеркало и медленно выйдешь вон.



ЛЕЛИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА родилась в 1957 году в Ленинграде. Поэт, эссеист, член Союза писателей С.-Петербурга и Союза российских писателей. Окончила архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. Автор поэтических книг «Ленинградские острова» (1990), «Над судьбой» (1993), «Овал» (1997), «В трёх зеркалах» (2000), книги стихов и прозы «Записки на петербургской лестнице» (2005), книг эссеистической прозы «В пространстве Петербурга» (1997) и «Мой Петербург» (1998, 1999, 2005). Стихи и эссе публиковались во многих отечественных и зарубежных изданиях. В настоящее время работает над книгой «Дымы над городом» о настоящем и прошлом промышленного Петербурга.

Валентина ЛЕЛИНА

* * *

Как будто вещь пропавшая нашлась...
А мы уже привыкли, не искали.
И, может быть, поймём теперь едва ли,
Какая в том таинственная связь.

И вспомним не однажды этот дом,
Шинель в углу, вчерашние газеты,
Оставленную флейту, метроном
И быта довоенного приметы.

Нас Новый год настигнет на бегу
По набережной вдоль оград и арок,
И будет петербургский двор в подарок,
Палаццо итальянское в снегу.

Затопим печь, накинь пока шинель.
Я книгу отложу, свечу задую,
Смотри, как снег ложится на постель,
И ангел дует в трубку золотую.

Вся наша жизнь с тобой — одна строка,
А как хотелось бы стихотворенье...
Окно во двор, зима — всего мгновенье,
А дальше — ожиданье на века.

* * *

Среди шедевров Эрмитажа,
Не ошибусь, коль назову,
Конечно, лучшие пейзажи —
Большие окна не Неву.

И смотрит нимфа с пьедестала,
Молчит, обиду затая
На то, что в этих пышных залах
У окон застываю я.

* * *

Как осенью стремится время вспять
и не хватает отклика живого...
Ну разве с полки томик взять Толстого,
о капитане Тушине читать.

Чем старше я, тем тоньше и мудрей
герой мой нынешний, — печальней и дороже...
И ни Наташа, и ни князь Андрей,
и ни любовь их — больше не тревожит.

Но эта ночь осенняя, лафет
разбитой пушки, маленький, тщедушный,
уставший человек на сотни лет,
на всё грядущее России — вечный Тушин.

* * *

Мы проходим сквозь Павловский парк с тайной мыслью всегда
его сумрак, его бесконечность отметить любовью.
И купаньем в Славянке, чья нынче застыла вода
под зелёною ряскою, как под накидкою вдовей.
Проскакали кентавры, смеясь и ликуя... Чему
веселились они в этом мрачном, таинственном парке?
Начинается осень. И то не сказать никому,
что она затаила, какие готовит подарки.
В синем платье с французским, торжественным воротником
в Храме Дружбы малышка считает шаги и колонны...
Проскакали кентавры. За ними, скорее, бегом,
вся охрана, все службы! В опасности трон и корона!
Вот и вся наша сказка немецкая — Павловск.

Легко

и торжественно листья в Славянку слетают...
Ничего не вернуть. И не будет уже никого.
Только ветер за нами пустые страницы листает.

* * *

Всё медленней день, всё темней,
и всё ощутимей прохлада...
В пространстве Никольского сада
становится больше теней.

Становится больше тревог,
поскольку с осенним ненастьем
рифмуется легче несчастье,
и смерть переходит порог.

Мир канет в осеннюю тьму,
стволы — как суда на приколе,
вечерняя служба в Николе —
прощанье, прощенье всему.

И только любовь, вопреки
печальному вздоху распада,
всё ходит дорожками сада
и кормит синичку с руки.

* * *

Когда с Невы сошёл последний лёд, —
светлело за окном, в душе светлело, —
Мы поднялись над жизнью ночью белой,
мы ничего не знали наперёд.



Но прошлое ступало по пятам,
и ночь, совсем прозрачная весною,
вся истончилась к августу, и там
вдруг превратилась в озеро лесное.

Мы на него наткнулись в октябре —
клён догорал, и ржавая осина
роняла в воду листья, в серебре
застывших слёз дрожала паутина...

Осеннее купание под стать
любви — так обжигаяще тревожно
в опавших листьях плыть, и невозможно
ни утонуть и ни до дна достать...

* * *

Там, в поезде, уже была Москва.
Там рисовали на окне вагона
Последние приветы и слова,
И номера московских телефонов.

Ещё ложился ленинградский снег
На форменную куртку проводницы,
А в окнах поезда не просто свет
Горел, а плавились огни столицы.

Я оставалась, я издалека,
Из уходящей в прошлый год недели
Рукой махала, и вокзал слегка
Дрожал от разгулявшейся метели.

Она мела все девять дней подряд,
И девять дней до этого вокзала
Я москвичам дарила Ленинград
И приучалась слыть провинциалом.

И терпеливо слушала о том,
Что город потерял своё величье,
Стал тих, заброшен, и уже с трудом
Размах и блеск заметишь здесь столичный

Так, кое-где, и то едва-едва...
И вот теперь, из этого вагона
Мне в окна барабанила Москва,
И таял иней от её ладоней.

А за спиной, торжественен и хмур,
Обёрнутый полотнищем фасадов,
Лежал провинциальный Петербург
И обдавал своим холодным взглядом.

И вздрогнул поезд. И в глазах испуг,
И просьба — срочно выйти из вагона
Всем провожающим. И вышел Петербург,
И навсегда остался на перроне.

* * *

Всё тот же неба цвет, и непогода
всегда присутствует, и время года
неясно. И уже не снятся мне

ни в изумрудных зарослях дорога,
ни аист, циркулем стоявший у порога,
и ни дыханье дюны в вышине.

Всё там осталось в шуме волн и в пене,
и в гроздьях отцветающей сирени,
и лебеди летели поутру,
как рыбаков, пропавших в море, души...
О чём-то аист думал, что-то слушал.
Я там была. Я думала, умру.

Все корабли уснули у причала,
по рельсам электричка отстучала,
и как зима, душа моя бела.
И только ангел всё меня тревожит
своим крылом невидимым, и тоже
мне шепчет, что я там была, была...

* * *

Переменился ветер. И опять
Всё понеслось, подхваченное ветром
Уже другим. Велюром или фетром
Обёрнутые головы узнать
Едва ли можно. Ведь ещё вчера
Другие были формы и мотивы
В одежде и движениях — от залива
Дул сильный ветер. Нынче же с утра
Всё хлынуло обратно. Лицедейство
По ветру распустило рукава.
Но с прежней скоростью течёт Нева.
И неподвижен шпиль Адмиралтейства.

* * *

Kommst nimmermehr aus diesem Wald!

Joseph von Eichendorff

Ты из этого леса не выйдешь уже никогда...
Подожди у окна, посмотри, как деревья тревожны.
Что там? — ветер с залива, ненастье, большая вода...
В этом городе странном бессмысленно и невозможно
жить согласно с природой. Она и больна, и бедна,
переменчива — то раздражительна, то вдруг пуглива.
Но из этого леса дорога назад не видна,
ты теперь обречён возвращаться на берег залива
через мусор, канавы, обломки, заваленный плёс,
через лилии нежные, папоротник и левкой —
и сквозь каменный город проступит таинственный лес,
из которого выхода нету, и нет в нем покоя.
Проходя по проспектам, по набережным и мостам,
не оглядываясь в ожиданье цветов и дубравы, —
лес нахлынет внезапно и к окнам приникнет, и сам
твою душу возьмёт и в зелёную вложит оправу.
И когда ты однажды со страхом заметишь, что лес
облетает и гибнет, деревья от холода стынут, —
не беги.

Ты очнёшься, и станут стволы до небес
возвышаться, качаться и больше тебя не покинут.



ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ родился в 1970 году в Ленинграде. Поэт, автор книг стихов «Времена года» (1993), «Цикада» (1996), «Сад бабочек» (1998), «Зрение» (Волгоград, 1999), «Окраина» (Харьков, 2006), «Заговор» (СПб., 2006), «Пределы» (СПб., 2017) и книги эссе «Секреты Полишинеля» (2007). Переводил Э. Эйберс, В. Вордсворта, Р.-М. Рильке, А. Рембо, Д. Уолкотта, А. Загаевского, С. Михалича и др. Участник Пушкинского конгресса поэтов в Петербурге (1999) и Роттердамского Международного фестиваля поэзии (1999). Лауреат премии журнала «Звезда» (2003) и харьковской премии «Двуречье» (2007).

Александр ЛЕОНТЬЕВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

Exegi monumentum...

Horatius

На рынке продают надгробную плиту
С есенинским портретом,
Но может занять любой вещицу ту,
Не будучи поэтом.

И мы с тобой в толпе с пакетами снуём,
Как все — однообразно,
На «чёрный уголок», сдаваемый внаём,
Поглядывая праздно.

Рекламный образец по-своему неплох:
Два вечные предмета
Соединились тут. В одном из них подвох.
В каком — не дам ответа.

Поэзия и смерть. Стоящий за ценой
Торгуется с конторой:
Брать оптом или так, со скидкой, без одной, —
Вот только без которой?

Я б тоже заказал такое что-нибудь:
Виньетка и цитата, —
И перегородил последний этот путь —
Вы те ещё ребята.

С Державина б начать, чтоб мрамор и гранит,
Гипсокартон и глина
Явили дамбу там, где свой поток струит
Реки его стремнина.

Пожалуй, так нигде поэзию не чтут,
Ребята, как в отчизне:
Нам лучший монумент отгрохают лишь тут.
Хотя и после жизни.

Пусть робкая листва колышется легко,
Пока мы закупаем
По списку — скажем, хлеб, картошку, молоко, —
Разнеженные маем.

Но я на ту плиту взгляну ещё не раз
На рынке днём весенним...
Пускай переживёт из всех поэтов нас
Хотя бы, блин, Есенин.

ПЕТРОВ ВАЛ

Дмитрию Бураго

Вот оно, мнимоплывущее мимо:
Бабочек, жёлтых газет пантомима,
Хоть в Петров Вале, на пыльной платформе,
С бабой в оранжевой униформе,
Парой солдат, попивающих пиво,
Клумбой цветочною — вот оно, живо!

Вот они едут потом в электричке,
Парни, да будут вам новые лычки,
Баба останется, с дочкой, без мужа
Или с торчащим на клее, что хуже,
В драке потом изувеченным сыном:
Ну и кого от кого же спасти нам?

Едем и едем — погосты, заводы,
Рынки, а это всё лучшие годы,
Тюрьмы, больницы и морги помимо
Счастья, которое непоправимо,
Бабочек, глазок анютиных, глазок
Нюточек, Нюсек из детских колясок.

Вот они смотрят оттуда глазами,
Им говорят: нет, вы сами, вы сами!
Членораздельно, агукать не надо,
Сами дойдёте до детского сада,
Школы своей, ПТУ, института, —
Вот потому-то, твердят, потому-то.

А почему? Все разводят руками,
Папа направит с вопросами к маме,
Бабушка в церковь сведёт, если честно,
Ну а науке вообще не известно —
Ни про обходчицу из Петров Вала,
Ни про служивых, которым давала.

ВЫРИЦА

А. С. Кушнеру

Каждый парус намокший размотан —
Вот удача для дачных регат!
Многомачтовый ельник... и вот он,
Перепончатокрылый фрегат.
В зафрахтованной летней скворешне
Ослепительный дождь переждём,
Пусть недвижим кораблик наш внешне —
За туманом и этим дождём.

Будет призрачной он невидимкой
Для незрячих, не зрящих его.
Вся веранда окутана дымкой
Сизой хвои. Хвощей вещество.



Не ветрами кораблик сквозными —
Только лапами елей гоним.
Шевелится ли хаос под ними?
Шевелится. Под ними, под ним.

Не морской, но укроется ёж в ней —
В кроткой буре, заплыв за пеньки.
Разве снасти дождя ненадёжней
Одиссеевой прочной пеньки?
Нас привязывать к стульям не нужно —
Мы пожарной и «скорой» сирен
Понаслушались, чувствуя дружно
Милой палубы гибельный крен.

У распахнутых окон стояли —
Без руля, без ветрил, без кормил,
Где-то струны дрожали в рояле,
Кто-то клавишей стаю кормил.
И, взобравшись на борт к Одиссею,
Через вырицкий дождь и туман
Так и плыли компанией всею...
Через реку времён, Океан.

КАПЕЛЛА МЕДИЧИ

Закрылся от мира плечом,
От собственных черт, от резца ли
— отрадней не знать ни о чём —
Вот День, чьи понятны печали.

А Ночь беспробудная спит.
Но локоть, но угол колена!
В ней дремлют уколы обид?
Тоска, избежавшая тлена?

Покой — и кромешная жуть.
Здесь даже к Младенцу тянуться
Не в силах скорбящая Та,
Что с Новорождённым — Пьета.

И Вечер страшится заснуть,
А Утро не может проснуться.

БИБЛИОТЕКА

С. А. Лурье

Аллея колонн, не дающая тени.
Ведущие к бывшему порту ступени.
Но море на шесть километров ушло —
Чтоб не возникало у шлявшихся праздно
Войти в те же воды пустого соблазна
Умершему здесь Гераклиту назло.

Мы к портику, лучшему в мире, ей-богу,
Подходим, порогу, осилив дорогу...
Но время давно отчеканило: цельсь! —
В стремление каверны из мрамора высечь:
Ни свитков — а было двенадцать их тысяч,
Ни цельного зданья, что выстроил Цельс.

И воздух один поселился навеки
Во внутреннем дворике библиотеки,
В ларце пустотелом. Случайный турист,
Четыре примерно отмерил я метра
Под свист и сипенье асийского ветра —
И был небосвод безучастен и чист.

Вот так и закончится книжная эра.
Фасад монитора, экрана химера —
Затоптаный толпами наш палимпсест.
Не полости каменной, в сущности, жалко:
Пускай пустота! — пустота, а не свалка!
Присутствие неких отсутственных мест!

Мне нравилось это безмолвие, эта
Зыбучесть теней мозаичных и света,
Их пегая шкура на пыльном полу...
Величье? Пожалуй. И — да, благородство.
Всю богооставленность нашу, сиротство
Прочувствуй — и, смертный, воздай им хвалу.

Всё схлынет, как море. Все люди, все свитки.
История — что это? Только убытки.
Но ты ведь, свидетель красы и тщеты,
Гулял тут, курил, поминал Гераклита...
Любой позабыт, но Ничто — не забыто,
Покуда есть каждый, покуда есть ты.

ПРОВИНЦИЯ ИМПЕРИЯ

Огромный мост — и жалкий ручеек.
Ни больше и ни меньше — Арджентина.
Рассчитан на поток, что нынче — ёк.
Безрадостная, доложу, картина.
Хотелось целиком его пройти...
Проковылял две трети — спёкся, жарко.
И видно — ерунда в конце пути:

Там не найти

Ни церкви, ни жилищ, ни просто парка.

Присел и выпил граппы. Таджа, ты
Мне Римский мост сулила — ведь сбылось же!
Что ж берега практически пусты?
Полны ли были прежде? Будут позже?
Кусты да камни. Сбродится ль когда
Во что покрепче муторное сусло?
Иль нет надежд, что горная вода
— вольна, горда —
Заполнит по весне сухое русло?

Вот котлован, а паводков — увы.
Простор, где уместиться можно горю.
Почти не поднимая головы,
Ползёт водичка... Господи, да к морю!
Что ж сразу я туда не поглядел,
Где лишь грядя летучая нависла,
Как виадук... Теряется предел.

О том радел?

Обид же нет! — Но нет стыда и смысла.



ЛИТВИНЦЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА — поэт, член Союза писателей С.-Петербурга. Публиковалась в журналах «Заповедник», «Петербург», «Северная Аврора», «Аврора», «Звезда», «Альманахе поэзии» (Калифорния, 2016). Автор книг стихов «Белый шум» (2008), «Свой туман» (2014). Призёр зрительских симпатий на Международном пушкинском фестивале поэзии (С.-Петербург, 1999). Финалист конкурса им. Д. Хармса «Четвероногая ворона» (2014).

Елена ЛИТВИНЦЕВА

* * *

За одну большую неприятность
Вышло много маленьких везений!
Счастья нету, только вероятность,
Что тебя спасёт твой скромный гений.

Вынесет чутьё в такие сферы,
Где с тобой поступят справедливо,
Под руки возьмут, снесут барьеры
И нальют какого-нибудь пива.

Я уже хочу в такие дали,
Где одни лишь ангелы тверёзы.
Воспарю я — только и видали
Сапоги мои в ветвях берёзы.

А пока сижу в глубокой яме,
Заряжаюсь солнцем и морозом.
Всё, не закреплённое гвоздями,
Всю любовь, что вертится под носом, —

Буду брать лежащее непрочно,
Окрылять ползущее бескрыло,
Возвышать такое, что порочно.
Что найдёшь на свете — то и мило!

* * *

Вот снова август. Нежная печаль.
Так хочется отбросить все заботы.
Ведь лето убегает, лета жаль.
И август ждёт моей прощальной ноты.

Он просит спеть ему полётный гимн
О ласточках маневренных дворовых,
Пока мой летний мир не стал другим,
Не вспомнил о сомнениях нездоровых,

Унылых мыслях, тщетности страстей,
Пока в душе ещё хоть что-то живо,
Пока язык болтает без костей,
А в уличных кафе разносят пиво.

Похоже, я и впрямь сейчас пою
Лишь оттого, что дивная погода,
И ласточки летают в честь мою,
И летний рай не ведает исхода.

* * *

Была б я свободна, за супчик твой овощной
Могла бы отдать всю жизнь свою без остатка.
Не кормят чудные музы меня весной.
Судьба моя эфемерна, походка шатка.

А быть всё могло иначе — и в плюс, и в ноль:
Вкуснятиной упиваться, любовью, страстью.
Лежать в небесах, снимая друг другу боль,
Себя ощущать нежнейшего бога частью.

Мой ласковый, мимолётный, прекрасный ты!
Закрутим тайком амур в смущенье глупом?
Иль хватит того, что в омуты пустоты
Щемящие сны прячут над весенним супом?

* * *

Был сильный дождь. Мы в озере одни
Куда-то плыли голы, бесшабашны.
Хоть высунись наружу, хоть нырни —
Кругом вода. Какие же тут шашни?

На берегу — промокшие дрова,
Нас ожидали мокрые вещички.
Стучали зубы. Бедные слова
С трудом сложились в «д-д-дай мне спички!»

И ты зажгёшь! О, Господи, зажгёшь!
Ведь дерево сыреет только с боку.
Костёр взметнулся, быстрый, как прыжок.
Он вырастал, он возносился к Богу.

Мы голые стояли у огня.
Дождь лил сильнее. И никуда не выйдешь.
Проворковал ты, глядя на меня:
Всё для тебя! Ты чувствуешь?! Ты видишь?!

Немое ах. Стихийных рвений стык.
Затихшая в кустах семейка птичья...
А у огня был собственный язык —
Трещания, мерцания, величья.

* * *

Я хочу тебе рассказать о том,
Как сияют мои снега,
Как простое счастье ловишь ртом,
Как на лыжах идёшь в бега.

Всё плохое где-то лежит вдали,
Всё тяжёлое позади.
Тишина небес, красота земли
Да серебряные дожди,

Да на елях белые облака,
Да на соснах копка чудес.
Под тобою Лета — твоя река.
Берега подпирает лес.



А на самом деле карельский сон —
Не река, а озеро тут.
Старой финской церкви далёкий звон.
Рыбаки по снегу идут.

Эта тайна жизни моя навек —
Забывать про судьбы подвох,
Что калека я посреди калек.
Просто знать, что я — это Бог.

* * *

Переживаешь за героя,
В твоей живущего душе.
А буря, мглою небо кроя,
Устала крыть его уже.

И заиграла, зазвездилась
Глазам доступная страна.
Где б «я» твоё не находилось,
Ему Галактика видна.

Видна и наша, и другая
Белёсым пятнышком вдали.
Огнями хитрыми мигая,
Летят ночные корабли.

А звёзды пьют — вот ковши и кружка —
Восторг души и боль её.
Лишь поутру душа-старушка
Опять возьмётся за своё.

* * *

Видно, Бог мне выдал не много сил,
Хоть и кое-чем одарил.
Чаще чёрт по свету меня носил
И в парадной со мной курил.

А теперь уже невозможный хмель
Всё тусклее и всё нужней.
Ну а чёрт не хочет делить постель
С перезрелой тоской моей.

* * *

Прошедшего времени как бы и нет,
Одни дневниковые сказки.
Входила разлука ко мне в кабинет,
Нетрезвые строила глазки.

Она говорила: «Скорее умри,
Уже ничего не случится!
К чему продолжать от зари до зари
За новой зарёй волочиться?»

Над этим смеялась луна во дворе —
Как сильно был мозг заморочен!
А новое счастье на новой заре
Полезло из всех червоточин.

* * *

Ты говоришь, что Бога нет.
Но кто же сделал нас такими,
что мы, прозрачные на свет,
летаем птичками лихими?!

В кафе над стульями, столом
висим, щебечем и смеёмся,
то друг у друга под крылом
в щемящей нежности сольёмся.

Откуда этот дивный дар?
Кто сбросил с нас земные путы?
Не говори, а пей нектар,
пока цветут твои минуты.

ИЗ ЦИКЛА «ДИБУНЫ»

1

Морозный лес, незримый, мнимый.
Небес не пробуждённый пыл.
Тут каждому, кто рядом был,
Могла я прошептать: «Любимый!»

Или: «Любимая моя!» —
Хоть человек, хоть зверь, хоть птица.
Господь сквозь поры забытья
Проник в мой сон, чтоб в нём сгуститься.

2

Мне больше не к чему стремиться,
Со мною всё произошло.
Мне только стоило решиться
Поехать в ближнее село,
Точней, посёлок под названьем,
Вы догадались, — Дибуну,
И там, сливаясь с мирозданьем,
Напиться снежной белизны.
Зажглись, взрезвились, словно кони,
Частицы светлой ерунды,
Что в нас живут, как дух в иконе,
Оберегая от беды.
Но ерунда такого рода
Есть бесплатный Божий дар.
Горят глаза. Дрожит природа.
Язык огня и звёздный пар
Навек останутся, как видно,
В тебе, как воздух и вода.
Лишь трудоголику обидно,
Что счастье вышло без труда.

ПОЭЗИЯ

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

Алексей МАШЕВСКИЙ

Арсен МИРЗАЕВ

Алла МИХАЛЕВИЧ

Валерий МИШИН

Сергей НИКОЛАЕВ

Наталья ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ

Вадим ПУГАЧ

4

Санкт-Петербург — Россия



ЛИХТЕНФЕЛЬД БОРИС ЕЛИЗАРОВИЧ родился в 1950 году в Ленинграде. Поэт. Публиковался в самиздате (журналы «Часы», «Обводный канал», «Транспонанс»), в журналах «Звезда», «Нева», «Арион», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Слово/Word», «Плавучий мост», «Семь искусств», в венском славистическом альманахе «Гумилевские чтения» (1982), в антологиях «Лучшие стихи 2010 года», «Лучшие стихи 2012 года». Автор книг «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (сер. «Поэтическая лестница», 2000), «Метазой» (2011), «Одно и то же» (2017).

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

* * *

Небо уходит из-над головы
Всепоглощающее увы
жизнь обесценивает без кавы-
чек предъявляя к оплате
Сбросив заботы побочные с плеч
тянется ввысь неспрямимая речь
обращена в никуда бесконеч-
на полувнятном закате

Что ни захватит сведёт к одному
то есть с ума истерзает изму-
чает что суть а окажется му-
тьмою протяжно мычащей
Но и во тьме не смыкает уста
гонит и гонит словесное ста-
до глухома — никогда не уста-
нет ни просвета за чащей

Век промелькнёт невидимкою-век-
шей не щадивший фальшивейший век-
сельской дорогой меняющей век-
торными тропами в хвое
Небо затягивает как боло-
то и другое замкнут моноло-
где остановится на полусло-
веретено мировое

КОНЕЦ ЮДОЦЕНТРИЗМА

Похоже, соль земли уже не солона...
Смените болевой регистр, умерьте
амбиции: всё глуше соло на
иерихонском инструменте!

Всё переменится — звенит в тиши дзин-дзин
тибетский колокольчик, и от моря
до моря завывает муэдзин,
приливам и отливам вторя.

Магической души отколотый кристалл
отныне костоломку на татами
пусть преломляет, пусть концы креста
загнёт и вертит под тамтамы!



Аффразия и без несякнущей мошны
своё алмазно-золотое время
в рост пустит: ей подачи не нужны
постевропейского еврея.

Вернём же ей долгов несметных бумеранг
с процентом — те цифири на бумаге,
что в бум преобразились, в Sturm und Drang...
Вновь будем немощны и наги.

Остынет жертвенник — неужто каменеть,
оглядываясь на святые камни?
Там, где клокочет под песками нефть,
порхать неужто мотыльками?

Другой эон нас без остатка растворит,
и явится языкам бог Зиянье,
и некий новый будет фаворит
обучен хватке обезьянней.

На сцену выведет он лунного слона,
впряжёт его в чужую мутотему —
и понесёт, растя свой смысл, она
дань инородному тотему.

Столкнётся будущее с прошлым — взрыв и крах
бесстрашно за кулисами обсудим
и, роль благоразумно проиграв,
значение обретём в абсурде.

И вновь подыщет поражённый интеллект
зиянью трансцендентному синоним,
чтоб изъяснилось из руин тех лет,
коль славен наш Господь в Сионе.

ПАСТОРАЛЬ

Эротический танец стрекоз голубых:
изогнувшись, прижались друг к дружке, как две запятых.
«Мир прекрасен!» — кавычки повисли,
выводя на прямую, рождённую музыкой, речь
или, чтобы от ложного пафоса предостеречь,
намекая: да нет, не в прямом, разумеется, смысле.

Здесь, под ласковым солнцем, вдали от страданий и бед,
от проклятых вопросов, таящих банальный ответ
«это всё не надолго», природа ли, Бог ли —
хореограф, вчитайся, дрожащая тварь,
в пируэты любви, в перезрелой морошки янтарь!
Помнишь, Пушкин просил перед смертью?.. Чернила ещё не
просохли

как и слёзы, с того (на слуху Пастернак) февраля...
А стрекозы немолчной жизелью, беспечным своим труляя
летний морок усердно клубят перед зимнею стужей.
И вербальный прозрачен балет. Партитура его — палимпсест:
вещих муз хоровод или нежных загробных невест?
Не овец ли словесных рожок созывает пастуший?

«Жизнь — блаженство!» — жужжи-стрекочи, пока пыл
не остынет! Наверно, ты просто забыл,
что не Эрос, а Танатос этою музыкой пылкой

дирижирует, губы — два жирных синюшных червя —
то слюной увлажняя, то нервно кривя
саркастической скользкой ухмылкой.

РОМАН О РОЗЕ

Испустившая дух в Эдеме, чем их влекла эта Роза —
чевенгурского донкихота и поэта из Черновцов?
Удобренный пеплом войны, распустился в дыму паровоза,
как в парижском саду соименном, и в берлинской лазури пунцов
цветок их страдальческих грёз, дымолозунг в лоскутьях заката
пролетарского гиблого дела. Грядой пролетающих лет
над безбрежной тоской их сиротства облаков растянута регата.
Утопия — это такое пространство, где мёртвых нет,
где переплетены нераздельно реальность и литература,
где роза Ничто-Никому прорастает сквозь Черновцы
и в голодной скифской степи мерцает грааль Чевенгура.
«Женщина пусть поплавает», — из уст убийц, и концы
в воду Ландверканала... А небожитель — в Сену,
в тот же год, когда разрядилось ружьё в азиатских горах.
Несчастно как-то и в Чевенгуре... Когда на смену
эйфории революционной приходит похмелье, крах
взрывоопасных иллюзий превращает счастье в руины,
буржуазным бурьяном заросшие... А сегодня эти места —
как старые раны на теле истерзанной Украины,
как розы, когда-то сорванные с двух сторон одного куста.

НА ФОНЕ ПЕТРОПАВЛОВКИ

Внешний враг так ни разу и не штурмовал эти стены:
опоясаны мутной водой, высоки, неприступны, толстенны.
Занимал, обживал двести лет их лишь внутренний враг.
Равелины отеческой нашей бастилии и бастионы
ещё помнят молитвы, проклятия, вздохи и стоны
заговорщиков, цареубийц, вольнодумцев-бумагомарак...

Ясно вспомнилось вдруг, как бежал вот по этой стене я
вслед за храброй девчонкой и, скрыть мандража не умея,
вниз бросал то и дело испуганный заячий взгляд,
как менты нам оттуда свистели и что-то кричали,
а с другой стороны катерок отдыхал на причале...
Холодок по спине: это было едва ль не полвека назад!

Дальше как-то нечётко, а сам я куда-то за край ускользаю...
Память волны вздымает, и прыгают к деду Мазая
в лодку лунные зайчики, шубки спасают свои...
— Ох, не надо раскачивать! Будет, вещали оракулы, хуже! —
и размыло потоком, зачатым в Маркизовой Луже,
всю мозаику жизни, все разворотило слою.

Вот Волянь и Литва (всем — виват!) входят в невский фарватер,
и радушно в свой сон принимает их Пётр-император,
ни о чём не тревожась, не перевернувшись в гробу.
В усыпальнице той же, в соборе, его почивают потомки,
по футштокам загробным следя погруженье державы в потёмки
и подъём их народа смиренного на роковую борьбу.

Пётр-апостол ждёт ангела в тёмном сыром каземате.
Ну а тот не спешит. Золотой в сером небе сверкает гиматий,
и для ключника Рая ещё не открылась тюрьма.



А беда прибывает — на девять... одиннадцать футов
ординарный превысила уровень, тиной опутав
русский мир и подняв из глубин его столько дерьма
что дышать невозможно: нужна цитадель карантина.
Детским ужасом перед глазами всплывает картина —
как вода в одиночную камеру дерзкой княжны
палачом сумасшедшим врывается. Близится казнь декабристов.
Колобродит народная воля (в сторонке — зачинщик и пристав).
Нарастает угроза: должно быть, какие-то дамбы нужны!

Обагрённая пеной Цусимы, вот-вот развернётся Аврора —
когти выпустит розовоперстое утро террора.
Вот и залп. Резонируют стены гранитные и берега.
Разверзаются хляби... Доселе в ушах отголоски...
Память, где твой оплот? Отплывает ковчег философский...
Не острог с острым шпилем, а в реку времён — острога...

Что стихия снесла: бедный разум ли? домик Параши?
вековые устои? Бунтарь у тюремной параши
пусть бормочет *ужо* своё или домашний уют,
как потерянный рай, вспоминает!.. Война ли, волна ли большая
на умышленный город накатится, опустошая —
но орудья осадные стен крепостных не пробьют...

Здесь томился мой ровенский дед, а какая свобода
поманила студента в пылу революции пятого года,
мой под Вильной родившийся дед испытал на себе —
по течению выше, в «Крестах», в оборонной шарашке,
что в блокаду была переправлена в Молотов: гены-мурашки
разбегаются, как тараканы, подзудом притихшей судьбе.

Но сегодня не страх (разве что — за потомство), а старость
леденит мою кровь. Уж недолго томиться осталось,
и всё меньше соратников рядом, в юдоли земной...
Не спасёт от потопа меня этот заячий остров —
и спросонок порой, разогнав своих призрачных монстров,
голоса чьи-то слышу снаружи и чувствую: это за мной!



МАШЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ родился в 1960 году в Ленинграде. Поэт; по образованию физик, закончил Электротехнический институт и семь лет работал в Физико-техническом институте АН СССР. С 1990 года был редактором журнала «Искусство Ленинграда».

С 1996 года выступает с посвященными литературе, культурологии и художественной культуре публичными лекциями. Курирует сетевой альманах «Folio verso» (<http://folioverso.ru>) и просветительский проект «Не-фиктивное образование» (<http://nefiktivnoe.ru/>). Автор девяти поэтических книг.

Алексей МАШЕВСКИЙ

* * *

Кипарис над самым обрывом завис...
Хорошо зимою, и воздух свеж.
Из-за тёмных туй, как из-за кулис,
Показалось море с огнями меж
Двух границ, одна из которых там,
В гладкой эмалированной пустоте,
А другая — здесь. По морям, по волнам,
По следам твоим — я не знаю, где.
Где тебя искать, у кого спросить?
Брызги бисером мечет море на волнолом.
Нанизать бы все свои дни на нить:
Тут — любил, тут мы были с тобой вдвоем,
Тут мохнатую веточку оторвал —
Долго мям пахучих иголок прядь,
Отводил глаза, ничего не ждал,
Тут — напрасно пытался тебя обнять.

* * *

Пытаясь объяснить, всю ночь шептали губы,
Пытаясь мрак пустой заговорить, всю ночь.
И сердце, словно в нём стучали лесорубы,
Вздыхалось тяжело, и сон стремился прочь
От воспалённых глаз. Какие разговоры
Ведём с тобою мы неслышно столько дней!
Вы, слёзы, — в никуда, вы — в пустоту, укоры,
В немую пустоту... И что же там за ней?

Я подходил к окну, и тополь посребрённый
Луною, шелестя, казалось, отвечал
На смутный зов души, влюблённо-уязвлённой,
Не знающей своих пределов и начал.

Ну вот, теперь и ты мои расслышишь вздохи...
Лишь ветра набежит воздушная струя
На кроны тополей и в листьев суматохе
Раздастся шёпот губ — запомни, это я.



В МУЗЕЕ

Научиться не жаловаться, не ждать
Помощи ни от кого.
Потому что своя у каждого мать,
Свой отец — и спасать его

В одиночку придётся, искать врачей,
Утешать с улыбкой кривой.
Ну а смертный ужас вообще ничей —
Только твой, мой друг, только твой.

Приглядишься: все мраморные уста
Римских статуй твердят о том.
Наша жизнь одинока, судьба проста:
Сына пестуешь, строишь дом,

А потом уходишь... И смотрят вслед
Тебе бельма их мёртвых глаз.
Я и сам не знаю, зачем билет
Покупал сюда столько раз.

* * *

То, что погибли мы, сказано так давно,
Что искромётное в новых мехах вино

Скиснуть успело, наверное, сотню раз.
Нет, ты не думай, что мир этот кто-то спас.

Да, мы погибнем, но, к счастью, масштаб иной
Времени у пророка, когда говорит с Луной,

С дальними звёздами, с Богом, прозревший, он.
Жизнь поколения — лишь мимолётный сон.

Вымрет, как прочие, наш человеческий вид,
Солнце когда-нибудь землю испепелит,

Да и Галактика в чёрной замрёт дыре.
Но выхожу я из дома — а во дворе

Осени алой последний закатный блик.
Благо тому, кто не вечен и не велик,

Как однодневка-бабочка, чей полёт
В ласковом свете до ночи не доживёт.

* * *

От Александрии твоей остался лишь берег моря,
Да контуры гавани, взлохмаченной парусами,
Да некий трепет в сердце, что, мифу вторя,
Другими смотрит — и видит тебя — глазами.

Как будто снова кварталы склевали птицы,
Бетонный короб на месте Библиотеки,
И шелестят не свитки теперь — страницы,
Но и они исчезнут в грядущем веке.

Быстрее меняется жизнь вокруг, чем люди.
Потоп грозит нам или оледененье?
Прах к праху — сказано было: и мы на груди
Камней Фароса, зажжённого на мгновение.

Тень Феокрита, а может быть, Каллимаха
Ещё здесь бродит, сливаясь в ночи с туманом.
От брызг солёных промокла моя рубаха,
И уезжать обратно в Каир пора нам.

* * *

Уходили из Керамикоса
(Самолет наш через три часа),
Доносился вслед из-под откоса
Шелест пиний... или — голоса?

Голоса оставшихся такими,
Как на белых плитах видит глаз,
Спасены богами всеблагими,
Их богами, что ушли от нас.

Кажется, в воротах Дипилона
Всё ещё стоит гоплит с копьём.
Кануло ли в Лету время оно,
Если мы его осознаем?

И реальней всех бетонных клетей,
Толп людских в общественных местах
Профили сияющие эти,
Архилоха строчка на устах.

Уходили и прощались нежно,
Нежно, неизбежно — навсегда.
Вот бы так легко, почти небрежно,
И отсюда нам уйти, когда...

* * *

Спящая красавица проснётся,
Потому что ей настанет срок.
Принц почти случайно подвернётся,
Заплутав в сплетении дорог.

А его обступит замок спящий,
Тишина, проникший в ставни луч,
Нежно паутину золотящий,
Запах пыли, горек и летуч.

И когда, подняв тяжёлый полог,
Весь в прошивках серебристых струй,
Он увидит ту, чей сон так долог,
Лик так ясен... Лучше не целуй!

Не тобой, припавшим к изголовью,
Будет к жизни призвана она,
Это ты войдёшь, пронзён любовью,
Навсегда в глухую грёзу сна.

* * *

Ему, в сущности, нечего нам сказать —
Уже сказано всё давно.
Чудеса как фокусы показать?
Воду вновь превратить в вино?



Скорбно, сдержанно небеса молчат,
Как ни молишься: «Хоть шепни!»
Но не дед Мазай Он спасать «зайчат»,
Раз отвергли Бога они.

Не спасти спасённых... Ещё один
Дубль? — Простите, Он что — худрук?
Ты же знал, Всеведущ и Триедин,
Тщетность этих голгофских мук!

Ты же знал... Но должное быть должно
Не затем и не потому...
Лишь тогда превратится вода в вино,
Мёртвый Лазарь раздвинет тьму.

«ОТДЫХ НА ПУТИ В ЕГИПЕТ»

Всё спит, но ты не спишь, хотя, быть может,
Тебе лишь снится этот твой «не сон».
Игрою скрипки ангел растревожит,
И сам тревожен и прекрасен он:

Одежды ярко-белы, тонки руки,
Дрожание ресниц, орлиных крыл...
И так слились черты его и звуки,
Что о младенце плотник наш забыл.

Забыл о доме брошенном, о долгом
Пути в страну, откуда был исход.
Мария спит. Не связан больше долгом,
Иосиф смотрит, как играет тот.

Сему свидетель только глаз осяти.
В руках лишь ноты — странно самому.
Но всех небесных сил святые рати
Ему в минуту эту ни к чему.

Есть что-то выше Божьего завета,
Любви, несущей тяжкую суму, —
В твоей душе таящееся ЭТО,
Неведомое больше никому.

* * *

Наливая воду из колодца,
Почему-то счастье ощутишь:
Этот день, что просто так даётся,
Эта неба глубина и тишь,

И струя, серебряною змейкой
Из ведра скользящая в ведро,
И рябины ветки над скамейкой —
Каждой алой ягоды ядро...

Я не знаю, почему остаться
Невозможно в этой тишине,
Или в снах, что нам под утро снятся,
Или в том, что ты сказала мне,

Улыбаясь, на ступеньках стоя
Дачи, солнцем залитая вся.
Счастье-счастье, что оно такое,
Всё даря и тут же унося?..



МИРЗАЕВ АРСЕН МАГОМЕДОВИЧ родился в 1960 году в Ленинграде. Поэт, литературовед, исследователь авангарда.

С декабря 2005 года занимается воссозданием культурного пространства в бывшем знаменитом литературном ресторане «Вена» (1903–1917; ныне — мини-отель «Старая Вена»), проводит «Венские вечера», посвящённые истории «Вены» и современному литературному процессу.

Обладатель Ордена Победы Авангарда первой степени (2011) и Ордена Института русского авангарда (2013). Редактор-составитель (совместно с Д. Григорьевым, В. Земских и С. Чубукиным) пятитомной антологии современной поэзии Санкт-Петербурга «Собрание сочинений» (2010–2014 гг.).

Арсен МИРЗАЕВ

* * *

— покажи мне
своё стихотворение!
— не могу.
— почему?
— пасмурно.
в хорошую погоду
его можно разглядеть
даже сквозь облака —
в холодном
питерском
небе.

* * *

Памяти Софии Старкиной

ну вот и прибыли
на родину-печаль
а жаль:
так жить хотелось вдаль!
а приходилось на обочине пастись
стал гончим псом
а ведь мечтал спастись!..

ну ничего.
не вешай нос
товарищ мрак
в печали много музыки
поющий — не дурак!

он светел и высок
и духом он не гадок
он не империя
и не придёт в упадок
не ныне
не вовеки
прощайте
человеки!



переступая с пятки на носок
берёт разбег
уходит ввысь
летит наискосок

* * *

Памяти Жени Звягина

*В стране Гипербореев
Есть остров Петербург,
И музы бьют ногами,
Хотя давно мертвы.*

Там Женя встретит Костю,
В чьи строки он влюблен,
И скажет: «Здравствуй, милый!
Ты музам объясни:

Я — свой, я той же масти,
Пусть не бегут меня.
Я тихий и не буйный.
Привык ходить пешком...

Пусть этот *город-призрак*
По виду полутруп —
Нам влить необходимо
В него живую кровь».

И вечно будем, Питер,
Бродить и пить и *петь*!
Прими меня в поэты,
О, вечный город-сон!

.....

И отвечает Жене
Промозглый Константин:
«Ты — наш. И все мы вместе.
Никто из нас не мёртв».

...И НЕТ ТЕНИ

*Дорогому другу
поэту
Севе Рожнятовскому*

1

нет

таковского
и таковского
и ещё чёрт-его-знает-каковского

но только

не Севы
не
Рожнятовского

в нём было столько

лёгкости
веселья душевного

влюбленности в жизнь
что смерть
самой себе не раз говорила:
«от этого парня —
подальше держись!»

на него и взглянуть не смела
ни на шаг к нему
не приближалась
и всю его
не слишком-то долгую жизнь
жалась в сторонке —
злобно и жалобно жалась

смерть понимала:
незримую перейдёшь черту
— и абзац!
прямо в рыло получишь от Севы —
БАЦ-БАЦ!!!

на это Севино
ощущение близкого краха
вселенновечной Старухи с косой
повлияло и отсутствие страха —
вернее, порой он накатывал
но тут же прочь убегал —
жалкий
небритый
босой...

в сердце у Севы
страх не водился.
и когда в руке у Старухи
зловеще сверкнула сталь —
он не умер
а в небо взвился
и летит
летит
улетает
в даль...

2.

уплывает Сева в синеву
уплывает
но не покидает
нас
осиротевших
одиноких

вечно будет плыть
и плыть
и плыть

вечно будет длиться
длиться
длиться

в этом ослепительном полёте
в этом синем плавании
небесном



* * *

мои мысли — это стихи
когда они не для
быта и жизненных польз?

мои мысли — стихи
когда они растут сами по себе
из чего угодно
из ничего?

мои мысли — стихи
когда они
просто звучат
просто — музыка?

— да
мои мысли — стихи
когда я об этом
не думаю
когда
не понимаю



МИХАЛЕВИЧ ВАЛЕРИЯ (АЛЛА) ИОСИФОВНА — поэт, переводчик, ученый, член-корреспондент Европейской академии наук, искусств и литературы (EASAL), член Союза писателей С.-Петербурга и Союза российских писателей; автор книг стихов «Эхо» (1990), «Деревьями ветвящаяся мгла» (2003), «Фотосинтез» (2007), «Живые звёзды» (2008), «Стихи из книг 2003–2010 гг.» (<http://poezia.us/books/main.html>), «Бог Эволюции» (2013), «Пора поговорить о...» (Bilingua. Перевод стихов Кэрл Дэвис, 1997), «Перо жар-птицы / Feather from the Firebird». Bilingua. Переводы с английского стихов прапраправнучки А. Пушкина (2004), «Избранные стихотворения / Selected poems». Перевод стихов Роалда Хофмана (2011), «Стихи разных лет / Selected poems». Перевод стихов Шеймуса Хини (2012), «Science meets poetry». Стихи, переводы, эссе. Периодическое издание ESOF (Strassburg, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016) и др. Лауреат премии им. Николая Заболоцкого (2007), лауреат Американского уголка библиотеки им. Маяковского за лучший перевод (2007), «Женщина года» (2009); лауреат конкурса «Бумажный Ранет» (2013), сертификат отличия Совета ректоров Оксфорда (2014), награды Европейской академии наук, искусств и литературы (EASAL; 2012, 2018).

Валерия МИХАЛЕВИЧ

* * *

По тихо струящейся речке
То там я увижу, то тут:
Обрывками ангельской речи
Боярышниц крылья плывут

И целые бабочки тоже —
Как будто живой ледостав,
Прилипнув к текучему ложу
И крылья свои распластав.

Да что им, летуньям свободы,
Какой-нибудь слабенький бриз!
Но именно тихой погодой
Те бабочки падают вниз

Навстречу своим отраженьям, —
А вместо желаемых встреч
С холодным и тёмным теченьем
Приходится слиться и течь.

Как если б нечаянно кто-то,
Минуя любовь или тлен,
Влетел бы однажды с налёта
В зеркальный заманчивый плен.

И, может быть, очень похоже,
Случайно влетев впопыхах,
Свои отражения множа,
Слова застывают в стихах.

* * *

Капле крови вспыхивать звездой
Или тусклой краской засыхать.
Под ночные крики козодоя
Страшно жить и страшно умирать.



Ропоты дневные затихают
Вместе с тихим шелестеньем трав,
Души их дневные умирают,
Чей-то смертный страх в себя вобрав.

И висит тяжёлый полог ночи
Над молчаньем жизни гробовой,
А когда молчать уже нет мочи —
Жёлтый зев раскроет козодой:

Вот оно — последнее прощанье,
Падающий замертво полёт:
Непереносимым верещаньем
С высоты пикируя, зальёт.

* * *

Деревья ближе к небу, словно птицы,
Устремлены в движении своём
Всё время вверх. Им там легко ветвиться,
Врастать в глубокий голубой проём,
И, вырываясь из земного плена,
В подзоле, в удобрениях, в золе
Корнями быть с землею неизменно,
Ветвями забывая о земле,
Лететь как мысль, не ведая запрета,
Пронзая на пути за слоём слой —
И почки в небе вспыхивают светом
Космическим — как звёзды надо мной.

* * *

1

Скелет хитиновый скрипит,
А выпуклый глазок,
Оцепенев, глядит в зенит,
Пуглив и одинок,
Почти совсем как человек,
И более того —
Ведь даже нет защитных век
Над глазом у него.
Да спит ли он когда-нибудь
Или всю жизнь — без сна?
Щитками стянутая грудь
Для наших чувств — тесна,
И разорвать они могли б
Хитиновый скелет.
Его сочувствующий скрип
Летит за нами вслед.

2.

В фасеточных глазах нет смены выраженья
И кажется — они всегда настороже,
Пугливые слегка, готовые к сраженьям,
Которые их ждут на узенькой меже,
Когда сжимается малюсенькое сердце,
Наружный их скелет ломается, шурша,
В хитиновом, сухом и шелестящем тельце
Услышишь, как шуршит их хрупкая душа.

* * *

Зверь знает землю, и траву, и воду,
Других зверей — лисицу и хорька,
Дождливую и ясную погоду.
Как можно знать — не зная языка?!

Не называя? Знание на ощупь?
На вкус или на слух? На глаз? На цвет?
Нерасчленёнными картинками? — не проще,
Но, может быть, сложнее их сюжет.

Различия, однако, есть в природе
До слов: есть кашалот, и есть нарвал,
И волк, и заяц по чащобам бродят
Задолго до того, кто их назвал.

Не Lingua ли adamica — основа,
Наш первый пра-отец издалека?
Тот, кто сказал: «В начале — было слово»,
Не уточнил, — какого языка.

* * *

Есть новости — источник потрясений.
Ну, например, узнала я на днях,
Что свет не только на листьях растений,
Но глубоко в их тканях и корнях,
Перетекая, льётся по сосудам
И в почву проникает глубоко.
Растения — светящееся чудо,
Им нужен свет! — как детям молоко.

Три миллиарда лет назад планета
Лежала в мёртвой оболочке зла,
Растения — создали жизнь из света,
И потому — планета ожила.
Они — живые выходцы оттуда,
Где рос тот древний недоступный сад.
Растенья — молчаливые как Будда
И тайну созидания хранят.

* * *

При слове «карандаш» мы видим карандаш,
Мгновенно образ тот из мозга извлекая,
При слове «экипаж» представим экипаж,
Предстанет в слове «лес» растительность лесная.

Но как находит мозг к ним верную тропу,
Единственную ту среди нейронных клеток,
Как в триллионах звёзд, прорезав их толпу?
Не так ли ищет мать своих пропавших деток?

Понятно, помнит зверь тропу на водопой,
Минуя миллион песчинок и травинок, —
Но запахи, но цвет, но камень под ногой
Помогут выбрать путь в сети других тропинок.

Отсутствуют в мозгу и запахи, и цвет,
И всё же он хранит и цвет, и очертанья,



И запах, и размер, и тысячи примет,
И даже весь объем Земли и Мироздания.

Как в зеркале, — весь мир кодирует, хранит
Компьютерная сеть его живых кристаллов,
Но как находит он сквозь этот лабиринт
Единственную вещь, что наша мысль назвала?

* * *

Космическим вихрям открыты,
Пронзая небесный экран,
Рассеяли метеориты
Зародыши первых семян
И, первой водою омытый,
Бесформенный первый росток
Пророс сквозь кору вулканиста,
Земля превратилась в раскрытый
Огромный зелёный цветок.

Вот так излучает сиянье
Подснежник, почуяв тепло,
Бесформенной массы дыханье
Структуру свою обрело,
Оформились клетки и ткани,
Когда после двух или трёх,
А то — четырёх задыханий
Пришёл выпрямительный вдох.

А самое первое сердце,
Отстукивающее во мгле
Свои децибелы и герцы,
Когда родилось на земле?

Под раковиной ли моллюска
В сплетенье колец и полос,
В бороздке ли глиняной узкой,
Где червь мускулистый прополз

И в окаменевшей постели
Оставил свой кольчатый след? —
Теперь мы его рассмотрели
Сквозь тьму наслоившихся лет,
Где вечность, как червь эфемерный,
Сквозь глину пространства ползла,
Роскошно и неравномерно
Цветущая сложность цвела
И разум, туда проникая,
Где звёзд распылялась пыльца,
Где тяга живёт вихревая,
Всё ищет, покоя не зная,
Живое начало Творца.



МИШИН ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ родился в 1939 году в Симферополе. Поэт, прозаик, художник. Окончил Свердловское художественное училище, где учился у младшего футуриста П. П. Хожателева, и ЛВХПУ им. В. И. Мухомовой (отделение монументально-декоративной живописи, мастерская Г. А. Савинова, сына одного из художников группы «Мир искусства»). С 1966 года участвует в выставках в России и за рубежом. Член Союза художников России, Союза писателей С.-Петербурга, Международной федерации художников ЮНЕСКО, Международной ассоциации писателей. Почётный академик Академии художеств РФ. Работы представлены в собраниях ГМИИ им. А. С. Пушкина; Государственного Эрмитажа; Государственного Русского музея; Всероссийского музея А. С. Пушкина; Музея Ф. М. Достоевского; Музея истории Санкт-Петербурга; Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга; Мо-

сковского музея современного искусства; Музея современного искусства СПбГУ; Калининградской государственной художественной галереи; Museum and Art Gallery, Bristol; Zimmerly Art Museum, New Brunswick, New Jersey; Gutenberg-Museum, Mainz; Museum of the House of Humour and Satire, Gabrovo; Cremona Civic Museum и др., а также в многочисленных частных коллекциях. Автор тринадцати книг стихов и прозы. Произведения переведены на немецкий, французский, финский языки, опубликованы в антологиях в России и за рубежом.

Валерий МИШИН

* * *

поначалу подумал, что он не прав,
когда, глядя на небо, сказал:
от облака отвалился сустав...
сам видел, как падал в обводный канал.
но я не назвал бы его суставом,
на худой конец — рукавом,
нужно все-таки быть костоправом,
в облаке как таковом
могут гнездиться громы и молнии,
гремят костями небесные силы,
легко переноситься крамольные
мысли, можно набрать курсивом,
заклЮчить в скобки или кавычки,
раздвинуть створки, отдёрнуть полог...
но он так говорит по привычке,
потому как — врач-травматолог.

ДС

любовь с большой буквы,
секс на скорую руку —
то и другое в сутолоке,
под диктовку.
творчество для чернорабочих,
по контракту и без.
псевдоним — прочерк
в графе «отец».
простите, бога ради,
трудился не за испуг
в мейнстриме и андеграунде,
не покладая рук.



* * *

нужно ли объяснять,
почему слякоть,
день только начался — уже вечер,
почему прилипла ко лбу прядь.
хочется о другом сказать,
сказать не о чем,
кроме того, что рука обмякла,
превратилась в плоть.
пробуешь выстроить в ряд,
что за чем стоит, однако
всего нельзя предусмотреть.
пора выводить на прогулку собаку,
за ней убирать, впредь
довериться случаю, тайному знаку,
чужой воле, себе во вред,
особенно, когда одиноко...

* * *

тропинку по памяти прямо к парадной
протоптали, чего говорить, воробы,
ждут, когда в белом переднике баба
порадует зёрнышком, хлебом, чуточком кутьи.
дружество женщины с птицей дословно:
где-то под кожей хранится, внутри —
вижу, слегка задержался, на ровном
месте споткнулся, стою у двери.
ближе под вечер умолкнут пернатые,
приноровятся, кто где, по углам,
зоб набивая, не видят, что баба брюхатая,
запоминают её по рукам.

* * *

испытав прочность
корневой системы,
ветер решает: проще
надорвать нервы,
чем валить напрочь,
ломать суставы —
уже за полночь,
шуметь не престало.
дерево устоит,
судя по виду,
однако изменит вид,
затаив обиду.
у него иммунитет,
у меня тоже,
я давно дед,
дерево моложе.

* * *

солнце поработало всерьёз,
переделав тучи в облака,
облака погнало под откос,
правда ненадолго, на пока,

на покамест, на один момент,
на один воздушный поцелуй,
под фанфары и аплодисмент,
поспевай, ликуй, плыви за буй.
солнце ведь не метеонадзор —
расчищает небо без причин,
а не потому что из-за гор,
из-за леса, очень важный чин
пребывает, нужно всех под ноль
стричь, не забывая марафет
наводить, куда, глядишь, ни плюнь,
там уже стоит тайный агент.
но а тут свобода без границ,
пой и пей, на радость закуси —
ты включён посмертно в список лиц,
ты у себя дома, на руси.

* * *

приходится соглашаться
с формой яблока, помидора,
общественно-политическим устройством
(нет шанца)
какие свойства
у томата ацтеков,
черри израильтян
в месяц термидора?
(извините за беспокойство)
смириться с длиной коридора,
кишечно-желудочным расстройством,
выходя из двери, не сворачивая
до этого согласившись с формой
яблока, помидора,
общественно-политическим устройством,
не иначе,
без спора,
безропотно —
прямо,
без разговора,
до упора,
до тупика,
на красный свет
(нерентабельно?)
вспомнил чичибабина
(извините за беспокойство)
нет...



НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1966 году. Поэт, автор книг «Свидетельство о бедности» (2000), «Непрочное небо» (2009), «Никто не виноват» (2014). Публиковался в журналах «Арион», «Звезда», «Знамя» и др. Первое место в конкурсе «Север — страна без границ» (2012).

Сергей НИКОЛАЕВ

* * *

А когда мы с тобой остаёмся одни,
ты мне голову нежно кладёшь на плечо.
Если долго смотреть на ночные огни,
станет сладко в груди и в глазах горячо.

И покажется: сердце одно на двоих,
и душа на двоих оказалась одна.
Я возьму твои руки, печален и тих,
вот и вспомнится фея из детского сна —

эти ясные глазки, упавшая прядь,
золотистое платье, смешной башмачок...
Улыбнёшься и скажешь: «Серёженька, сядь,
расскажи мне про счастье своё, дурачок!»

* * *

Ты помнишь небо в Севастополе,
почти прозрачное в апреле?
Как во дворе окошки хлопали,
скрипели детские качели!
А эти... помнишь... камни белые —
древнее солнечного света —
где носят блузки оробелые
еврейки Ветхого Завета?
Галдит на рынке злое радио,
укропом пахнет и сунели!
А помнишь кофе чёрный в патио
и грека — нет, на самом деле?
А там автобус в Евпаторию:
морского синего разора
нам рассказала даль историю!
Короче, кончится нескоро
тот жар таинственный лирический,
вино весёлое с коринкой,
пока идём — на тряской нищенской
коляске ты, а я за спинкой!

* * *

Ходят звёзды, словно в ручье форель,
на деревне собачий брѣх,
раскачает ветер сестрицу-ель,
застыдит берёзок-дурѣх.

А вокруг лосиная чаща, топь
и медвежья в кустах тропа.
Как пойдѣшь направо — не надо, стоп!
А пойдѣшь налево — пропал!

Чертогон кругом, одолень-травя.
Кто скрипит лесиною сухой?
На плечах вертун-голова цела,
да набита, верно, трухой!

Посижу, прищурившись, у огня
и пригублю чай, как вино.
Млечный Путь — один, и Земля — одна:
мотылѣк, былинка, пшено...

* * *

Мудрые птицы по звѣздам летят домой,
и грибки, улыбаясь чему-то, режут
влажные шляпки. Деревья стоят стеной,
и на погосте ночью рыдает нежить.

Можно соседке-старушке купить «Ахмад».
Сидя за кружкой дымящейся, жаркой влаги,
пусть повествует о том, как в селѣ хамят,
как выносили когда-то на площадь флаги.

Может, расскажет: однажды она вождю
рапортовала, а после — отца, конечно,
органы взяли, да... А комары к дождю.
А человеку нужно святое Нечто.

Впрочем, я лучше пойду на болото за
клюквой — хорошая нынче и цвета крови.
И опадает листва, и слезит глаза
тихая боль небесной
Твоей любви.

* * *

Замёрзшую птицу принѣс домой,
у печки согрел — живи!
Наверное, трудно летать зимой —
игольчатый лёд в крови.

Очнулась, поела с руки зерно,
чирикнула: «Будь здоров!»
А быть потому добряком смешно —
всегда наломает дров.

Играет в печи золотой побег,
сосновая кровь гудит
о том, что любовь не умрѣт вовек,
Что трудно жить, как любить!

* * *

Кажется, мрачная Атропос нить перережет, и «пазик» перевернётся внезапно и рухнет в глубокий кювет. Всё же трясёт на ухабах и видно в окне метастазы свежие вырубков. Помню, знакомый сказал краевед: «Надо бы эти места оживить скандинавским терпением!» Надо, но я здесь живу. А минует пресветлый Покров — снег выпадает, и зиму встречаю брусничным вареньем, «Сосны, тоска и туманы», — сказал бы поэт Ковалёв.

Он здесь, увы, не бывал, хоть и рядом бушует столица, — слишком разбита дорога, и сыростью тянет с болот, и на соседнем сиденье везёт в садоводство девица Дарьи Донцовой роман, и буксуют колёса, и жжёт горькая влага глаза, оттого что вот в этой пустыне должен я скорбные песни слагать, как печальный Назон. Впрочем, и это подарок судьбы, а не просто густыми вихрями снега укрытый до самой весны горизонт.

* * *

Но самый камень, лишь коснётся человек, преображается, и мне всего приятней воображать, что этот ветер, этот снег от нежных слов теплее стал и от объятий. Когда рукой проводишь ты по волосам моим седеющим, то вьюга затихает. Она, свирепая, до месяца Нисан уснёт, как бабочка, а снег пускай порхает нестрашный, ласковый,

пушистый, как беляк,
и смерть не явится, пока мы в поцелуе.
Душа витийствует и ворохом бумаг
глухому времени бесстрашно крылышкует.

Споём, хорошая, о том, что не сложилось,
о том, что сложится, сурово помолчим,
и по столу солёной воблой постучим:
«Не получилось жить?» — «Конечно, получилось!»

* * *

Да, я хочу когда-нибудь Париж
увидеть, прогуляться по Монмартру.
Но яблоня цветущая, но стриж,
ютящийся под крышей, но на карту
посмотришь — нескончаемая глушь,
и ночи то прозрачные, как ситчик,
то белые, то чёрные, как тушь,
и посвисты угрюмых электричек.

Назавтра меднохвойные леса
снегов наденут свадебное платье,
и я пойму, какие полюса
Париж и мы! Возможно, даже счастье —
не ездить никуда, а при свече
смотреть в окно, коту лохматить ушки,
горячий чай отхлёбывать из кружки,
и думать о Париже, и вообще...

* * *

А земля здесь хорошая, только лопату воткнёшь —
то берцовая кость, то проломленный череп, то челюсть.
Урожай даёт и картошка, и свёкла, и рожь,
а ещё тирания такая выходит, что прелесть!

Сколько их насчитаем: Иосиф, Иван, Николай,
и Петра не забудем, на полки табачные глядя.
А живём хорошо — за душой, так сказать, ни кола
ни двора. Для философа, знаешь, подспорье, отрада.

Вот и любим застолье — по пьяному делу легко
рассуждать о ворюгах, дорогах плохих, туалетах
привокзальных (поскольку иных мы не знаем). Ого,
за отчётный период лихая цифирь в документах!

Так и видятся литры, погонные метры, кубы
на безлюдном вот этом, почти межпланетном, пространстве.
То ли хлеб из крапивы, из горькой травы-лебеда
мы печём, то ли повесть о нашем степном окаянстве.

Как сказал наш великий: пока не забили мне рот,
благодарность одна... Мы понять эту шутку не в силах.
А земля здесь хорошая — прутик воткнёшь и цветёт.
Хороши в сентябре урожаи на братских могилах!

* * *

И вдруг зима весной сменилась в январе,
и наша Библия с гравюрами Доре
сама собой на «Откровении» открылась.
На дождь в окно жена смотрела и молилась
об исцелении, но почки на кустах
уже набухли, застревали на устах
слова нетвёрдые: «О, милосердный Боже!»
А я молчал и думал, что в сырой рогоже
я не пойду босой бродить по деревьям.
Но небо рушилось на руки деревьям,
пронзённым ветром ядовитым с автострады.
И если было в мире что-то вроде правды
пред ликом огненным грядущих катастроф,
то наша маленькая детская любовь.

* * *

О нет, не надышался я тобою!
Не уходи, любовь моя! Побудь!
И подожди, во времени по грудь,
когда накроет счастьем с головою.

Не уходи, прошу тебя, не надо!
Не написал ни Павел, ни Матфей,
что там таится — посреди ветвей
небесного таинственного Сада.

Что, если там всего лишь пустота,
и дух парит среди светил горячих,
один, совсем? И крыл его прозрачных
ненужная сияет красота.
Не уходи! Вдруг только глина, ящик,
цветущий куст шиповника и та...
та тишина, помимо пчёл гудящих.



ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА родилась в Ленинграде. Поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Автор книг стихов «Путешествие во времени» (1990), «Вторая книга» (1996), «В трех зеркалах» (2000), «Флейта в ноябре» (2012), «Пассажирка» (2017), книг по истории города и области: «Я вышла из дома... Книга о Пушкинской улице и не только о ней» (2001; 2-е изд. 2012), «По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины» (2004), «Прогулки по Петербургу с Виктором Бузиновым» (2014), «Возвращение на Пушкинскую» (2018). Дипломант конкурса «Золотое перо»-2006, лауреат премии Правительства С.-Петербурга за освещение юбилея Царского Села на петербургском радио (2010), лауреат конкурса «Санкт-Петербург — съемочная площадка России», посвященного Году кино (Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, 2016).

Наталия ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

* * *

«Идущий северным путём...» —
какая медленная фраза.-
...Подходит к берегу паром
и обрывает нить рассказа,
который странница вела.
Сейчас она сойдёт на пристань,
перекрестясь на купола,
оглядывая берег низкий.

«Идущий северным путём...»
Над Волховом темнеют тучи.
И ветер с Ладоги, и дом
у крепости над самой кручей —
ты это вспомнишь, но потом,
когда замрёшь, дышать не смея,
увидев вышивку крестом
в этнографическом музее.

ИЗ ЦИКЛА «СЮЖЕТЫ»

1. МЕМУАРЫ

Чужую жизнь пройдя до половины,
не обольщайся, из неё не выйдешь.
Все эти свадьбы, роды и крестины,
весь этот англиш, эспаньолос, идиш
тебя как черновик переиначат,
а может быть, сомнут или отбросят.
Чужим восходом будет день твой начат,
чужим закатом обернётся осень.

2. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ

В дождливом Уэльсе, зелёной Ирландии,
на севере диком туманной Шотландии
(рифма не очень, но ради истины...)

был монастырь. Озеро, пристани,
как полагается, стены, собор...
Библиотека в центральной башне.

Монах Ксаверий, замкнутый, грустный,
почти еретик, но травник искусный.
(Рифма опять не очень, но в те века
ещё коряво складывалась строка
и пергаментов с хореем и ямбом
не нашлось бы в монастырской библиотеке.)

Настоятельница соседнего монастыря,
румяная словно заря, но та ещё фря,
гордая, как на небе луна,
заподозрена, ибо она,
по мнению бдительной братии,
слишком часто посещала библиотеку.

Женщина, как известно, сатанинский сосуд,
даже самые праведные из них лгут.
Под замок её!.. Захлопнулись двери,
загремели засовы... И только Ксаверий
продолжает расследовать дело о
трупe в монастырской библиотеке.

Правда выходит на свет, но слишком поздно.
Факел в руке безумца сияет грозно.
Занимаются пергаменты, чадят переплёты,
осыпаются киноварь, лазурь, позолота.
Мудрость вековая — человечья, Божья,
горит в монастырской библиотеке.

В дождливом Уэльсе, зелёной Ирландии,
на севере диком туманной Шотландии
был монастырь... И наши герои
исчезают в тумане. Хорошо, что их двое.
Позади догорает библиотека.
Библиотеки всегда горят.

* * *

Вино урожая счастливого года...
Вот на этикетке прочитана дата,
и память скользнула в прозрачные воды
реки, что кружила и мчала когда-то
нас — только влюблённых и невиноватых.
А там, в виноградниках у Кечкемета,
тяжёлые кисти на лозах повисли.
Клонилося к закату огромное лето
и перетекало в божественный рислинг.
Процесс виноделия не изучала,
но видела — в книге, в кино ли — не знаю:
идёт винодел седоусый подвалом,
на грифельных досках года помечая.
И всё, что случилось единственным летом, —
светило ли солнце, дожди ль выпадали, —
потом называется винным букетом,
достойным восторга, диплома, медали.
Три года вино созревало в подвале,
три года мы жили любовью бездомной.
Что мы позабыли, что мы потеряли,



сегодня вино воскресит и напомним.
И Бог седоусый в переднике синем, —
он списки проверит, он сделает сноски,
и всё, что с тобой и со мною отныне
случится — запишет на разные доски.
Пока ещё ночь продолжается наша,
и день не принёс безотрадной свободы,
мы выпьем последнюю, светлую чашу
вина урожая счастливого года.

КАРТИНА В ДУХЕ БРЕЙГЕЛЯ

Здесь церковь, и мостик, с вязанкою дров
служанка, и возчик с упряжкой волов,
молочник с бидоном, ребёнок с юлой,
и горы, и птицы и — Боже ты мой! —
охотники с гор, и хозяйки с базара,
мальчишки с коньками, торговцы с товаром, —
и с шумом, и молча, вприпрыжку, степенно,
по улочкам узким, извилистым стенам,
полям и дорогам, горам и равнинам,
в движение, кружение... Но с краю картины
почти незаметны, нелепы, случайны
две маленьких тени, застывших в молчанье.

Под крупными хлопьями мокрого снега
в голландском, фламандском, российском — Бог ведал —
в каком городке... Два движения кисти,
художник заплачет, а зритель присвистнет.
И подпись художник внизу начертает,
а имя второе — никто не узнает.

БАЛЛАДА

У каждого свой постоялый двор,
и свой времени ход.
Твоим приятелем будет вор,
судьбу цыганка наврёт.
А пиво пеной плеснёт на стол,
хозяин выставит счёт.
И всё, зачем ты сюда зашёл,
с пеной пивной уйдёт.
С какой виной, за какой судьбой
ты здесь коротаешь ночь?
Цыганка и пиво, вечерний отбой,
ну а наутро — прочь
пойдёшь по дороге, пьяный и злой,
обманутый, обворов...
Уже не пустят тебя на постой
ни в один из других дворов.
А пиво — пеной, а вор — в карман,
а цыганка, за руку — хватать!
Напрасно зорю пробьет барабан,
тебе его не услышать.
Хозяин пиво твоё допьёт,
цыганке заплатит вор
твоим золотым — за то, что врёт,
как всем врала до сих пор.

Но солнца лучи — по стеклу вразнобой,
и монета об пол звенит,
и вдогон цыганка бежит за тобой,
как ни за кем — бежит.
Быть может, её безрассудство — вздор,
быть может, опять соврёт...
Но это твой постоянный двор,
и твой времени ход.

* * *

Бабочек чёрных рой
запутался в занавеске.
Ты их прислал за мной?
Нет оснований веских
думать, что это твой
зов — в никуда повестка.
Ты их прислал за мной?
Дрогнула занавеска.

* * *

А вдруг там только поля, поля,
заросшие чёрными маками?
А вдруг там выжженная земля,
которую никто не оплакал?

И сердце заходится оттого,
что сгинем, как ешь и весь.
А вдруг там нет никого, никого...
Но нет никого и здесь.

* * *

Главное — успеть сжечь архивы,
чтобы ни словом, ни помыслом, никто, никогда
не коснулся дней моих — счастливых ли, несчастливых,
не обжёгся болью моей... Моего стыда
не был оценщиком... Любопытства ради
(даже если с пользой — что с того!)
не листал пожелтевшие эти тетради,
не учился на моих ошибках... Никому — ничего,
кроме избранных мест из переписки с друзьями,
перепутанных инициалов, перевранных дат.
Позабудьте меня, не смотрите в пламя,
где мои архивы горят.



ПОЛЯНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА родилась в 1967 году в Ленинграде. Поэт, переводчик с польского и сербского языков. Окончила Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова. Печаталась в журналах и газетах «Звезда», «Нева», «День и ночь», «Северная аврора», «Аврора», «Всерусский собор», «Питер-book», «Литературная газета», «Южная звезда», «Немига литературная», «Сибирские огни», «Сетевая словесность», «Зинзивер» «Литературная гостиная», «Дружба народов», «Москва», «Врата Сибири», «Всемирная литература», «Неман», «Урал», «Сура», «Интеллигент», «Изыщная словесность», в сборниках «День поэзии» и др. Автор книг «Бубенцы» (1998), «Жизни неотбеленная нить» (2001), «Геометрия свободы» (2004), «Соппротивление» (2007), «Воин в поле одинокий» (2007), «На горбатом мосту» (2014), «Стихи / Песме» (2014, на сербском языке). Стихи переводились на польский, болгарский, японский, английский, сербский и чешский языки.

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ

СКРИПАЧ

Памяти Муси Пинкензона

Вздрогнула скрипка у мальчишеского плеча.
Офицер, прищурившись, смотрит на скрипача.
Офицер доволен: расстрел обещает быть
Даже забавным... Он успеет убить.
...О, в этих скрипках всегда такая печаль...
Он позволит музыке прозвучать.

Мальчик, не медли, сыграй что-нибудь! Поспеши!
Ну же, сыграй для сентиментальной души —
Что-нибудь нежное для немецкой души...
Он же сказал:

Понравится — будешь жить.

Что ты можешь, мальчишка, — маленький, как сверчок!..
К подбородку взлетает скрипка, к небу — смычок.
Самое главное — не опускать лица:
Мёртвых не видеть — матери и отца.

Ну же, сыграй ноктюрн, не сходи с ума.
Но горячей молитвы, мощней псалма
Словно взрывает пространство перед тобой:
...это есть наш последний

*и решительный
бой!..*

Это есть наш последний бой, наш последний — на землю — взгляд.
Дёргается в конвульсиях автомат,
Хриплым лаем захлёбывается другой.
...это есть наш последний и решительный бой!..

Это есть наш последний — разорванной грудью — вдох.
Он так глубок, что в него умещается Бог —
Бог, так похожий на твоего отца.
Смерти нет.
Есть музыка —
без конца.

* * *

Получив от судьбы приблизительно то, что просил,
И в пародии этой почуяв ловушку, издёвку,
Понимаешь, что надо спасаться, бежать что есть сил,
Но, не зная — куда, ковыляешь смешно и неловко.

Вот такие дела. Обозначив дежурный восторг,
Подбираешь слова, прилипаешь к расхожей цитате.
Типа «торг неуместен» (и правда, какой уж там торг!)
Невпопад говоришь, и молчишь тяжело и некстати.

А потом в серых сумерках долго стоишь у окна,
Долго мнёшь сигарету в негнущихся, медленных пальцах.
Но пространство двора, водосток и слепая стена
Провисают канвою на плохо подогнанных пальцах

Перспективу теряют и резкость, и странно — легко
Истончаются, рвутся, глубинным толчком отвечая...
И вскипает июль. И плывёт высоко-высоко
Над смеющимся лугом малиновый звон иван-чая.

* * *

Господи, взгляни на наши лица —
Ты сияешь славой в звёздном стане,
Господи, мы — птицы, только птицы,
Жизни еле слышное дыханье.

Наша плоть под солнцем истончилась,
Выветрились слёзы и улыбки,
Нашу тонкокость, легкокрылость
Лишь в полёте держит воздух зыбкий.

Господи, ну что ещё мы можем?
Только петь. Не помня о законе,
Петь одну любовь... И всё же, всё же —
Не сжимай в кулак своей ладони!

ТРОЛЛЕЙБУС

Неизвестным безумцем когда-то
Прямо к низкому небу пришит,
Он плывёт — неуклюжий, рогатый,
И железным нутром дребезжит.

Он плывёт и вздыхает так грустно,
И дверьми так надсадно скрипит,
А в салоне просторно и пусто,
И водитель как будто бы спит.

И кондуктор слегка пьяноватый
На сиденье потёртом умолк.
Ни с кого не взимается плата,
И на кассе ржавеет замок.

Он плывёт в бесконечности зыбкой,
В безымянном маршрутном кольце
С глуповато-наивной улыбкой
На глазастом и плоском лице.



И плывут в городском междустрочье
Сквозь кирпично-асфальтовый бред
Парусов истрепавшихся клочья
И над мачтами призрачный свет.

УДЕЛЬНАЯ

А давай-ка дойдём до шалманчика средней руки,
Где шумит переезд и народ ошивается всякий,
Где свистят электрички и охают товарняки,
Где шныряют цыгане, где дня не бывает без драки,

Где торгуют грибами и зеленью, где алкаши
Над каким-нибудь хлипким пучком ерунды огородной
Каменеют, как сизые будды, и где для души
На любой барахолке отыщется всё, что угодно

Где базар и вокзал, неурядица и неуют,
Где угрюмо глядит на прохожих кудлатая стая,
Где, мотив переврав, голосами дурными поют,
И ты всё-таки слушаешь, слёзы дурные глотая.

Там хозяин душевен, хотя и насмешлив на вид —
У него за прилавком шкворчит и звенит на прилавке.
Он всего лишь за деньги такое тебе сотворит,
Что забудешь про всё и, ей-богу, попросишь добавки.

Он, конечно, волшебник. Он каждого видит насквозь,
И в шалманчике этом работает лишь по привычке.
Вот, а ты говоришь: «Всё бессмысленно...» Ты это брось!..
И опять — перестук да пронзительный свист электрички.

* * *

Что остаётся, если отплыл перрон,
Сдан билет заспанной проводнице?
Что остаётся? — Казённых стаканов звон,
Шелест газет, случайных соседей лица.

Что остаётся? — дорожный скупой уют,
Смутный пейзаж, мелькающий в чёткой раме.
Если за перегородкой поют и пьют,
Пьют и поют, закусывая словами.

Что остаётся, если шумит вода
В старом титане, бездонном и необъятном,
Если ты едешь, и важно не то — куда,
Важно то, что отсюда, и — безвозвратно?

Что остаётся? — Видимо, жить вообще
В меру сил и отпущенного таланта,
Глядя на мир бывших своих вещей
С робостью, с растерянностью эмигранта.

Что остаётся? — встречные поезда,
Дым, силуэты, выхваченные из тени.
Кажется — всё. Нет, что-то ещё... Ах, да! —
Вечность, схожая с мокрым кустом сирени.

* * *

...и Цинциннат пошёл среди пыли и падающих вещей <...> направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.

В. Набоков. Приглашение на казнь

Как ты нелеп в своём мученическом венце!..
Нужно было тренировать почаше
Общее выражение на лице,
Притворяться призрачным, ненастоящим.

Шаг с тропы — и проваливается нога,
Чья-то плоская шутка — мороз по коже.
Каждое утро — вылазка в стан врага.
Вечером жив — и слава тебе, Боже!

Осторожнее! Ведь и сейчас, может быть,
Жестом, взглядом ты выдаёшь невольно
То, что ты действительно можешь любить,
То, что тебе в самом деле бывает больно.

Вещи твои перетряхивают, спеша.
Что тебе нужно? — Ботинки, штаны, рубаха...
Это вот спрячь подальше — это душа,
Даже когда она сжата в комок от страха.

Над головами — жирно плывущий звук:
Благороднейшие господа и дамы!
Спонсор казни — салон ритуальных услуг!
Эксклюзивное право размещения рекламы!

И неизвестно, в самый последний миг
Сгинут ли эта площадь, вывеска чайной,
Плаха, топор, толпы истеричный вскрик —
Весь балаган, куда ты попал случайно.

* * *

В этой комнате слышно, как ночью идут поезда
Где-то там глубоко под землёй, в бесконечном тоннеле...
Пережить бы ноябрь! Если Бог нас не выдаст, тогда
Не учует свинья, и, глядишь, не сожрёт в самом деле.

Пережить бы ноябрь — чехарду приснопамятных дат,
Эти бурые листья со штемпелем на обороте,
Этот хриплый смешок, этот горло царапнувший взгляд,
Этот мертвенный отсвет в чернеющих окнах напротив.

Пережить бы ноябрь. Увидать сквозь сырую пургу
На январском листе птичьих лапок неровные строчки,
Лиловатые тени на мартовском сизом снегу,
Послабление режима и всех приговоров отсрочки.

Пережить бы ноябрь... Ночь ерошит воронье перо,
Задувает под рёбра, где сердце стучит еле-еле.
И дрожит абажур. Это призрачный поезд метро,
Глухо лязгнув на стыках, промчался к неведомой цели.



ПУГАЧ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ родился в Ленинграде в 1963 году. Поэт, критик. По профессии — учитель словесности, кандидат педагогических наук. Последние 10 лет основное место работы — СПбГУ. Автор книг «Шаги командора» (1995), «Летальный аппарат» (1999), «Русская поэзия на уроках литературы» (2003), «Знаки» (2008), «Антропный принцип» (2012), «На полях школьной программы» (2012), «На дружеской ноге» (2014), «Заговор букв» (2017). Стихотворения и критические статьи публиковались в различных журналах, альманахах и сборниках в России и за рубежом.

Вадим ПУГАЧ

* * *

Не богом, но хирургом Баллюзеком
Я излечён и жить определён.
Сорокалетним лысым человеком,
Казалось мне, он был уже с пелён.

С глубокими смешливыми глазами,
С какой-то синеватой сединой, —
И только так, как будто и с годами
Принять не может внешности иной.

За переборкой умирала дева, —
Бескровная, но губы как коралл, —
Итак, она лежала справа. Слева
Синюшный мальчик тоже умирал.

Я наотрез отказывался сгинуť,
Вцеплялся в жизнь, впивался, как пчела,
Пока она меня пыталась скинуть,
Смахнуть, стряхнуть, как крошки со стола.

Я не хотел ни смешиваться с дёрном,
Ни подпираť условный пьедестал
И, полежав под скальпелем проворным,
Пусть не бессмертным, но бессрочным стал.

И, уличенный в некрасивых шашнях
С единственной, кому не изменю,
Я предал всех. Я предал их, тогдашних.
Я всех их предал слову, как огню.

И если мы обуглены по краю,
То изнутри, из глубины листа,
Я говорю, горю и не сгораю
Неопалимем всякого куста.

* * *

В этой квартире часы не идут,
Будто поймав на движенье коротком
Липкие стрелки, которые тут
Бегают только по дамским колготкам.

Здесь никогда ничего не вернут,
Здесь бесполезны пророк и оракул.
Даже наткнувшись на пару минут —

Двух обаятельных маленьких дракул
Жди — не дождёшься. Души не трави,
Слушая их демонический гогот;
Дело не в том, что растут на крови,
Просто в часах отразиться не могут.

Думаешь, вот — не бегут, не летят,
Значит, и всё каменеет, немеет?
Просто по кругу они не хотят,
А по-другому никто не умеет.

Просто глаголов моих реквизит
Не составляет системы единой.
Может быть, век не идёт, а висит
Прямо на стрелках пустой паутиной.

Может, иные глаголы в ходу?
Или же, как неудачник и олух,
Я не найду их? А я их найду.
Мы ещё спляшем на этих глаголах.

* * *

Мой век оказался широким и длинным;
Примерка чревата надрывом, надломом,
И свет, постепенно сходящийся клином,
На юг пролетает над домом, над домом.

Не то чтобы страсть у него роковая
К какой-нибудь Африке там, Индостану,
Но руку тяну и краёв рукава я
Никак не достану, никак не достану.

Не знаю, за что я настолько не вырос,
Зачем не хватает лица на парсуну,
Но шею тяну, и не близится вырез,
В который никак головы не просуну.

Я света не вижу, экзамен экстерном
Сдаю, объясняя, что звёзды померкли.
Не я оказался таким безразмерным,
А век, получается, мне не по мерке.

Я мал ему, тьма обложила, как вата,
И в лампе ни ватта, и свет не воротишь.
Ну вот, говорил же, примерка чревата,
И я в балахоне, как чей-то зародыш.

Я время забуду — и это, и оно,
Свернусь, точно полоз, сгнию, точно колос;
Тогда и раздастся: «Да ладно, Иона,
Мне просто хотелось услышать твой голос».

ПОЧТЕННЫЙ СТАРИК НАКОНЕЦ ОБРЕТАЕТ ПОКОЙ

Так липу пчела облетает,
Так плющ водосток оплетает,
Так берег пловец обретает.

Так пчёлы, плющи и пловцы,
Исполнены смысла и влаги,
Достигшие цели,
Тоскуют, как шерсть без овцы,



Как персть в пересохшем овраге,
Как, верно, держащийся еле
Кумач на рейхстаге.

Почтенный старик наконец обретает покой,
Теперь старика наконец оплетает покой,
Душа старика из конца в конец облетает покой.

Старик перед смертью стихи написал,
Я вижу, как он это делал,
Я вижу, как он над столом нависал,
Жене замечания делал.

Я вижу, как он утомился и лёг,
Дыханием тяжек и хрипл.
И кто-то его не в футляр, а в кулёк,
Чтоб не было мусора, ссыпал.

И вот мы полюбим теперь старика
Державина и Пастернака,
И тень старика поглощает река
И что-то нам плещет из мрака.

Наверно, он там уже влагу словил,
А нас не заметил, не благословил,
Какое несчастье, однако.

ТОПОЛЯ ИНЖЕНЕРА ШПЕРХА

Далёк ли низ, велик ли верх,
А удивительное рядом.
Однажды был назначен Шперх
В утиль отправить бочки с ядом.

Всей технологии с нуля
Секрет не знаю и не выдам,
Но Шперх придумал тополя
Растить на бочках с цианидом.

Попробуй, дерево растли,
Растенье выгони из рая,
Схитри, чтоб тополя росли,
Отраву едкую вбирая

Потом нарежь их на круги,
Их — выморочных, их — бездомных,
И, напоённых ядом, жги
В пылающих, как магма, домнах.

А мы, рождённые сличать,
Повесничать и жить в столицах,
Анчара грозную печать
Читать на деревянных лицах

Мы, отменившие родство
(Важнее прочего — манера),
Мы не забудем ничего —
Ни тополей, ни инженера.

* * *

Движение чревато риском,
Трагедией, чертой у рта ли, —
И мы идём в туннеле, в римском,
Бог знает где, в каком квартале.

А там акустика такая,
Что воздух напрягло от гуда,
И, в страхе уши затыкая,
Моя жена бежит оттуда.

Какой там Рим, какой там форум, —
Фантазм, Испания с Китаем.
А как тебе туннель, в котором
Мы тридцать лет вдвоем плутаем?

И посвист в том туннеле, в нашем,
Чем этот, римский, не слабее,
Так что ж ты шествуешь с бесстрашьем
В дотла изученном сабвее?

Ты видишь сны мои, ты чуешь
Подземный зуд моих извилин
И сквозь акустику такую ж —
Венозный сок моих давлен.

И ничего, тебе не жутко,
Уютно с шумовым похмельем?
И светового промежутка
Не ожидаешь за туннелем?

Неужто мы отсюда выйдем?
Нет, лучше уж бежать обоим
На свет, который не увидим,
А, увидав, о чём завоем?

* * *

Амстердамские дети растут, как трава,
На весёлых газонах голубясь.
Размыкают щенячьи ресницы едва —
Им уже подвывает Канубис.

Амстердамские дети растут, как грибы.
Рассмотри же, как соком нальются
Неизбежные жертвы высокой судьбы —
Золотого дождя Бенилюкса.

Растаманские дети растут на дрожжах,
Эта солодость плавает хмелко,
Растекается мёдом на всех этажах
По гниющему дереву белка.

Рыхлокожий араб заряжает кальян,
Но и он не глядит Родионом.
Запевай свою песнь, европейский Баян,
Нарицаемый аккордеоном.

Может быть, навсегда наступил расслабон,
Рассосались беда и морока.
Индонезия, радуйся; смейся, Габон;
Отдохни от молитвы, Марокко.

Что ни сделаешь, всё попадает в струю,
Вырастают тюльпаны на гнили;
Амстердамские дети остались в раю,
Плод сорвали, а грех отменили.

ПОЭЗИЯ

Алексей ПУРИН
Давид РАСКИН
Владимир РЕЦЕПТЕР
Светлана РОЗЕНФЕЛЬД
Нина САВУШКИНА
Валерий СКОБЛО
Анастасия СКОРИКОВА
Калерия СОКОЛОВА
Сергей СТРАТАНОВСКИЙ
Александр ТАНКОВ

5

Санкт-Петербург — Россия



ПУРИН АЛЕКСЕЙ АРНОЛЬДОВИЧ родился в 1955 году в Ленинграде. Поэт, эссеист, переводчик. Закончил Ленинградский технологический институт. В 1982–1984 годах в качестве младшего офицера служил в армии на границе с Финляндией. С 1989 года заведует отделом поэзии, а с 2002-го — и отделом критики петербургского журнала «Звезда». В 1995–2009 годах соредатор литературного альманаха «Urbi» (Нижний Новгород — Прага — С.-Петербург; вышли в свет шестьдесят два выпуска). Автор двух десятков стихотворных сборников (включая переиздания) и трех книг эссеистики. Переводит голландских (в соавторстве с И. М. Михайловой) и немецких поэтов, вышли в свет шесть книг переводов. Публикатор стихотворного наследия Н. Л. Уперса. Лауреат премий «Северная Пальмира» (1996, 2002), «Честь и свобода» (1999), журналов «Новый мир» (2014) и «Нева» (2014).

Участник 32-го ежегодного Международного поэтического фестиваля в Роттердаме (2001) и других форумов. Произведения печатались в переводах на английский, голландский, итальянский, литовский, немецкий, польский, румынский, украинский, французский и чешский.

Алексей ПУРИН

* * *

Морозный Рыбинск не разбудит
Евтерпу в кварцевом гробу —
и только даром горло студит
Архангельск, дующий в трубу.

У чукчей нет Анакреона,
зырянам хватит и Айги.
Но кто метрического звона
придаст стенаниям пурги?

Кто наш, хмельной от шири водной
и хищный от смешенья рас,
российский мрак порфирородный
вольёт в магический алмаз?

Напрасно ль северные реки
прекрасней всех паросских роз?..
Но вот путём из грязи в греки
скользит полозьями обоз.

Он «Рифмотворная Псалтири»
тоской нагружен и треской.
И раздвигает тьму всё шире
заря — багряною рукой.

* * *

Вспомним, Бозио, скифские тени
веницейско-тосканских обид:
луч сенинкой играет в тристене,
дремлет вила, соломинка спит,
злая жизнь за заветным порогом
превращается в мраморный сон —
и собачьим упряжкам, пирогам
доверяет дочурок Аон.



Но давно источился и сломан
европейского века хребет,
и никчёмен бессолнечный гномон —
утонувший в снегах Мусагет.
В мраке гиперборейского рая
остроласковый лавр на виски
нам возложит, и та — догорая,
только Бозио — муза Тоски.

PIAZZETTA

Не кошелёк, расшитый бисером,
набитый тяжкими дукатами, —
плывёт Сан Марко первым глассером
к лагуне дугами покатыми,
из тьмы сверкающими сводами —
Язона золотой овчиною,
жемчужиной, рождённой водами —
их пасмурной первопричиною...

Венеция, забываемая,
храняемая в зенице, сняющаяся...
Не знаю, причастимся ль раю мы,
но фотография слепящая
в лоханке площади полощется
и постепенно проявляется —
как плащаница; голубь плещется —
и тоже раю изумляется.

* * *

«Я заплачу!» — мне сказано было, когда?
мы прощались (навек?).
Как вода, утекали во мрак поезда
(помнишь, что там изрёк этот грек —
Гераклит или Мельхиседек: навсегда!)
и на мокрой реснице мерцала звезда
(то ли капля дождя, то ли снег).

Что́ на свете вокзального дыма горчей?
и жалчее клейма неудач,
и бессмысленней наших прощальных речей!..
Лишь зарёванных рельсов слепящий ручей,
как твои поцелуи, горяч —
лишь бесплотная тень воспалённых ночей,
задыхаясь, мне шепчет: заплачь.

* * *

Я памятник воздвиг — едва ли ощутимый
для вкуса большинства и спеси единиц.
Живые сыновья, увидев этот мнимый
кумир, не прослезят взыскующих зениц.

И внуки никогда, а правнуки — подавно,
в урочищах страстей не вспомнят обо мне —
не ведая о том, сколь сладостно и славно
переплавлялась боль на стиховом огне.

Слух обо мне пройдёт, как дождь проходит летний,
как с тополей летит их безнадёжный пух, —
отсылкой в словаре, недостоверной сплетней.
И незачем ему неволить чей-то слух.

Умру. И всё умрёт. И гребень черепаший
Меркурию вернёт плешивый Аполлон.
И некому, поверь, с душой возиться нашей
и памятью о нас: нам имя — легион.

Капитолийский жрец, и род славян постылый,
и утлый рифмоплёт — всё игрища тщеты.
Но, муза, оцени — с какой паучьей силой
противилось перо величию пустоты.

* * *

Если вновь родиться — на Востоке,
у Аллаха зоркого в горсти.
Ночи там так жарки и жестоки,
что весёлых глаз не отвести.
И молиться лучше, скинув кеды:
не алтарь, не капище — но дом,
где тебя взрастили для победы
и для рая страстного потом.
Я любил бы улочек Багдада
путаное, прямое руно —
или стал бы юнгой у Синдбада,
записавшись в первое кино.
В снах моих меня манила б Мекка,
и зрачок чернила бы во мне.
Я узрел бы звёзды Улугбека
и хромого хана на коне.
И тебя, тебя бы вновь увидел
где-нибудь в Ширазе золотом —
смуглой кожи самый нежный выдел
пролистал соскучившимся ртом...
Ядом вязь арабская сочится,
и священной жизни правый бой —
стяг зелёный, реющий как птица.
Верная погибель, но — с тобой!

ПАРОХОД

Огромный пароход уже наполнил дымом
угрюмый порт;
к каким-то Лиссабонам, Лимам
вот-вот он, отдудев, уйдет.

Уж в мятых канотье взбираются по трапу
и в шляпках те,
кто, показав язык картузному сатрапу,
чуть что растают в пустоте.

Мне многие из них знакомы понаслышке —
всё высший свет;
и машет с крутизны приговоривший к вышке
себя завравшийся поэт.



Давай поторопись, всего одна минута —
и в путь, и в путь!
На этом корабле отыщется каюта
для нас уж как-нибудь.

И мимо островов Канарских и Азорских,
Бермуд, Багам
поедем, поплывём — не ради див заморских —
на пир, к богам.

Ни дар блистательный, ни честные старанья,
увы, плывущих не спасут —
нас небожители, как хищные пираньи,
сожрут, сожрут.

ПАСТЕРНАК СМОТРИТ НА КРЕМАЦИЮ МАЯКОВСКОГО

Что сталевар, сквозь слюдяное
окошко, с искоркой в глазу,
глядеть на всплески злого зноя
(как в летний день — на стрекозу),
слезу всамделишно роняя
от жара, бьющего в зрачки, —
что ждёт бессмертье, твёрдо зная,
за адом огненной реки.

Ведь молибдена и вольфрама
добавит Сталин в эту сталь.
Жить нужно яростно и прямо
и слепо вглядываясь вдаль.
Ещё сыграют марш солдаты.
И в белом венчике из роз —
в непоправимый час расплаты —
причалит к берегу Христос.

СЕБАСТЬЯН

Точно так же выгнутый навстречу
дрожи стрел, как луки — ей вослед,
шепчет: «Отче, муке не перечу:
Ты сильнее страдаешь, Параклет».

С каждым мигом ближе злая стая.
(Не спасает логика, Зенон!)
Из души земной произрастая,
дух в зенит небесный устремлён.

Не стрела покоится, летая,
(как нелепо думал элеат) —
это просто Дева Пресвятая
обернула мученика в плат.

Он прозрачен, но при этом прочен.
А мгновение длится сквозь века.
И святой стоит, сосредоточен, —
нам, минутным, видимый пока.



РАСКИН ДАВИД ИОСИФОВИЧ родился в Ленинграде в 1946 году. Поэт, историк. Окончил Ленинградский государственный университет (1969). Доктор исторических наук, профессор СПбГУ, автор более 300 научных публикаций. В юности общался с В. Кривулиным и Е. Шварц, в дальнейшем принадлежал к кругу А. Кушнера и его учеников. Стихи впервые опубликовал в 1989 году. Автор книг стихов «Доказательство существования» (1998), «Запоздалые сообщения» (1998), «Стихи». 1999–2002 (2004) и ряда публикаций стихов и переводов в журналах «Звезда», «Новый мир», «Грани», «Крещатик», «Бездна» и др. Лауреат премии им. Н. А. Заболоцкого (2005). Член Союза российских писателей, Союза писателей Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского Пен-центра (Международного ПЕН-клуба).

Давид РАСКИН

* * *

Эпоксидной смолой
Склеен разбитый пейзаж.
Ржавые сосны давно перестали звенеть.

Силишься вспомнить, когда
Всё уже видел, уже успел побывать
В этой низине цвета стоячей воды.

Вот и пытайся теперь
Перестроить зрение, только мешает мысль,
Что всё повторится, а это — последний шанс.

Есть какой-то предел
Недоверию к жизни. За ним —
Равнодушие с примесью зависти. Мёртвый клей...

* * *

Вырвана с мясом мембрана из телефонной трубки.
Оледеневший ток застыл в проводах колючих.
Цепь разомкнулась. Оборваны все привычки.
Сковывает намеренья и отменяет поступки
Низкое небо в хлопчато-угольных тучах,
Ветер, настолько резкий, что не зажечь и спички.

Но почему так знакомо, но всё-таки почему же
Так предсказуемо всё, что даже не страшно,
Только привычные связи вырваны с мясом?
Стягивает в один узел всё туже и туже
Все обстоятельства — мысль, что это — неважно.
Медленно время ползёт, словно очередь к кассам.

И достояться нельзя — не успеешь до перерыва.
Кончится всё до закрытия — хлеб, чернила, свобода.
Да и никто не даст того, что взять не успели,
И не простит долги, и не выпрямит то, что криво,
И не спасёт от соблазна толпу у входа,
И не подскажет ни средства, ни направленья, ни цели.



* * *

Нет ничего холоднее одинокого фортепьяно,
Звучащего то ли в записи, то ли в прямом эфире,
Дальше любой звезды, гораздо страшнее и шире
Кровавой полосы заката, проступающей из тумана.

В космосе звук никогда не бывает полностью чистым.
Холодно в комнате. Ночь подступает неслышно и скоро.
Мужество одиночества даётся только солистам,
Страхом веет от безымянного и безмолвного хора.

Словно царит во вселенной лишь одна ледяная константа.
Если б душа и была — она бы насмерть продрогла.
Нет никого. Ни композитора, ни музыканта.
И от глухой пустоты отделяют лишь тонкие стекла.

* * *

Оболочка сознания сделалась слишком тонкой,
Да и в озере зацвела и подёрнулась жирной плёнкой
Вода, непригодная для купания, тем более для питья.
Каждый шаг предсказуем и каждый вечер легко узнаваем.
И по-прежнему, за неимением лучшего, называем
Уходящие дни частицами бытия.

Только вместо признания достаточно лёгкой тени.
И от всех надоевших случайностей и совпадений
Остаётся лишь влажный зной и звенящая мошкара.
Плеск безвольной воды. И разум, не менее жалкий,
Обрекает любую речь на повторение детской считалки.
Потому что и в самом деле, конечно, пора...

* * *

В безразличном, лишённом свойств потоке первоначальной свободы
Растворены без остатка масса, скорость, координаты,
Перепутаны и одинаково бесполезны выходы все и входы,
И любая находка ничем не отличается от утраты.

А догадка, что только в муках рождается всякая определенность,
Пахнет кожей и воском, игрой с непонятным словом.
Но любой поток отвергает безбрежность или бездонность,
И стремится в одном направлении, и не хочет смениться новым.

Так за видимым миром, за гранью знания или веры,
Там, где мы нежеланные подданные или незваные гости,
Стохастический демон отменяет все имена и размеры
Или кто-то неназываемый непрерывно играет в кости.

Вдоль по гладкой поверхности космос течёт, глубины не затронув.
Человек и вселенная знают пределы, полюса, направления, свойства.
Лишь в мозгу, где свободно мерцают миллиарды цепочек нейронов,
Как в начале, царит многозначность, но скрывает своё устройство.

Да и то, что мы по привычке называем свободой воли,
Означает на самом деле утраченную возможность
Одновременно быть и не быть, принимать любые обличья и роли,
И приносит определённую непрерывно растущая сложность.

А потом неизбежна игра в поддавки с условно мыслимой силой,
Разворачивающей пространство и раскрывающей время.
И сгустившиеся берега называем Харибдой и Сциллой,
И в непознанном, мутном потоке проплываем вместе со всеми.

А у Шрёдингера условный кот, помещённый в условный ящик,
Всё равно остаётся живым, потому что коты бессмертие заслужили.
Что бы там ни придумал и что бы ни сообщил рассказчик,
Он мурлычет и точит когти, и лишь иногда чихает от пыли.

* * *

Темна вода в облаках, точнее в тучах, ещё темнее
Игольчатый лёд в разболтанной гуще северной ночи.
Дышит эфиром неопределённость, конечность, и вместе с нею
Память становится все ненадёжнее и короче.

Словно свобода воли зависит от частоты колебаний
Струн, пронизавших вселенную, словно комками выпал в осадок
Чёрный крахмал, загуститель сознания,
матрица клейкой паучьей ткани,
Возникающей из ничего, но сохраняющей тёмный порядок
Первоначальной бесцельности.

Нечто (хотя от страха надеешься — некто)
Холодом обжигает, образует глухой заголовок,
В котором нет и не было ни действия, ни объекта.
И никаких измерений, и никаких уловок

Уже недостаточно, чтобы найти в рассыпанном каталоге
Свидетельство, скажем, присутствия. Тропами потайными
К слову крадутся суффиксы, префиксы и предлоги.
И, как всегда, невозможно назвать запретное имя.

* * *

Чернеет яблоня сквозь щель в глухом заборе,
За кучкой зимних дач. Незамкнутый объём.
Заставка. Тонкий луч и звёзды в мониторе.
Мостки над ледяным ручьём.

Весь мир — лишь формула. Отстал от ощущений
И превратился в мысль, а после кем-то стёрт.
Пульсируют в ночи потоки сообщений.
Из края в край. Von Ort zu Ort.

Ещё проходит жизнь, все разговоры скомкав.
Не выбрать имени. Ни века, ни страны.
Одни вложения остались для потомков
И в облаке сохранены.

Здесь только снег летит и липнет к тёмным доскам.
Созвездия причин мерцают в темноте.
Былые яблоки блестят зелёным воском.
Но вот на вкус — давно не те...

* * *

Хоть считывай, хоть не считывай
Приметы, знамения, весть, —
В остатке лишь стержень графитовый,
И знаки нельзя прочесть.



Ни в миньяне, ни в литургии
Не поможет пароль и логин.
Другие — это другие.
А ты... ты всегда один.

Быть частью большего, целого
Не можешь опять и опять.
И если не разглядел его,
Не стоит воображать.

Остаётся: не выйти из роли,
Находиться на узком мосту,
Быть собой по собственной воле,
Сканировать пустоту.

* * *

Пространство сузилось. И ныне, и навеки.
И с ним себя соотнеси.
Вольётся талый снег в каналы или реки,
Застынет в городской грязи.
Пульсирует всю ночь зелёный крест аптеки.
Горит кошачий глаз такси.

Нет — волчий. Здесь и жить. И значит, быть по-волчьи.
Не отвертеться. Не уйти.
Слова живут в толпе. В людской сыпучей толще.
И лишь перед концом пути
Случается понять, что мысль приходит молча.
И тает, словно снег в горсти.

Лишь повторения грядущее сулило.
Но ограничен их запас.
Так притяжения слабеющая сила
Отодвигает поздний час
Сознания. Плывут далёкие светила.
А в ближних окнах свет погас.

* * *

В пустоте почему-то холодно. В центре условной сферы,
В воображаемой точке, у мысли, лишённой кожи,
Нет надежд на бессмертие. Многочисленные примеры
Ничего не доказывают и все друг на друга похожи.
Из теоремы Гёделя вытекает необходимость веры
Или отсутствия веры, что, в общем, одно и то же.

Холод и одиночество в последней точке покоя
Предполагают молчание. Все посторонние звуки
Не говорят ни о чём. Ни цвета, ни плотности, ни покроя
Не имеет та пелена, за которой при третьем стуке
Открывается дверь, а может быть, что-то другое,
Всклоченный хаос, плод не усвоенной в детстве науки.

Остаются спирали галактик, синевато-стальная стружка,
Вечное чувство надрыва, трещины или разлома,
Замкнутость всех понятий, временная заглушка
В виде отсутствия воли, имени или дома,
Цепкие заросли чисел, гибельная ловушка
Для длинноволосого Авессалома.



РЕЦЕПТЕР ВЛАДИМИР ЭММАНУИЛОВИЧ родился в 1935 году. Поэт, прозаик, пушкинист. Окончил Среднеазиатский государственный университет, затем — Ташкентский театрально-художественный институт. С 1960 по 1962 год работал в Ташкентском Русском драматическом театре им. Горького. С 1962 по 1987-й — в Ленинградском Академическом Большом драматическом театре им. Горького. Народный артист России, лауреат Госпремии РФ, премии им. Д. С. Лихачева и премии Президента РФ. Основатель и бессменный художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа». Первая книга стихов «Актёрский цех» вышла в Ташкенте в 1962 году. С тех пор в Санкт-Петербурге и в Москве выпустил более двух десятков поэтических сборников и книг прозы. Публиковался в журналах «Звезда», «Знамя», «Нева», «Новый мир», «Юность» и др.

Владимир РЕЦЕПТЕР

* * *

А Низамову Фину на улице встретил отец.
«Что ты плачешь?» — спросил и привел её к маме:
метр от полу и горбиком грудь — вот такой образец.
И осталась она вместе с нами.
Что с ней было до этого? Странная мгла...
Где-то жили и сёстры, и братья.
Но ни места при них, ни занятия
она не нашла.
Мама угол нарезала ей для спанья,
прикупила одежду.
(Тридцать лет в самый детский размер
обувала короткую ножку.)
Так и выросла наша семья.
И за ручку вела её мама вступать в профсоюз
и в вечернюю школу...
Кто сумеет измерить родительский груз?
И глаза опускаются долу...
Как он весело зажил, конёк-горбунок,
заспешил вперевалку!
И — на равных, на равных —
в любую встречал перепалку,
и какие он крылышки вырастить смог!
Институт позади, и квартирка — своя,
и заведует библиотекой.
Кто же вспомнит её сиротой и калекой,
если Фина Низамова — наша семья?..
Где же книга,
в которой записан был этот конец,
тёмный, будто начало?..
Раньше мать умерла.
А потом и отец.
Вот и Фины не стало.
Слепота догнала её. Фина открыла окно
и от нас улетела.
Всем сама помогала, а бременем стать не хотела,
не хотела, что было темно...
Жизнь спешит и уходит,



как тот кочевой караван.
Кто отстал, кто прибился случайно...
Там, откуда она появилась,
клубится туман.
Там, куда унеслась, —
та же тайна...

* * *

А. И.

Как постарели лошадь и овчарка!
Мы видим, как впервые за пять лет
конь падает, не от жары — не жарко,
а пёс не может влезть на табурет.

Мы всё жалеем их за скоротечность
их жизнью, будто сами рождены
не стариться, а так, как есть, на вечность
за этою землёй закреплены.

А нас жалеют лошадь и собака,
у них одна забота на двоих:
как эти люди проживут, однако,
ещё так много лет, и все без них!

* * *

...А Гога не выходит в ложу,
от жизни отделён вполне.
Ни я его не потревожу,
ни он не скажет слова мне.

Разделены не смертной датой,
а поздней жизненной чертой...
Я был одной семидесятой
его команды золотой.

И вот гляжу почти в испуге
на жизнь, прошедшую при нём,
и здесь, на поворотном круге,
без десяти минут чужом, —

он сам, его смешки, повадки...
И я, слепец, в его кольце...
И привкус славы, горько-сладкий,
и слёзы зрителей в конце...

* * *

Десятиклассники

знать не желают классики.

Директор собирает педсовет:
вот девочки предпочитают «дансинги»,
вот мальчиков влечёт велосипед.

Им наплевать,
что жил когда-то в древности

английский драматург Вильям Шекспир.
У них свои заботы, свои ревности,
сегодняшний, не сочинённый мир.

Они сидят, высокие, за партами,
не слушая учительских речей,
а по домам они уходят парами,
встревоженные близостью своей...

Десятиклассники
 знать не желают классики...
Как научить их?.. Кто их разберёт?..
И вот сегодня для десятиклассников
устроили дежурный культпоход.

И занавес потёртый раздвигается,
и сцена освещается, и тут
выходит парень, с королём ругается,
а парня принцем Гамлетом зовут.

Он от предательств мечется и мучится...
Он думает и трёт рукою лоб...
Хохочет... Плачет... Собирает мужество...
А на коленке морщится чулок...

И ложь вокруг... И никуда не денешься.
Ответственен за всех и одинок,
как сорок тысяч братьев,
 любит девушку,
давая им классический урок.

И постепенно тает декорация,
а сцена надвигается на зал.
Вот парень обнял верного Горация,
и вот он их в свидетели призвал
что злему веку не желает кланяться,
идёт на смерть и в страхе не дрожит.
...И кончился Шекспир,
 который классика,
и начался Шекспир,
 который — жизнь.

* * *

Вновь дозором обойду веси.
В беспризорные вгляжусь выси.
Прибедняйтесь при своём интересе.
Оставайтесь при своём компромиссе.

Я два века привыкал к страхам,
прибегая к стиховым строкам.
Неужели всё пойдёт прахом,
если всё не успевал к срокам?

И сию один на Савкиной горке,
Слава Богу, что пока добираюсь.
Это сладкий ветерок, а не горький.
Я люблю земную жизнь, каюсь...



* * *

О Господи, дай мне защиты
от стрел ядовитых и жал,
давно прощены и забыты
все те, кто меня унижал...

Ты прав, не забыты... И всё же
не чувствую в этом вины,
их помню, и всё-таки, Боже,
они прощены, прощены!..

2017 год

Наводнения, пожары, вулканы —
полон смуты семнадцатый год.
Вся природа, народы и страны
вновь готовы на страшный расход.

Ищут смерти деревья и люди,
и, пока о любимых молюсь, —
голова Иоанна на блюде,
и поник на кресте Иисус...

Хамский хор отмечает столетье
революции... Боже, спаси!..
И гордыня не изгнана плетью,
и раскаянья нет на Руси...

* * *

Из старой тетради и новой
срастаются листья страниц
о жизни моей непутёвой,
не помнящей мер и границ.

Встречаются с датами даты
двух разных и грозных веков,
и катятся грома раскаты
поверх пробуждённых стихов.

Читай же, мой друг и потомок,
и, если найдёшься, пойми,
как странен, безумен и тонок
пробел между нами, людьми;

как, пропасть времён заполняя,
я рвался судьбою к судьбе,
чтоб тонкая нитка живая
меня природнила тебе...

* * *

И. Ш.

У театра прозрачные стены,
и актёры прозрачны насквозь.
Все их дружбы, любви, измены
сколько раз узнавать довелось.

И ничто их страстей не сковало
ни давно, ни потом, ни сейчас.
Снова слушают Леонкавалло,
и — страдают, и — слёзы из глаз.

Боже мой!.. Не могу оторваться!..
Как возможно — и петь, и играть?..
Сам ведь жил наподобье паяца
и тогда, и потом, и опять...

* * *

Из старой тетради и новой
срастаются листья страниц
о жизни моей непутёвой,
не помнящей мер и границ.

Встречаются с датами даты
двух разных и грозных веков,
и катятся грома раскаты
поверх пробуждённых стихов.

Читай же, мой друг и потомок,
и, если найдёшься, пойми,
как странен, безумен и тонок
пробел между нами, людьми;

как, пропасть времён заполняя,
я рвался судьбою к судьбе,
чтоб тонкая нитка живая
меня природнила тебе...

* * *

...И проступает смысл, глубинный, наживной,
картинки вспышками спешат передо мной,
грехи с ошибками, ошибки со грехами;
и тщусь подняться вверх, но падаю, а в яме —
не тьма крошечная, а Босх Иероним
в своей обители, и я — пообок с ним,
не покупатель, а гость, готовый стать собратом,
смущенный гением и миром неразъятым,
в который мы по воле случая пришли,
спасать картинами насельников Земли...



РОЗЕНФЕЛЬД СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
родилась в 1940 году в Ленинграде. Поэт, автор книг
«Белый вечер: стихи» (1989), «Среда обитания: стихи»
(1993), «След облаков: стихи» (1999), «Северная сто-
рона: стихи» (2000), «Короткий земной промежуток:
стихи и проза» (2003), «Manu porgia: стихи и проза»
(2007), «Так делаются грустные стихи: стихи» (2009),
«Впечатление: стихи» (2010), «Сад прощения: стихи»
(2012), «Монологи: стихи и проза» (2014), «Ненави-
жу, люблю... Роман» (2014), «Я хотела сказать... стихи
и проза» (2015), «Другая женщина: роман» (2017). Пе-
чаталась в журналах «Аврора», «Звезда», «Нева», «Се-
верная Аврора», альманахах и сборниках.

Светлана РОЗЕНФЕЛЬД

* * *

Закат красив и страшен. В нём угроза,
Предупрежденье миру, Божий гнев.
Молчание небес страшней, чем грозы,
И чёрный лес молчит, оцепенев
От ужаса.
Багряными перстами
Вцепилось небо в землю. Кто сказал,
Что мы ещё пред Богом не предстали
И нас ещё никто не наказал?

* * *

Под Новый год случился снегопад,
Густой, короткий. Утром снег растаял,
И день пришёл, уродлив и горбат,
Туманной мглой, как шерстью, обрастая.
Чудовище.
Но всё же я могу,
Преодолев свой страх и омерзенье,
К нему навстречу выйти, как к врагу,
С которым я готова к примиренью.

* * *

На Мойке застывшей, у мёртвой воды,
Вдоль зданий, где время со стен шелушится,
Качается предошущее беды,
Которая скоро должна совершиться.
Над Мойкой, где снежная вьётся крупа
И туча на солнце легла, словно веко,
Стотысячеликая стонет толпа,
Длиною чуть больше полутора века.
Крылатки, и шубы, и дождевики,
Цилиндры, папахи, береты из шерсти:
Дворяне, чиновники, большевики —
Поборники правды, невольники чести.
На каменных плитах, у чёрных перил
Толпа ожидает небесную милость:
Никто не стрелял и никто не убил —
Всё это безумной России приснилось.

* * *

Какие роскошные тени,
Тревожны, резки и густы!
И я застываю в смятенье
За шаг от сплошной темноты.
На грани тоски и восторга
То в рай попадаю, то в ад:
Там — чёрный обломок Востока,
Там — Запада алый квадрат.
Сейчас они вместе сольются,
И смесью воды и огня
Закапают с неба, как с блюда,
Остатки допитого дня.
И что-то настанет такое,
Чего я так жду и боюсь,
К чему прикасаться рукою
И взглядом своим не берусь, —
А только в ночи этой летней
Стою, растворяясь во мгле,
Как будто осталась последней
На вдруг опустевшей земле.

* * *

Как холодно. Как жалобно скулит
Калитка, усмирённая щеколдой,
Земля морозы близкие сулит,
Похрустывая хрупкостью стекольной.
Всё громче, всё мощней гусиный драйв
Вдогонку за отчаявшимся летом, —
Ты смотришь в небо, голову задрав,
Ты хочешь улететь за ними следом
И знаешь, что никто не улетит:
Ни ты, ни я... Но ты меня тем лучше,
Что у тебя к полётам аппетит,
А у меня — к земле моей колючей.
Я хуже тем, что задаю вопрос:
На что же мы надеялись, мечтая?..
И холодно мне, холодно до слёз,
Когда ты смотришь вслед гусиной стае.

* * *

Два профиля... Смотрю издалека:
Два профиля на чёрно-белом фото.
А может, это контуры офорта? —
Здесь чувствуется Рембрандта рука.
А может, это просто сладкий бред,
Волшебная игра воображенья:
Два взгляда, две улыбки, два движенья, —
Двойного счастья призрачный портрет.
Я в памяти своей который год
Ношу его, храню его, как скряга.
Тумана папиросная бумага
Его от повреждений бережёт.
Но обращаюсь к времени: не рви,
Не мни и не заплёвывай речами
Два вдоха, два прощанья, две печали —
Застывшие мгновения любви.

* * *

Нет, нет, о прошлом — только трепетно,
С улыбкой, светлою слезой,
Случайной горечи сотри пятно,
Незрячий, но и не слепой...

Недобрых слов не говорят,
Года, — фарфоровые слоники, —
На счастье вытянутся в ряд...

О прошлом — только с восхищением,
Как в небо взгляд издалека,
Когда в закатном освещении
Вдруг оживают облака...
О прошлом — как о светлой просеке:
Не затоптать, не накренить,
О прошлом — как о долгом празднике

Воспоминания хранить,
Забыв, в своём преклонном возрасте,
Дойдя до абриса земли,
Что все сегодняшние горести
В том плодородье проросли.

* * *

Повалится снег в феврале
То прямо, то косо,
Потянется след по земле:
Полозья, колёса
И переплетенье путей
Людей и животных.
Но снова их скроет метель
В волнах беззаботных.
Ты видишь, как это легко:
Случайным порывом
Смыть призрачный след облаков
На глянце залива?
Повалится снег, наклоняясь,
Завьюжит, закрутит,
Как будто и не было нас.
Как будто не будет...

* * *

Приходил ко мне сад. Погостил и ушёл.
Приходил ко мне сад — заглянул ненадолго.
Я поставила синюю вазу на будничный стол
И разрежала запах фруктовый на тонкие дольки.
И качалась от ветра раскрытая дверь на балкон,
Нежный запах фруктовый в густой синеве отражался...
Приходил ко мне сад,
Приходил ко мне сон...
Хорошо, что он был и ушёл,
Хорошо, что ушёл и остался.

* * *

Как спокойно, как тихо! Вот здесь и сейчас,
В этом миге, который всё длится и длится,
Умещается жизнь, как короткий рассказ,

Умещается сон, чтоб со мной поделиться.
В этом миге, где «завтра» молчит и «вчера»,
Где луч солнца и лунный сошлись вдохновенно,
Словно два золотых гениальных пера
На странице, с небес занесённой, наверно;
В этом миге, коснувшемся вянущих трав,
Пробежавшем по веткам, ликуя и плача, —
Я пойму наконец: о, мой Боже, ты прав,
Всё должно быть, как есть,
Не должно быть иначе.

* * *

Старой книги без названья,
Песни иль стихотворенья
Я забыла содержанье,
Но осталось впечатление...
Ветра в ветках пересуды
И осенний запах тленья, —
Содержанье я забуду,
Но запомню впечатление...
Дымный воздух в кольца завит,
В печке мёрзлые поленья, —
Содержанье ускользает,
Наплывает впечатление...
Годы...
Где ж ресниц дрожанье,
Сладость чувственных томлений? —
И всё больше содержанья,
И всё меньше впечатлений...

* * *

В стальном свеченье Финского залива,
В неподвижности камней на берегу
Природа притаилась молчаливо,
И небо, задержавшись на бегу,
Остановилось низко над водою,
Деревьев тень вросла в подводный грунт,
И раскрутилось время завитое,
И вечностью проложенный маршрут
Споткнулся в этой произвольной точке
И лишние детали удалил,
Чтоб краткий миг, как запятая в строчке,
Усталость от бессилья отделил.



САВУШКИНА НИНА ЮРЬЕВНА родилась в 1964 году в Ленинграде. Поэт. Первая публикация — в газете «Ленинские искры». Печаталась в журналах «Посткриптум», «Нева», «Северная Аврора», «Зарубежные записки», «Звезда», а также в антологиях «Стихи в Петербурге. 21 век. Платформа», «Петербургская поэтическая формация», «Антология Григорьевской премии» (2010, 2011, 2012), «Собрание сочинений. Поэзия Петербурга. 2010», «Царское Село в поэзии», в альманахе «Паровозъ», в сборниках «Анфилада» (Германия), «23». Автор поэтических книг «Стихи», «Пансионат», «Прощание с февралём», «Беседка» и «Небесный лыжник». Удостоена премии имени Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай» и премии имени А. Ахматовой. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Живёт в Царском Селе.

Нина САВУШКИНА

НЕБЕСНЫЙ ЛЫЖНИК

1

Наш самолёт вознесся, наконец.
Иллюминатор, словно леденец,
расплавился в малиновых лучах,
аэродром качнулся и зачах
и закружился сорванным листом
внизу в потоке воздуха густом.
И мы, с изнанки облака прошив,
глядим, как ослепительно фальшив
знакомый мир с обратной стороны.
В небесной кухне стряпаются сны
из сумрачного теста облаков.
Они преобразуются легко
в любой предпочитаемый фантом.
Их будто выдувает пухлым ртом
младенец, запелёнатый внутри
зари и мглы. Сверкают пузыри
и тают в соответствии с игрой.
И облака меняют свой покррой.
И лепит за стеклом летучий дым
то бабочку, то льва с лицом седым,
то памятник неведомо кому,
чьи стопы запечатаны во тьму.
Но почему, фантазию дразня,
по небесам проложена лыжня?
Не лайнер, пролетающий внизу,
похожий на железную слезу
на атмосфере делает надрез,
а человек, что некогда исчез
из жизни, с нею больше не знаком,
за горизонт шагает с рюкзаком.
И снег под ним непрочен и красив...
Вдруг, воздух лыжной палкою пронзив,
он вздрогнет, словно подмигнув спиной...
Что он узрел за рваной пеленой?

2

...Что хочет разглядеть он в мутном иле
внезапно приоткрывшейся реки?
Внизу под ним снуют автомобили —
в чешуйках металлических мальки.

Деревья там, как водоросли, вьются,
как ракушки сверкают скаты крыш.
Там водоёмов треснувшие блюдца,
фабричных труб заржавленный камыш.

Для тех, кто в нижних плещется озёрах
и загорает меж прибрежных трав,
исчезнувшее имя — только шорох.
Порой, случайно голову задрав

они заметят в облаках рисунок —
бесформенная куртка, капюшон.
Небесный лыжник понаделал лунок
и сверху наблюдает, отрешён.

Он понимает — мир многоэтажен.
Осталось ждать на третьем этаже,
когда навстречу вынырнут из скважин
те, кто внизу о нём забыл уже.

ВЫИГРЫШ

Когда была в моде лёгкая хрипотца,
болгарский «Опал», опавший овал лица,
ты был идеал... И пухлая канарейка —
уютная дама, с которой едва знаком,
в пиджак твой вцепилась розовым коготком,
да так и застряла... Теперь ускользнуть посмей-ка, —

непризнанный гений, свободолюбивый бард.
Небесная манна в перхоти бакенбард
почудилась ей, едва очутилась рядом.
С тех пор ты её невзначай на пути встречал —
оставленный тыл, постылый ночной причал,
привал на развилке промежду раем и адом.

Она тебя всё ждала, западню ткала,
взлелеяла образ, вставила в зеркала,
где спаяны вы, как в пазле, друг друга возле,
когда променад по западным авеню,
визиты подданных друзей, податливых ню,
затормозит внезапный цирроз, тромбоз ли.

Ей лет через тридцать грезится при грозе,
что ступни свои, опухшие, как безе,
пихает в ботинки и движется к той больнице,
где идол поверженный к ней одной обратит
свой профиль обледенелый, как сталактит,
и больше не улетит, и мечта продлится.

Ты кашляешь, реагируешь на бульон,
слегка оживлён, ей кажется, что влюблён,
сложилась в конце марьяжная лотерея.
На лестнице чёрной скрипит целлофан бахил,
её провожает сражённый, хромой Ахилл.
Уходит она, от выигрыша дурей.



ИЗМЕНА

Проснёшься, нарвёшься своей утончённой ноздрёю
на приторный запах подаренной мужем сирени,
и — сердцебиенье, смятение в душевном настрое.
Итак — уравниенье с одной неизвестной: «Нас — трое».
Итог — подозренье в измене.

С тобою он важен, небрежен, с ней — нежен, вальяжен.
Трещат отношенья, что были прозрачны, стеклянны.
Лишь похоть, как нефть, из глазных изливается скважин.
Разрушен красивый марьяж, безнадёжно изгажен.
Наружу всплывают изъяны.

Пока эдельвейсом ты произрастала над бездной,
то плоть утончала, то творческий дух источала,
супруга манило в объятия той — неизвестной,
не слишком духовной, местами — излишне телесной
иное — земное начало.

Тебе удавались эссе, экзерсисы, этюды,
а ты все букеты, буклеты, конфеты, награды
сложила к ногам ренегата, зануды, Иуды...
Теперь между вами — соперницы груди, как груды,
как горные гряды...

Ты — на высоте, и тебе там не то чтобы тошно,
но душно, как в туче, пока не пробило на ливень.
Ты тише голубки, но есть голубиная почта.
Клейми же неверных небесным помётом за то, что
их рай примитивен!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ

Тётка жуёт в купе, яйцо колупая, —
чаю стакан, салфеточка голубая,
хлебные крошки в складках юбки плиссе,
вечное напряжение на лице.

Поза статична, выработана годами —
руки на сумке, ноги на чемодане.
Бархат купе, потёртый, как кошелек,
тёмен, поскольку свет за стеклом поблёк.

Сзади за стенкой струнные переборы.
Песни поют там барды, а может, воры.
Голос, срываясь, словно листва с куста,
шепчет: «Конечная станция — „Пустота“».

Площадь в ларьках — гниющая, как грибница.
Вырвана жизнь отсюда, а запах длится —
выстуженный, грибной, печной, дровяной,
пепельно-горький и никакой иной.

Тётка лежит в купе, как ручка в пенале.
Снится ей, будто рельсы все поменяли.
Очередная станция проплыла.
Не угадаешь — Мга или Луга... Мгла.

Ждёт её муж на станции столь же дикой
с ржавой тележкой и пожилой гвоздикой,
в потных очках и вылинявшем плаще.
Вдруг не пересекутся они вообще?

Утренний выход грезится ей иначе —
мрамор ступеней, пляж, кипарисы, мачо,
будто бы поезд вдруг повернул на юг...
Падает с полки глянцевого покетбук.

МОЛИТВА

Господи, пошли мне жизнь вторую,
или первой новый вариант.
Я свое нутро отполирую,
словно лакированный сервант.

Я из жизни исключу ошибки,
всяческих соблазнов избегу,
чтобы мыслей золотые рыбки,
вспыхивая, плавали в мозгу.

Вместо неопрятного овала
к подбородку стёкшего лица
выточи мне то, что чаровало
всех бы — от начала до конца

этой новой, непохожей жизни.
голос дай — чтоб нежен и певуч,
плоть мою расхристанную втисни
в оболочку хрупкую, как луч.

Помоги мне избежать уценки,
прикоснуться к таинствам позволь,
а из сердца, словно гвоздь из стенки,
выдерни заржавленную боль...

Но учти, Господь, что я такая —
обновлённый облик заселив,
как червяк, инстинктам потакая,
словно белый прогрызу налив

сызнава в душе своей загажу
яблочную сладкую дыру,
из-под век на мир просыплю сажу,
перестану жить, но не умру.

Из родимых пятен, червоточин,
из зрачков, в которых свет потух,
выползет — ленив и скособочен —
застарелый, неизжитый дух.

Буду я весьма живой персоной
лезть в глаза, вторгаться в диалог,
и тебя в молитве полусонной
умолять о третьей жизни, Бог.



СКОБЛО ВАЛЕРИЙ САМУИЛОВИЧ родился в Ленинграде в 1947 году. Поэт, прозаик, публицист. Публиковался в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Финляндия, Франция, Эстония и др.) литературной периодике. Публиковался в журналах «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Новый журнал», «Урал», «Номо Legens» и др. Автор книг «Взгляд в темноту» (1992), «Записки вашего современника» (2011), «О воде и воле» (2015), «За тайной печатью» (2017). Член Союза писателей С.-Петербурга. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (Москва, 2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013 и 2016), дипломант литературной премии им. А. А. Ахматовой (С.-Петербург, 2015).

Валерий СКОБЛО

* * *

«Ценность текста, пойми, ну, совсем не в избытке смысла», —
Говорит мой приятель, известный поэт N. N. —
«Ты расставь по строке иероглифы, знаки, числа,
А читатель, известно, любитель таких подмен.

Он доищется смысла, когда его нет в помине.
Голова у него — генератор шальных идей.
Бутафорский контекст — как муляж в дорогой витрине,
Но ведь так в головах у почти что и всех людей».

Как люблю я такой разговор за холодной водкой,
Без закуски почти — чтоб до сути дойти верней.
Я киваю и пью, не проделав попытки робкой
Возразить... объяснить... Зачем мне менять коней

На такой переправе... Когда уже вышли сроки...
«Ну, пора по домам!..» — и приятель толкает в бок.
Я плетусь до метро и сплетаю слова и строки,
Наделяя их смыслом, насколько позволил Бог.

* * *

Интересно, Он видит меня,
Мне лицо залепляя порошей,
Мне под ноги позёмку гоня,
Отвлекая от рифмы хорошей
Отвлекая от мыслей дурных,
Отводя, сколько может, пороки?
...Если так — и не слал бы шальных.
Если так — Сам давал бы уроки.

...Снег летит, облепляя дома.
Я бреду, неприкаянный житель.
Что же значат Твой снег и зима,
Я пытаюсь понять, Вседержитель.

А кому-то ведь Ницца и Крым...
Впрочем, я на Тебя не в обиде.
Я бреду по сугробам сплошным
И с задумкою о суициде.

Ты припас бы пургу к январю...
Хоть и зван — не успею к обеду.
Он молчит, тот с кем я говорю...
С кем пытаюсь затеять беседу.

Вот — метель, и вот маленький я —
Повелитель ветров и туманов,
Продираюсь сквозь ткань бытия,
Полный всяких несбыточных планов.

* * *

И задумавшись — в кои веки —
Я не сразу в ответ скажу,
Кто мне ближе — древние греки
Иль соседи по этажу.

Очевидно совсем не сразу
За слепящим мельканьем дней,
Кто роднее мне — техник по газу
Иль мечтательный Одиссей?

Головою бейся о стену,
Избавляясь от всех химер:
И про Трои и про Елену,
И — про нас — написал Гомер.

Притворяясь, что европеец,
Улыбается мне хитро
Мой случайный попутчик-ахеец,
С кем я еду сейчас в метро.

Чей он лучник и чей лазутчик?..
Что ж, укрой его, жилмассив.
И — удачи тебе, попутчик,
У ворот семивратных Фив.

* * *

Посмотри мне в глаза... За мгновение до... Я не стану
Называть то, что может случиться потом... Не могу...
Я вдохну этот воздух... впитаю легчайшую прану,
Чтобы сил мне хватило отпор дать достойный врагу.

Это родина, детка... Глоток самогонной сивухи,
Это запах Невы, скрип трамваев, дрожанье струны...
И дворовые драки до первой кровянки — «стыкухи»...
Пацаны и шпана с Петроградской родной стороны.

Трубы хлебозавода... Дыхание свежего хлеба...
Школа 44 и наш хулиганистый класс.
Как мы бились за место под солнцем, за краешек неба —
До последнего вдоха... до первого крика «атак!»

Тополя... их срубили потом... как шумели их кроны...
Прибежишь со двора и, как скошенный, рухнешь в кровать.
Нет у тех пацанов. И тебе не прорвать обороны
В поединке с собою... Ну, с кем же ещё воевать?

Все порезы и раны, поверь, зарастают корою,
Нет ни вечных разлук, ни утрат... Распадаются дом и гнездо —
Между Карповкой, Ждановкой, Малою Невкой, Невою.
Посмотри мне в глаза... За мгновение до... За мгновение до...



* * *

У меня есть мистический опыт,
у тебя есть мистический опыт,
у него есть мистический опыт...
у кого его нет? — назови!
Это против реальности ропот,
это шиканье, хлопанье, топот,
богоборческий, может быть, шёпот...
В общем, что-то такое в крови.

Никуда не ведущая дверца,
заблуждение чистого сердца,
иногда — это бред иноверца...
В общем, чистый Серен Кьеркегор,
Сведенборг, Сен-Мартен или Бёме
и десяток имен — этих кроме...
Дело, кажется, в некоем надломе,
ни к чему здесь вопросы в упор.

Есть мистический опыт у двери,
у окна... Дело, право не в вере,
не в утрате её, не в потере...
Дверь потрогай, взгляни за окно.
Как сомнения наши нелепы,
ведь отлично покрашены склепы,
по ТВ — про духовные скрепы...
Если честно сказать — не смешно.

ULTIMA THULE

Изнанка этого мира вовсе не такова,
Чтобы завывать, застонать... это всё мимо... мимо.
Но ведь, с другой стороны же, как подобрать слова,
Если изнанка и в принципе невыразима?

Даже уж если ты в это тонкое дело вник
(Что, между нами-то, вряд ли возможно, заметим),
Тянет забормотать, перейти на истошный крик...
Даже на визг... Ну... и чего ты добьёшься этим?

Что ты ни скажешь, рано... все бесполезно пока:
Честные люди тебя заподозрят в обмане.
Адамом Фальтером звали хитрого чудака —
Там у Набокова... в «Незавершённом романе».

Честный и умный не раз: «Бред, — повторит, — ерунда,
И не такие пытались надуть... Обманули?»
Прав... Как же он прав со своим здравомыслием, да.
...ULTIMA THULE, — прошепчешь ты, — ULTIMA THULE.

* * *

Гнева, ненависти, презрения
Не должно быть в стихах. Совсем.
А ещё, с моей точки зренья,
Уж совсем злободневных тем.

Нет, поэзия мне не выше
Нашей жизни кажется... Но
Тот, кто хочет, меня услышит:
Всё в подтекст уходить должно.

Наши страсти, и пыл, и чувства
Подождут и месяц, и год...
Есть иные цели искусства,
Чем как звать к топору народ.

Не к добру актуальность эта...
Уж поверьте мне: не к добру.
И не в том задача поэта,
Чтобы штык приравнять к перу.

Укрываю на самом дне я
Родники, что родили стих.
К вам пробьётся он тем вернее,
Чем я глубже упрячу их.

* * *

Я был третьим, четвёртым... десятым в строю...
Как о том повествуют былины.
Я теперь обелиском чугунным стою
И с цветами у ног — в годовщины.

Когда будущий маршал шёл мимо солдат
И отсчитывал выпавший номер,
Я не помнил, за мною Москва... Ленинград...
Или тут же застрелен и помер.

И когда он стрелял прямо в грудь или лоб,
Не дрожала рука генерала,
Не его бил в строю злой предсмертный озноб —
Это часть в лихорадке дрожала.

Да, мы дрогнули... да, отступили тогда,
Но в атаку не он вёл тогда нас.
С трехлинейкой на танки — вот наша страда —
И патронами — пригоршней на нос.

Ни к кому не предъявишь посмертный свой иск,
Чохом списаны все наши беды.
Павшим смертью одною — один обелиск...
И цветочки в ногах — в день Победы.

* * *

Приходить в себя я начал понемногу
Утром и в больнице. А вокруг Мир Божий.
За окном увидел стройку и дорогу.
Как это прекрасно, ощутил всей кожей.

Даже если в марте грязь и слякотища.
Если даже утро шепчет: либо — либо...
Ночь не стала вечной — будет день и пища,
Кашка, постный супчик — всё одно: спасибо.

Злая санитарка, глупая Татьяна,
Я не писал мимо: я постельный строго.
Как хорош Мир Божий, нету в нём изъяна...
Утекает мимо дальняя дорога.

Это пазл сложился только на исходе,
Только в тяжелой жизни позднем результате.
Мир прекрасен Божий... Я не плачу вроде...
В нём одна прореха — это я в палате.



СКОРИКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА родилась в Ленинграде. Поэт, автор книг «Птичий век» (2003), «Золотая нить» (2007), «Виадук» (2015). Публиковалась в сборнике «Автограф», в журналах «Звезда», «Нева», «Иртыш-Омь».

Анастасия СКОРИКОВА

* * *

Воробушек, мой современник,
нас время поймало в силок.
И ты, оперившийся пленник,
чирикать обязан весь срок.

Нам будущее не годится,
и в прошлом себя не найдём.
Ведь сказано: будьте как птицы,
живите сегодняшним днём.

Здесь кажутся лишними краски
и трелей концертный набор.
Костюмчик обтрёпанный штатский
мне нравится твой, крохобор.

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Не люблю я это место. Дворик...
Каменная замкнутость беды —
замка строгий четырехугольник.
Верю, были под землёй ходы.

Вёл один к признанию и к славе,
а другой, быть может, в Летний сад.
Не успел воспользоваться Павел.
Шарфом был задушен, говорят.

Стала крепость клеткой. Рядом птичка —
бронзовая пташка у реки.
Шапка-пыжик, жёлтые петлички:
пили водку здесь ученики —

правоведы, но, исполнив роли,
сгинули во тьме, ослабив гнёт.
Чижик-пыжик в выборе не волен —
он-то никуда не упорхнёт.

* * *

О жизнь, — черновик, неудачная книга,
где жанры смешались и логики нет!
Вот стих о любви, вот рассказик с интригой,
а вот — публицистики будничны бред.

А ты бы хотел, чтобы стала романом:
пророс и раскрылся гигантским тюльпаном
в тумане нирваны задуманный план,
вплетались в контекст золотистые нити,
связуя пространства далёких событий,
и в завязи слова таился обман.

* * *

Ещё без листьев лес, кустарник невысокий —
пространство распахнувшихся пустот,
но в веточках уже гуляют соки.
Ни холодно, ни жарко. На пороге,
в преддверии пленительных красот,
стоишь на подсыхающей дороге:
куда она, бог знает, приведёт.

Апрель — чистилище, весенняя химчистка.
И небо цвета сброшенных бахил
так высоко и так безумно близко.
Подснежник на припёке — как записка —
послание оттаявших могил —
привет от Персефоны. Столько риска —
к себе вернуться, стать таким, как был!

* * *

Морозными ночами отучала
зима от счастья. Как же я скучала
по вам — лиловый бархатный шафран,
подснежник чахлый, обморочно-бледный
и одуванчик в золоте победном,
мне кажется, вы — зрения обман!

Я лишняя, похоже, в этом парке.
Охрипли две вороны в перепалке.
Ещё лежит в овраге чёрный снег,
но зацвела просохшая дорожка.
Ожившая букашка или мошка
намного ближе здесь, чем человек.

Древесный, травянистый мир послушный,
цветов, травинков крошечные души,
прохладу суеверную храня,
в раю живут поныне: это чудо
сквозь дымку вёсен всех глядит оттуда
на грешников — на птицу, на меня.

ПЕРВАЯ БАБОЧКА

Апрельская пьянчужка, наркоманка —
капустница — как жалок твой полёт!
Но взгляду оторваться не даёт
от трепыханий, раз такая пьянка,
и всё плывёт.
От солнца обалдевшей, ей бы в нише
понежиться, пригревшись, но опять
где верх, где низ нет времени понять:



воздушная волна уносит выше
летать.
Быть первой трудно, надо быть с приветом.
На радость, на беду,
какая сила выбросила в это
пространство ослепительного света,
оставила одну?

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Живёшь на даче, думаешь о насущном,
тянешься к свету, жадно ловя лучи
вместе с люпином синим, уже цветущим,
с лилией рыжей, сделанной из парчи.

Напрочь себя забыв, продолжаешь ловко
существовать, такая, какая есть,
слившись с округой, чувствуя прыть, сноровку,
будто не две руки, а четыре, шесть
словно, прозрачной воздуха, легче пуха,
выросли крылья. Хлопая по плечу,
ты говоришь: «Слтай-ка за пивом. Мухой».
И я лечу.

* * *

Мне доктор что-то бормотал про почку
и прятал взгляд. Мне было жаль врача.

Лев Лосев

Закроешь дверь, закончив разговор.
Бессильны сострадание и жалость.
Сбежишь по тусклой лестнице во двор,
взгляд за спиной почувствовав — укор,
за то, что распрощалась, не осталась.

Агония, багровый сердцепад
осин и клёнов. Этот жар последний —
природы пламенеющий закат —
столь не похож на личности распад,
смятение, тоску души в передней.

Пьянит осенний запах, как бальзам,
глотнёшь ещё и пробормочешь строчку.
Здесь так красиво и так страшно там,
где жизни не покинуть ветхий хлам,
не хлынуть, прорывая оболочку.

* * *

Промокший август. Светло-серая листва.
И отовсюду, где бы нынче не был,
уйти стараешься, скрываясь от родства
с готовым вниз сорваться тучным небом.

Но никуда не убежать. Не ты один
приговорён безрадостным пейзажем:
стоит с поникшей головою георгин,
уставясь в землю, трепетен и влажен

лиловый выщел шёлк и аромат потух.
Над старой кровлей ласточки последней
полёт пронзительный захватывает дух, —
отбиться от своих рискуя, медлит.

ИЗАБЕЛЛА

Не вино «Изабелла» чернеет в бутылке —
это южная ночь с бездной звёздной у дна.
Зашумит снова Чёрное море в затылке,
если выпьешь одна.
Я, когда молодая была, выпивала
и, любовью наполнена, видела сны,
где плыла, заплывала, себя забывала.
Но итоги теперь неясны.
Где-то в недрах буфета, средь всяческой дряни,
затерялась бутылка, стоит уже год.
И с гостями открыть почему-то не тянет,
ну а тот, с кем хотела б, не пьёт.

КРОНШТАДТ

Здравствуй, Кронштадт, что-то сдали нервы.
Низкое небо довлает, плющит.
День безысходный, тяжёлый, серый;
духом бунтарским влекомы тучи.
Кто здесь последний и кто здесь первый —
видится сверху плывущим лучше.

Пристань, казармы, завод, кутузка...
Полон когда-то тревожным гулом,
нёс историческую нагрузку
город, не созданный для прогулок.
Нынче затишье. Унылый, узкий,
даже есть Надсона переулок.

Мутный канал, старых стен короста...
Где же величия позолота?
Вооружён только с виду остров:
три корабля и курсантов рота.
Чувствуешь боль отщепенца остро,
словно обломок морского флота.

* * *

Шесть утра. На затемнённом фоне
светел двор, никто не наследил.
Выпал ночью снег. Как на ладони
ты стоишь, оторопев, один,
впопыхах посеребрённый сбоку
мёртвым светом укрупнённых звезд,
поднесён к всевидящему оку.
Вышел первым — так с тебя и спрос.
Что тут скажешь, всё давно не ново,
лишь земля кругом белым-бела.
Отвечая, выдыхаешь слово —
бархатное облачко тепла.



СОКОЛОВА КАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВНА
родилась в 1992 году в Санкт-Петербурге. Поэт,
переводчик, член Союза писателей Санкт-Петербурга
и Союза российских писателей. Стихи публиковались
в журналах «Звезда», «Нева», «Северная Аврора»,
«Аврора», «Зинзивер» и других. Лауреат премии жур-
нала «Звезда» (2011, за первую публикацию). Лауреат
отечественных и международных литературных
конкурсов. Обладатель Гран-при международного
поэтического конкурса им. К. Р. Трижды обладатель
государственной стипендии для молодых авторов
от Союза российских писателей. Автор книг «Двое-
стишие» (2012), «Инициалы» (2013), «Без возможности
реванша» (2016), «Тайная дверь. Узбекские народные
сказки, притчи и басни» (2018). Воспитывает двух
дочерей.

Калерия СОКОЛОВА

КРЕПОСТЬ

В детстве снега было много-много.
В декабре мы вылепили крепость.
Рассудили: на крутой горе пусть
Высится — огромна, круглобока.

Каждый день мы думали с тревогой:
Как там крепость? Каждый день мы шли к ней.
И она от новогодних ливней
Весь апрель не делалась пологой.

Всё никак не выбраться в тот лес нам,
Всё не выбрать день, погоду, повод.
— И зачем? — подсказывает опыт.

Каждый занят нужным и полезным.
Главное, что снега стало мало.
Кажется, почти совсем не стало.

* * *

Памяти Н. К. Ващенко

Одиннадцать лет подряд мы виделись раз в неделю.
Ты ругала меня, а я усмехалась втайне
Дырке под мышкой, стоптанным тапкам, вытертому портфелю
С нотами тридцать шестого года издания.

Кто-то украл из класса Шопена и Мендельсона,
Может быть, просто — сдали в макулатуру,
А заодно и тебя попросили — надменно и отрешённо,
Сказали: свободна, нашли другую кандидатуру.

Ушла в рваных тапках последней своей дорогой.
И оттого, что больше ни одного урока
С тобой, такой смешной и такой одинокой,
Не будет, — становится жутко и одиноко.

* * *

Так вот зачем мне музыка дана:
Сказать вам то, чего бы не должна
Жена и дважды мать,
О чём преступно думать, но не петь,
Себе твердить: не повторится впредь,
И снова повторять.

Так вот зачем мне музыка дана:
Сказать, что жизнь — куда ни кинь — одна, —
Транжирь или жалеи,
Что мы попали в мёртвую петлю,
И что я вас без памяти молю:
Смелей, смелей, смелей.

РОМАНС О РЯБИНЕ

Нынче я не ёлка, а рябина.
Терпкой страстью сердце налилось.
По тонам — от яшмы до рубина —
Можешь прочитать меня насквозь.

Обломай — янтарные на славу
Уродились ягоды любви.
Затеряйся в кроне кучерявой
И кору, как платье, разорви.

Жизнь вдруг стала красочной и длинной,
Словно каждый миг её — не зря,
Несмотря на вяжуще-рябинный
Привкус середины октября.

СТИХИ О РАХЬЕ

Рахья — небольшой посёлок под Санкт-Петербургом,
который с некоторых пор вдохновляет автора.

I. К ИРИНОВСКОМУ ДУБУ

Беззаботно на санках катались с горы.
Поднимались, дышали у старого дуба.
Был он грустным свидетелем нашей игры
И глядел, как в пенсне, через чёрные дупла.

Мы наверх не смотрели, вдыхали мороз,
Каждый — розовощёк, и азартен, и счастлив.
Думал дуб: «Сколько их по корням пронеслось,
А потом уходили и не возвращались».

Но один снял перчатку, погладил кору
И подумал в ответ: «Если я не приеду,
Ты чуть-чуть пошуми обо мне на ветру
И в другую ладонь передай эстафету».

II

Про то и пишу, что рядом:
Снимая туман болот
Слепящим фотоаппаратом,
Над соснами солнце встаёт.



Про то и пою, что мило:
По тёмной воде поплыть...
Какая же в мышцах сила!
Как хочется, хочется жить.

III

Чайки раскричались над карьерами —
Не угомонятся до зари.
От дорожной пыли буро-серыми
Стали даже лёгкие внутри.

Кровососы населяют просеки:
К вечеру свирепствует мошка,
Комары подтачивают носики,
Клещ грозит куснуть исподтишка.

Сторонясь нетрезвого водителя,
Оступаясь в яму на бегу,
Я так долго это ненавидела,
Что теперь отвыкнуть не могу.

IV

Есть на свете тропинка одна —
Зверобой да кипрей.
Вся осинником обагрена
Посреди сентябрей.

Погляди: это я на лыжне
Посреди февраля.
У норд-оста в колючей клешне
Голубая земля.

Вот я там же, вдыхая легко
Жёлтой вербы пургу,
В ожиданье — чего ли, кого —
Майским утром бегу.

И опять затяжные дожди
Крутят прежний сюжет.
А на месте меня, погляди,
Никого уже нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ДУШЕ

Н. Рерих. «Весна в Кулу. Кришна»

Пусть тело пальцами озяблыми
Цепляется за ломкий край,
На флейте под цветущей яблоней
Играй.

Пусть разум мучится вопросами —
В тепле быть телу иль в петле,
Что делать многомудрой особи
На сей земле, —

Взмахни крылами ястребиными,
Ликуй, гляди во все глаза:
Вокруг вершины за вершинами —
И небеса.

* * *

Хоть в первый миг, хоть во второй,
Хоть тем последним днём
Пошла бы, бросив всё, с тобой,
Скажи мне ты: «Пойдём».

Мой ангел — пусть он без крыла, —
Мы с ним давно семья, —
Я и его бы предала,
Скажи мне ты: «Моя».

Не знаю, кто из них: то ль Бог,
То ль чёрт меня хранил,
То ль это и была любовь,
Но ты не говорил.

ИНОЕ

Где это доброе старое время?
Где это счастье теперь?

К. Р. 1886, Павловск

Ваши ступени, сады, перелески, —
Спутники грёз молодых, —
Всё обветшало. Цветные обрезки
Только остались от них.

Той мишурой мы шуршим по дорожкам,
Не замечая в упор
Солнца, спешащего Вашим окошком
В зал, где камин и ковёр,

Где Вы грустите за старым роялем,
Мучась весь век без вины.
Вздых озабочен и взор опечален
Нам в суете не видны.

Зря своего не тревожьте покоя:
Мы за себя постоим,
Будет нам счастье, да только иное.
Будет и время иным.



СТРАТАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ родился в 1944 году в Ленинграде. Поэт, эссеист. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. Автор одиннадцати книг стихов, изданных в России: «Стихи» (1993), «Тьма дневная: Стихи девяностых годов» (2000), «Рядом с Чечнёй: новые стихотворения и драматическое действие» (2002), «На реке непрозрачной: книга новых стихотворений» (2005), «Оживление бубна» (2009), «Смоковница: стихи разных лет» (2010), «Граффити: книга стихов разных лет» (2011), «Иов и араб: книга стихотворений» (2013), «Молотком Некрасова: книга новых стихов» (2014), «Нестройное многоголосие. Стихи 2014–2015» (2016), а также шести книг, изданных за рубежом: *Buio diurno* (2009; на рус. и ит. яз.), *Graffiti* (2014; на рус. и ит. яз.), *Niedaleko od Czaczenii* (2001; на рус., польск. и чечен. яз.), *Graffiti* (2015; на рус. и польск. яз.), *Muddy River* (2016; на англ. яз.), *Les Ténébres diurnes* (2016; на

рус. и фр. яз.). Стипендиат Фонда И. А. Бродского в 2000 году. Лауреат Царскосельской художественной премии (1995), литературной премии имени Бориса Пастернака (2004), премии журнала «Зинзивер» (2009), премии имени Н. В. Гоголя (2010), премии Андрея Белого (2010), поэтической премии «Anthologia» (2010), премии Кардуччи (2011, Италия), премии VIII Международного фестиваля «Биеннале поэтов» «Живая легенда» (2013).

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ

СУВОРОВ

КОМПОЗИЦИЯ В 2-Х ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ 1

Российский Марс. Большой орёл. Огромен.
Водитель масс. Культурфеномен.
Полнощных стран герой. Находка для фрейдиста.
Он ждёт, когда труба горниста
Подымет мир на бой.
«Вперёд, вперёд, за мной —
к вершинам Альп, к победе!
Суворов светом Божиим осиян».
Идёт на бой страна больных медведей,
Поёт ей славу новый Оссиан.

Но вождь филистимлян Костюшко
Воскликнул: «О братья, смелей
Пойдём на штыки и на пушки
Сибирских лесов дикарей,
И Польша печальной игрушкой
Не будет у пьяных царей.
И будет повержен уродец,
Державная кукла, палач,
Орд татарских полководец,
В лаврах временных удач».

А воитель ответил:
«Неужто не справимся с норовом
Филистимлян?

Кто может тягаться с Суворовым?

Я — червь, я — раб, я — бог штыков.
Я знаю — плоть грешна и тленна,
Но узрит пусть, дрожа, Вселенна
Ахиллов Волжских берегов.



Пред ним травой дрожала Порта
И Понт от ужаса бледнел,
И вот огнём летя от Понта
На берег Вислы сел.

Был выбит из седла
Костюшко — рыцарь славный.
И Польша замерла,
когда рукой державной
Схватил татаро-волок
И в рабство поволок.

«Виват, светлейший князь! —
Ура! — писал Суворов, —
К нам прибыли вчера для мирных договоров
Послы мятежников — сыны сего народа,
Их вероломная порода
Смятенью предалась».

Что мятежей кумир? —
Нелепость их гордыни.
Агрессор любит мир.
Он угощает ныне
Трепещущих врагов.
Он гибель Праги чтит
Слезой, что краше слов и горячей обид.

Греми, восторженная лира —
У россов помыслы чисты,
И пьют из грязной чаши мира
Россия с Польшей — две больных сестры.

Так плачь и радуйся, орёл,
Слезливый кат и витязь века,
Но если гром побед обрёл,
Что пользы в том для человека?
Он для грядущих поколений
Лишь сором будет, палачом,
Суровый воин, страшный гений,
На кляче с огненным мечом.

За то, что царства покорял
Во всеоружии жестоком,
Осудит гневный либерал,
Ославит фрейдович намёком.

Суворов спит в могиле бранных снов,
В сиянии покоя,
А дух его парит — преступный дух героя,
И кавалера многих орденов.

ИЗ ЦИКЛА «БИБЛЕЙСКИЕ ЗАМЕТКИ»

Кто это был, я не знаю.
Мне имя его не сказали.
Был ли Он Некто, похожий
на меня, на отца и на брата,
Или Ничто бестелесное
приходило в то время на землю?

Был я тогда малолетком.
В Мицраиме, земле потогонной,
Были на стройке рабами
 братья мои и отец.
Злобно глумились над нами
 фараоновы слуги — прорабы,
Мы ненавидели их.

Помню, в священную ночь
 спать не ложились в бараке,
Месяц, как жертвенный нож,
 тихо сиял над землёй.
Помню как ели ягнёнка,
 обжигаясь, давясь от волненья,
И вот тогда, наклонясь,
«Слышишь, — сказал мне отец, —
 За бараками нашими, слышишь —
Ходит Господь по земле,
 наказуя народ мицраимский,
Первенца в каждой семье
 убивая мясницким ножом».

Был я тогда пацанёнком,
 и что было дальше — не помню.
Помню лишь где-то в пустыне
 наше становье, шатры.
Скот, подыхающий с голоду,
 ропот усталых, озлобленных.
«Кто Он? — спросил я тогда. —
 Для чего Он увёл нас оттуда?
Что Ему надо от нас?»



ТАНКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ родился в Ленинграде в 1953 году. Поэт, прозаик. Стихи публиковались в журналах «Аврора», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый мир», «Таллинн», и других журналах и альманахах, переведены на английский, французский, китайский, польский, литовский, словацкий языки. Проза — в журналах «Аврора», «Искусство Ленинграда» и других, в коллективных сборниках, переведена на французский и эстонский языки. Автор семи книг стихов: «Имя снега» (1993); «На том языке» (1998); «Жар и жалость» (2003); «Дежурный свет» (2008); «Монолог» (2013); «Хвала и слава» (2013); «Шесть свечей» (2015, ил. Арона Зинштейна). Лауреат премии имени А. Ахматовой (2004), премии имени И. Бродского (2013), фестиваля «Этим летом в Иркутске» (2013). Член Союза писателей С.-Петербурга (председатель секции поэзии), Союза российских писателей.

Александр ТАНКОВ

СИРЕНЬ

Сирень свирепа и сыра.
Растерянно стою
В разверстой пропасти двора,
В потерянном раю.
Здесь было счастье. Здесь текла
Волшебная река,
Вся в брызгах битого стекла,
В ручьях черновика.
Вся жизнь была черновиком,
Весь мир весной дышал,
И неба облачный обком
Не всё за нас решал.
Я был со всеми заодно,
Я время торопил,
Трофейных сумерек вино
Я в переулках пил.
А если это был не я —
Зачитанный до дыр,
Как кожу старую — змея
Я сброшу этот мир.
Я позабуду все слова,
Оставив только всхлип,
Твоё свидетельство, листва,
Рукоплесканье лип,
Твоё смущение, сирень,
Всё то, чего мы ждём,
И крыш гремучая мигрень
Откликнется дождём.

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

Плачь, Иеремия, плачь!
Горечь согбенных плеч,
Эхо осенних дач
И электричек речь.
Ночи лиловый плащ,
Ржавые гвозди звёзд.
Плачь, Иеремия, плачь!

Смерти сценарий прост.
В ночь погрузи весло —
Горечь, сухой тростник.
Тридцать веков прошло,
Словно единый миг.
Жизнь пролетит сквозь ночь,
Как полустанка свет.
Прочь, Иеремия, прочь!
Милости павшим нет.
В сердце стучится прах.
Все повторится вновь:
Ненависть, алчность, страх,
Кровь, Иеремия, кровь.
В кляксах ночных огней
Мир равнодушный спит.
Смерти самой страшной
Стыд, Иеремия, стыд.
Плещется о причал
Темной реки вода.
Каждый, кто промолчал,
Не избежит суда.
В чьих же руках ключи?
Кто иудей, кто грек?
В каждом из нас звучит
Плач вавилонских рек.
Так не стыдись, не прячь
Жалкую влагу глаз!
Плачь, Иеремия, плачь!
Небо услышит нас.

ПЕСЕНКА О ЕВРОПЕ

Лежишь, желтея, за Карпатами,
Вздыхаешь горестно во сне,
Теснясь равнинами покатыми,
Давясь холщовыми закатами
В вагонном угольном окне,
И нету золотого ключика
От шкафчика проводника,
И солнце осени колюче, как
Во сне отцовская щека.
Глядишь в окошко всё печальнее
И оплываешь, как свеча,
Как безразмерное отчаянье
С чужого, барского плеча.
Скрипит дремучая уключина,
Внизу, под сваями, темно.
Всё круто, говоришь, всё включено,
Всё схвачено, всё включено,
И поцелуй за пленницей,
И в цыпках нежная рука...
Ты, как была, осталась пленницей
Жестоковыйного быка.
К перрону подойдёшь, усталая,
Железно лязгнут буфера,
Спасибо, скажешь, пролистая я,
Но эта рукопись стара,
Всё поздно, говоришь, отстала я
В своём сверкающем вчера.



ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

По улицам пьяная вьюга шаталась,
Заглядывала в проходные дворы,
В подъезды ломилась, под дверью шепталась,
Глядела, не видно ли где детворы.
В окно постучали в четвёртом часу
И голосом спившегося управдома
Метель прохрипела: Я знаю, вы дома!
Откройте, я важные вести несу!
Мария в испуге взглянула в окно,
Отдёрнула тонкой рукой занавеску.
Снаружи к окну прилепили повестку
И сделалось, словно в пещере, темно.
Позёмка ткала золотую парчу,
Трепала кудель и мотала свой кокон.

Иосиф сказал: «Отойдите от окон,
Залейте огонь, погасите свечу».
А вьюга, солёные хлопья крутя,
Ломилась в окошко с двумя понатыми
И выла: «Мария! Мария, не ты ли,
Не ты ли баюкала в люльке дитя?»
Предместья листает столетняя тьма,
Трещит пулеметного страха гребёнка.
«Мария, Мария! Отдай нам ребенка,
Быть может, тогда уцелеешь сама!
В дремучих снегах не отыщешь тропы,
Звезды не увидишь за струпьями вьюги.
Мария, покайся! Мы — Ирода слуги,
За нами — великая правда толпы!
Ты знаешь, что мы называем добром:
Единый и праведный гнев миллионов,
Горящие книги и рёв стадионов,
Хрустальную ночь, кишинёвский погром.
Ребёнок твой встанет в ликующий строй,
Вольётся в слепую народную массу.
Товарищ по крови, товарищ по классу —
А ну, рассчитайся на первый — второй!
Нам — грохот парадов, вам — стены тюрьмы,
И бегство в Египет в товарных вагонах,
Огарки свечей и овчарки в погонах,
Пески Кызыл-Кумов и лёд Колымы...»
Метель понемногу стихала. Светало.
Иосиф пожитки в узлы увязал,
Присел на дорогу и молвил устало:
«Волхвы заблудились. Пора на вокзал».

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ

Когда нас вели, подгоняя пинками,
Штыками и окриками. Когда
Нас гнали к вокзалу, как гонят стада
На бойню, как нас изгоняли веками —
Мы в землю смотрели, чтоб вас не смущать.
Ты хочешь, чтоб мы научились прощать?
Из окон, дверей, чердаков и подклетей
Нам что-то кричали, махали руками,
Чтоб мы не забыли позор и вину,

С которой сроднились за двадцать столетий.
Тот вёз на тележке больную жену,
А этот шатался под тяжестью гроба.
Скрипач неуверенно трогал струну,
И ребе лелеял свою седину,
И чей-то костылик торчал из сугроба.
Когда нас вели, то с обеих сторон
Дороги толпа понемногу редела:
У каждого было какое-то дело,
И сделалось небо черно от ворон,
И колоколом безъязыким гудело.
И в этой редющей быстро толпе
Был некто невидимый, в чёрной кипе,
В разбитых очках, в пиджаке от Lacosta.
Он выкрикнул, выбросив в небо кулак:
— Ты выдумал сам Колыму и Гулаг,
Ты сам запустил лохотрон Холокоста,
Чтоб нами детей христианских стращать!
Ты хочешь, чтоб мы научились прощать?

Когда мы дошли до окраин Москвы,
Средь нас оказались случайно волхвы.
Один наклонился над спящим младенцем,
Вздыхнул умиленно и сделал козу.
Другой прошептал, вытирая слезу:
— Мы шли в Вифлеем, а попали в Освенцим!
Кому же теперь поднесём мы дары —
Слоновую кость, золотые шары
На воском закапанной ветке еловой,
Мешок сухарей и полфунта махры,
И ладан, и мирру, и хлеб из столовой?
Нам в спину смотрели чужие дворы,
Крестились, и мёрзлые бревна пилили,
И поровну наши пожитки делили.
И вскоре наш путь завершился — когда
В морозной ночи засияла звезда.

ПОЭЗИЯ

Александр ТЕНИШЕВ
Валерий ТРОФИМОВ
Елена УШАКОВА
Александр ФРОЛОВ
Валерий ЧЕРЕШНЯ
Лариса ШУШУНОВА
Валерий ШУБИНСКИЙ
Нора ЯВОРСКАЯ
Вадим ЯМПОЛЬСКИЙ
Михаил ЯСНОВ

6

Санкт-Петербург — Россия



ТЕНИШЕВ АЛЕКСАНДР ФЕТЕХОВИЧ родился в 1971 году в Ленинграде. Поэт. Окончил Петербургский машиностроительный институт в 1994 году. Стихи печатались в журналах «Звезда», «Нева», «Гвидеон» и др. Победитель первого поэтического конкурса им. Иосифа Бродского (в номинации: «Свобода — пятое время года», 2016).

Александр ТЕНИШЕВ

* * *

Фортуны колесо поскрипывает, да-с.
По прихоти своей на миг иных возносит,
Не так же ль вдруг, тряхнув вас резко, вверх подбросит,
Наехав на ухаб дорожный тарантас.

Так, не успев взлететь, упали вы как раз,
И пусто в кошельке, и манной каши просит
Один ботинок ваш, и сухо произносит
В ломбарде растовщик: «Мой друг, в последний раз!»

Что хочет мне сказать, свергая, вознося,
Мой милосердный Бог, увы, понять нельзя.
Заботливо на всё набросил он узорный

Покров, чтоб я искал мучительно ответ,
Ведь матерьяльный мир, непрочный, иллюзорный,
Мешает видеть мне слепящий правды свет.

БАЛЛАДА О БЕЛОМ КОРОЛЕ И ПИКОВОЙ ДАМЕ

Белый шахматный что-то строчит король
Роковой ненаглядной пикóвой даме.
В среду звал её в Дублин, в четверг в Тироль.
Перенёс всё на пятницу в Амстердаме.

Он ей пишет: «Мадам, я опять врасплох
Был застигнут слепой безотчетной страстью.
Я, шутя, вам отдал бы последний вздох
И, сложив полномочья, расстался б с властью.

Но трубит труба, песнь войны груба.
Смерть костяшками бьет в барабан походный.
— Пуля дура, крадущая жизнь, слепа!
Новобранцев так утешает ротный.

Но взовьётся шрапнелью пробитый стяг!
И как только трубач протрубит победу,
Я сменю белый китель на белый фрак,
И, надев галстук-бабочку, к вам приеду».

А она отвечает ему: «Мой друг,
Я устала от вечных интриг в колоде.
Лицемерие только царит вокруг,
Это кажется мелким в большом походе.



А пиковый король лишь играет роль
Короля и как смерти туза боится.
О, скорей бы хоть в Дублин, скорей в Тироль,
В Амстердам, я устала от всех таиться.

Шёпот челяди мелкой едва ль тошней
Грубой лести слуги короля — всё гадко.
Смерть однажды потянет за нитку дней
Жизнь, как пряжа, распустится без остатка».

* * *

В человеке всё должно быть, разумеется, прекрасно:
И борода, и походка, и, естественно, пенсне.
Ведь «прекрасное пленяет навсегда». Над ним не властно
Разрушительное время, вот что думается мне.

Что важнее — оболочка? Трость, костюм, цилиндр, цепочка?
Разумеется, на брюхе и швейцарские часы.
Или лёгкое дыханье, изумительная строчка?
Что, спрошу я, перевесит, если бросить на весы?

И, конечно, в этом споре ум с душой в извечной ссоре.
Что первично? Что вторично? Прав Сальери или Моцарт?
Не утешит это знание, не излечит нас от хвори,
Как графиня не подскажет сочетание нужных карт.

Но финский знал ваятель всё, о чём сего податель
Вновь в «забавном русском слоге» здесь дерзнул поговорить.
Я надеюсь, что проявит милосердие мой читатель,
Добродушно улыбнётся перед тем как пожурить.

* * *

Как в пышных саркофагах спят стихи
В старинных, но роскошных фолиантах.
Они так старомодны и тихи,
Как вдетые цветы в петлицы франтов.

Их пафос и наивен и нелеп,
Но сквозь восторг банальный брезжит что-то...
Какой-то тусклый свет чужих судеб.
Прощальная и жалобная нота.

И кажется, не только шрифт, слова
Подвыщвели, и смысл первоначальный
Забылся, только музыка жива...
Мотив неуловимый и печальный.

Но прелестью истёртой старины
Забывшие пленяют выраженья.
На первый взгляд в них нету глубины.
Поверхностное, лёгкое скольжение.

Но высказано всё и до конца
Тем языком, которым изъяснялись
Ещё вчера влюблённые сердца,
Клялись в любви и смерти не боялись!

Витиевата приторная речь,
Но есть в ней эта искренность без глянца,
Которая позволила облечь
Жар страсти в строчки русского романа!

* * *

Радуйся любому пустяку,
Самой малой малости.
Севшему на Бентли мотыльку
От усталости.

Кружеву брабантскому брегет
Незначай прикрывшему.
Солнцу в бриллиант слепящий свет
Перелившему.

Радуйся пылинке дальних стран
На каррарском мраморе.
Не к чему, выходит, ехать нам
Больше за море.

Сколько несравненной красоты
В мире окружающем.
Полно, не завидуй больше ты
Отъезжающим.

* * *

Поэзия ничуть не умерла.
Я не устану вам твердить об этом
Из тупика, из пыльного угла
Петрополя. Не надо быть поэтом.
Довольно видеть, слышать, обонять
И, назначая новое свиданье,
Рассматривая родинку, понять:
— Вот пресловутый центр мироздания!

Все царства, сокрушённые цари,
По эллипсам летящие планеты
Вокруг тебя вращаются — смотри!
В твоём зрачке я вижу хвост кометы.
И там на самом доньшке найду
Ключ к тайне тайн, как астроном смиренный
К твоим устам покорно припаду
И окажусь на том конце вселенной.

* * *

В провинции вы сильно не у дел,
Но именно в провинции душа
Вещей вам открывается и тел
Небесных, но небыстро, не спеша.
Что, впрочем, и понятно, ибо тут
Является охота наблюдать,
Но, как песок сквозь пальцы, дни бегут...
Недолго мотыльку в сених летать.
Осенние прозрачны вечера.
Пока огарок теплится свечи,
Все мысли вдруг на кончике пера
Сойдутся, словно в фокусе лучи.
Чтобы летучий росчерк мог явить
Всю прелесть ускользающей красоты,
Неповторимый миг остановить
Внезапно, как настенные часы.



ТРОФИМОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1960 году. Преподаватель, супервизор, практикующий психолог-аналитик. Публиковаться начал в середине 1980-х годов. Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Смена», «Звезда», «Знамя», «День и ночь», «Идель», коллективных сборниках и антологиях. Автор книг «Зимний город» (1991), «Заклинание» (2006). Победитель Всесоюзного конкурса одного стихотворения (1988), лауреат премии журнала «Звезда» (2012), финалист конкурса «Поэт года 2014», «Поэт года 2015», лауреат литературной премии «Слово — 2015» в номинации «Поэзия».

Валерий ТРОФИМОВ

ЗАКЛИНАНИЕ

Дождь, дождь, небесная вода,
Не исчезай неведомо куда!
Пускай звучит беспечно, наобум
Твой сонный шелест, монотонный шум.

Уколы лёгких капель на лице
И фонари в дымящемся венце,
Коньки и рёбра поржавевших крыш
И желоба, в которых ты журчишь

Листву, траву в предзимней нищете,
Деревья в неприглядной наготе,
Безумный мир, галдящий вразнобой,
Скиталец-дождь, преобрази собой.

Дождь, дождь, не умолкавший днесь,
Настанет час, и ты исчезнешь весь,
Упав на землю с пасмурных высот,
Пройдя сквозь почву до грунтовых вод.

Теки, струись, как слёзы из-под век.
Тебя заменит неизбежно снег,
Но всё ж, покуда живы мы, давай
Накрапывай, шурши, не умолкай.

Мне как-то легче от того, что ты
Летишь сюда с угрюмой высоты,
Рассыпавшись на тысячи частиц,
Летишь ко всем, не разбирая лиц,
Не разбирая — куст иль человек...
Дождь, дождь,
жизнь — смерть,
снег, снег.

ХОЛОДНАЯ ЗИМА

В сползающей в пропасть стране
Гудит первобытная вьюга...
Здесь жалость к своим не в цене,
И люди не любят друг друга.

Здесь многие смотрят, как в ад,
В убогую нищую старость.
Мошною трясёт плутократ,
Клюют холоуи, что осталось.

Из красной кремлёвской стены,
Из пепла грозят комиссары
И новой Гражданской войны
Угрюмо пророчат пожары.

Во всю евразийскую ширь,
Красуясь манишкой кровавой,
Как флейта, скликает Снегирь
В поход за военную славой.

Но скифских холодных ночей
Могущество невосвратимо,
И поезд по корке степей
Проносится станции мимо.

Забытые идолы спят
В безлюдных предгорьях Урала,
И ели да сосны молчат,
Качая ветвями устало.

ПУСТЫННЫЕ СНЫ

Спасибо за пустынный сон,
Прибежище в давящей будней.
Я в нём укрыт и сохранён.
Чем жёстче явь, тем сон безлюдней.

В том сне меня почти что нет.
Как персонаж второстепенный,
Я зыбок, виден на просвет,
Охрану обманувший пленный.

Мои нечёткие следы
Теряются в глуши окраин.
Я серой дождевой воды
Попутчик, шорохов хозяин.

Во сне не в силах я толкнуть
Тяжёлой двери и сюжета.
И рвётся на клочки мой путь,
Как отсыревшая газета.

Я даже имя не всегда
Своё прилипчивое помню.
Гудят в потёмках провода...
А имя, имя здесь на что мне?

Ландшафт вокруг не городской,
Не деревенский, не богатый,
Не бедный... С примесью морской
Стрекочет дождь подслеповатый...

Нельзя от тяжести спасти
Живых, от казни заземленья!
И я, как крест, готов нести,
Себя с момента пробужденья.

Но есть мерцающий провал,
Размытый мраком промежутков,
Куда я скрытно совершал
Побег из каземата суток.



* * *

Холодно в старых домах.
Из дому в дом по ночам
Чеховский чёрный монах
Носит сиротства печаль

Ходит — не помнит к кому,
Хочет — не знает чего...
Может, и в нашем дому
Кто-нибудь видит его.

Выдохлась дня беготня.
Верхний не слышен жилец.
Господи, слышишь меня
В тихом биенье сердец?

Третью уж тысячу лет
Нечем гордиться — уныл
Путь в никуда, Твой Завет
Времени не изменил.

Дремлет расколотый мир,
Трещины всюду видны.
В утлых объёмах квартир
Плавают пятна Луны.

И электрический свет
Где-то снаружи стоит —
Жизнью земной не согрет,
Вечности ветру открыт.

Снег шебуршит о стекло.
Стынут, сутулясь, дома.
За ночь дворы замело,
О подоконник крыло
Ранняя ранит зима.

СНЕГ В ГОРОДСКОМ САДУ

Шёл первый снег в туннельном мраке сада,
Как странник, возвратившийся домой,
Неплотный, словно зыбкая преграда
Меж осенью и близкою зимой.

На крылья голубей, на спины уток,
На воду темнокожего пруда
Ложился он — в короткий промежуток
Между сейчас и больше никогда.

За дозой шли два быстрых наркомана,
За смертью шли, смеялись на ходу.
Пруда дымилась резаная рана,
И отражались призраки в пруду.

Шла околотком городская стража
И обходила пафосных бомжей.
Им все равно, им умереть не страшно —
Среди аллей, помоек, гаражей.

Я не постиг ни мудрости, ни силы,
Уже не ждал поддержки и похвал.
Протяжный звук, тоскливый и осиплый,
Со дна существования вставал.

Стоял старик морщинистый у входа,
Качал седой клокастой бородой
И повторял поверх голов народа:
— О космос мой, о бедный космос мой!

ВОЗРАСТ ДОЖИТИЯ

Здравствуй, племя...

А. С. Пушкин

Облачный возраст дожития,
Медленный путь в небеса.
Чудные чукче наития
Шепчут ветров голоса.

Тундра покрыта скелетами,
Мёртвые — тихий народ.
Делится время секретами
С теми, кто долго живёт.

Гнус мельтешит в нетерпении —
Крови попив, умереть.
Мимо проходят олени и
Жизни последняя треть.

Древний обряд эвтаназии,
Начат обратный отсчёт.
Небо Европы и Азии
По-над костями течёт!

Милая (если ты милая),
Яду мне, что ли, налей.
Буду лежать без могилы я
В тундре, как белый олень.

Буду клубиться с туманами
И подлетать к городам.
Шкуру с пустыми карманами
Родине бедной отдам.



УШАКОВА (НЕВЗГЛЯДОВА) ЕЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА — поэт, филолог.

Автор книг стихов «Ночное солнце» (2017), «Метель» (2000), «В потаённом регистре» (2006), «Лиственная тень» (2012). Лауреат премии журнала «Звезда» (2005), награждена медалью А. С. Пушкина (2017).

Елена УШАКОВА

* * *

Старый китайский коврик над маминым диваном,
Сколько себя — столько его помню,
Висел надо мною всё детство, не стану
Всего вспоминать, бог с тобою, мой дух бездомный!

Китаянка над ним трудилась, пекинская ткачиха,
Чёрные бусинки плескались в раскосых глазах-полосках.
О, нежные сумерки, щекой ворс трогаю, так тихо-тихо
И спокойно, как до рождения, — спасибо таблетке крохотной,
плоской.

Жгучая рана исчезла куда-то, укатила,
Словно на поезде уехала — всё дальше, мельче, о, подольше
Прошу, покачай меня, милосердная сила
Неподвижная, ласковая, piano, dolce...

Ошибка произошла, ошибка! Когда? Давно! Прежде,
Чем я успела задвигаться в байковых тряпицах;
До первого испуга, пока сладко сомкнуты вежды,
До света, до первого звука если б можно было остановиться!

А потом уже поздно, поздно, потому что нет спасения
От любви и страха, от любви и страха.
Тщетны адвокатские Твои приёмы: растения
Многоцветные и многострунные увещевания Баха.

МЕТЕЛЬ

*Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой.
Небо слилось с землею.*

В этих местах за окнами, утепленными ватой,
сегодня, как полтора века до нас с тобою,
белые вихри снуют, и злая бежит позёмка,
и мы, россияне (термином стало слово
необычное, произносимое нынче с вызовом, громко),
медлительные сердцем дети града Петрова,
словно скучаем — лень, неохота; всё равно не победишь погоду,
не добраться из Ненарадова в Жадрино,
его величеству морозу в угоду
сидим у телевизоров и следим в декабре нежадно
за сюжетами: вот депутат округляет око,
пускаясь в рискованное придаточное, как в путешествие.

Метель! Слабую мысль прогрессивную сносит далёко,
трудно продвигается, с барьерами, словесное шествие.
Где, где спасительное сказуемое с подлежащим?
Память о слове, только что произнесённом,
занесло: змейкой въётся бессмысленно жужжащей
одиноким союз, вырванный порывом ветра бессонным.

«Подали ужинать. Сердце её сильно забилося». По всем
расчётам,
давно пора уже быть ему дома; подгоняют тревогу
электронные часы с комода, и лифта напрасное гудение
нехорошее что-то
нашёптывает, накачивает, или, как сказал Солженицын, указы-
вая всем дорогу, «нагуживает». Чего только не выносит наш
могучий...

Однако можно же позвонить, задерживаясь!
Какие только не бывают несчастные случаи!
Нет-нет, воображение, крепись, пожалуйста, коней придерживая!

Вьются, вьются под фонарём белые оводы,
не то пляшут, не то срываются в бегство отчаянно.
С пятого класса знаем, что причины сражений и поводы —
разные.

Они разные неслучайно.
Сколько скрытых мотивов поведения, тщательно таимых,
как причудливы извивы чувств и в радости, и в позоре!
Тень Фёдора Михайловича реет даже в Токио, даже в небе Рима,
Словно разнесли инфекцию звёздчатые снежинки-инфузории.
Но мы, не правда ли, устойчивы и податливы, как наши
рябины, ивы,

И такими должны быть, друг, наши сыновья и дочери.
«Бурмин побледнел и бросился к её ногам» — как счастливо!
Гений человечности светит нам сквозь снега и строчки!

* * *

Лучше спущусь в лифте, чтобы не проходить лишний раз мимо
Заклеенной бумажным прямоугольником, с печатью, квартиры,
Забыла её номер, по Фрейду, видением настойчивым теребима,
Забыла, потому что хотела забыть. Половичок перед дверью,
помню, застиран.

Я столкнулась с этой женщиной, выходя из дома, у парадной,
Она гуляла с собакой; «здравствуйте» громкое, неформальное,
Поскольку мы не были знакомы, предупредило: что-то неладно,
И я заглянула в лицо, пробегая, печальное.

Оно было каким-то несобранным и свидетельствовало об отказе
От борьбы, рассеянное, не способное оказать отпора,
В отличие от обычных лиц, а я обходила лужу, избегаю на
сапогах грязи,
Но что я могла сказать? Тут нет основания для укора.

Вид неблагополучия слишком знаком... Но вот уже странно
закрыта,
Запечатана дверь. Как рассказали всезнающие соседи,
Похоронив мужа, она бросилась с моста Лейтенанта Шмидта
В ледяную осеннюю воду; сюжет для небольшой трагедии.

Одни считают, что самоубийство — слабости признак,
Другие — что наоборот, силы.
Религия осуждает, наши предки не справляли печальной тризны
В этих случаях и на кладбище не давали могилы.



Я думаю, что самоубийство — самый вынужденный вид смерти.
Умирая в болезни, мы даём свое согласие отчасти,
Отдавая постепенно жизненные силы, здесь же — поверьте,
Без малейшего приятия конца — собственное полноценное
участие

В уничтожении... самого себя? Как?.. Стоящего на ногах,
тёплого,
Готового бежать, дышать, смотреть, вертеть... Боже!
Не готового только зависеть, ненавидеть, терпеть... Сердце
замирало и ёкало...
И значит, не было выхода никакого, нигде, никуда — туда —
тоже!

* * *

Вот наш Фёдор Иванович тонкогубый конверты надписывает
с быстрой мыслью, мелькающей, как стайка мальков в воде, —
о войне, о любви, и жену обманывает так нежно: «Кисанька!»
Как это у него выходит или, может быть, у неё? — ерунде
Не придаёт значения, благоразумная. А вот — Афанасий
Афанасьевич — какое смешное имя! Когда
Мы упоминали его в пятом-шестом классе,
трудно было удержаться от смеха (как Котику в «Ионыче»), да?
А уж теперь, присматриваясь серьёзно к бороде, к рисунку век
тяжёлых,
к округлым бровям, густым, что яснополянские леса,
смеёмся, так сказать, умозрительно: как прихотлива природа,
весёлых не упуская моментов, как врезать умеет, честно глядя
в глаза!

Никогда не устанешь удивляться, прикладывая компрессы
к бедному телу,
хотя все знают, а есть такие, что только это и знают, и говорят
с тайным удовольствием: «Что, укола, как Сливкин, захотела?» —
с улыбкою вкрадчивой, выставяя зубов неприятный ряд.

Как сумели все они — и Ф. И., и А. А., и И. Ф., и А. С., конечно,
в болезни приготовить лекарство для нас!
Торопясь, отворачиваясь, две-три строчки ищу прилежно
нужные, нужные, прекрасные без прикрас!
Что-нибудь ещё выужу из памяти косматой,
подумаю хорошенько на свежую голову и пойму...
Ах, это место, называемое жизнью, на квадраты
времени поделённое, — в красноватом дыму!
Вот куда нас забросило. Предвидеть едва ли
было можно. Всё заверчено давно и, видимо, навсегда.
И почти на всё выдаются силы: спросите в Цхинвале.
О, как с гор устремляется к морю всё смывающая вода!

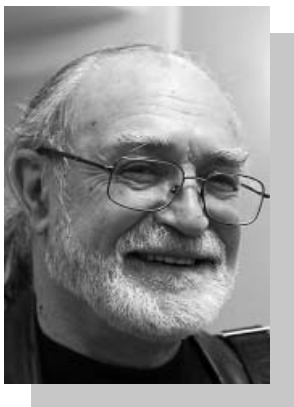
ХРУСТАЛЁВ, МАШИНУ

Алексею Герману

Над разрытым асфальтом, над грудой
Развороченной грязной земли,
Старым скарбом и битой посудой,
Кирпичами — сюда завезли
Для строительства вместе с цементом, —
Над бетонными трубами, над
Проводами, палаточным тентом,

Над столбами, стоящими в ряд,
Из другого какого-то мира,
Сада, неба, вольера, страны,
Из Парижа или из Каира —
Мест, которые здесь не слышны,
Но с их блеском, и плеском, и летом,
И сияньем витражным чужим,
Одаряя, как сказано Фетом,
Эту местность миганьем живым,
В невесомости, в самозабвенье,
Боже мой, как душа, как мечта
Этих брошенных, бедных строений,
Яркокрылая их маята.

И когда я следила неровный
И ныряющий этот полёт,
Спотыкаясь о камни и брёвна,
Я внезапно подумала: вот
Почему так не радуется всё же
Этот фильм, защищаемый мной,
Сильный, дерзкий, на правду похожий,
Отвратительный, страшный, смешной.
Темнота и жестокость суровых
И уродливых лиц объяснят
Нашу злую нужду в катастрофах,
Их позорно-назойливый ряд,
Нищету и убогость пространства,
Котлован, на котором ничто
Не возводится, драки и пьянство,
Вечно поднятый ворот пальто.
Так и есть. Но зачем в эпизоде
Не мелькнуло нигде ни в одном
Что-то дальнее, высшее, вроде
Мимолётности с пёстрым крылом?
А без этой крупницы — простого
И ничтожного, что ли, штриха —
Не простят нам разумного, злого
Пониманья, прозренья, греха.



ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ родился в 1952 году в Ленинграде. Поэт, прозаик.

Автор книг стихов «Обратный отсчёт: из трёх книг» (1993), «Обстоятельства места» (1998), «Для кого этот росчерк?..» (2003), «Час Совы» (2009), «...И другие стихи» (2012), «Безымянный полустанок» (2017), «Избранные места из переписки...» (совм. с В. Капустиной, 2017) и книги рассказов «Жить-то надо...» (2017). Печатался в журналах, альманахах и коллективных сборниках России, США, Англии, Германии, Китая, Украины, Киргизии, Латвии. Стихи переводились на английский, китайский, финский, киргизский, французский языки. Автор текстов песен к мюзиклу «Айболит и Бармалей» (Санкт-Петербургский ТЮЗ, 2001). Член Союза писателей С.-Петербурга и Союза российских писателей. Лауреат премии им. Н. Заболоцкого (2004), премии журнала «Звезда» (2015), дипломант Международного тютовского конкурса «Мыслящий тростник», победитель конкурса

им. Д. Хармса «Четвероногая ворона» (2016). Участник международного конгресса поэтов (С.-Петербург, 1999), различных фестивалей в России и за рубежом.

Александр ФРОЛОВ

* * *

По весёлому морю бежит пароход...

М. Кузмин

По осеннему небу неслись облака.
Пароходик скользил по упругой волне.
Я стоял на корме. И чужая строка,
так легко и доверчиво льнула ко мне.
О, какая свобода! Так плыть бы и плыть,
в этот светлый простор заплывать, заплывать.
И бездумно на воду смотреть, и курить,
и бездумно строку повторять, повторять.
Между тем что-то плёл местный гид. И вдогон
что-то чайки кричали в сквозной вышине.
Мой приятель-прозаик бубнил в диктофон,
свежей мыслью своей поражённый вполне.
Бедных смыслов ловец, мытарь значимых тем,
мне, зевая, к чему твой расчёт деловой?
Разве спросишь у сердца: стучишь ты зачем?
Разве мысли залётной прикажешь: постой!
Если ветер сдувает любые слова,
словно пену с барашков бегущей волны.
И пылают янтарным огнём острова,
и затоны расплавленной меди полны.
Разве счастье поймать? — хлоп в ладоши — и нет.
Что осталось? — непрочное слово твоё
или этот прохладный над плёсами свет.
И свобода. Осенняя горечь её.

* * *

— Ты прекрасна, возлюбленная: мёд и млеко твои уста,
твоя шея — атлас, и зубы белее, чем мел...

...Хочешь, я расскажу тебе про то, кем не стал
в этой жизни, кем не был и уже не буду, чего не успел.
Я не стал астрономом, художником, под парусом не ходил,
не катался на горных лыжах, не сплавлял плоты.
Не построил свой дом, и деревья не посадил.
Ни с немецким, ни с английским не стал «на ты».

— Ты прекрасна, любимая; чёрно-рунный поток с высот
Галаадских стекает, накрывая меня с головой...

...Из двух дюжин профессий, что кормили за годом год,
до конца овладеть не удосужился ни одной.
Ладно, хватит, не буду дальше умножать печаль;
перечисление своих несвершений — такая муть.
Но когда я говорю тебе, что ничего не жаль,
я не то чтобы вру, но так — лукавлю чуть-чуть.

— Ты прекрасна, прекрасна, ни пятна на тебе нет!
Весь мой опыт не сто́ит движения губ твоих...

...Я умею всего лишь худо-бедно связать сюжет,
прошивая слова тонкой нитью смыслов сквозных:
и бессвязный лепет полночный вплести в рассказ,
и беспечный смех, и будильника мерный стук...
И науку любви осваивать заново, как в первый раз, —
бесполезную и самую грустную из наук.

ИЗ ИСТОРИИ ПЬЮЩИХ

— Тот пьёт потому что он пьёт потому что он пьёт...
— А тот?
— Потому что он жаждой духовной томим.
— А этот?
— А этот узнал, что однажды умрёт...
— А ты?
— Ну, за тем, что им тошно и скучно одним.
Тот — первый — пропойца: всю жизнь исковеркал, дурак.
Машину, любовницу, дачу — всё пропил на фук;
он даже Брокгауза продал с Евфроном за так;
жена его бросила, проклял единственный друг.
— А этот, другой?
— Этот с Бродским, представь, был знаком.
Он был молодой, подающий надежды поэт...
— И что?
— Ничего. Испугался поставить на кон
талант.
А теперь ни таланта, ни времени нет.
— А третий?
— А третий... — он страх заливает всерьёз,
кошмар ожидания вечности, но между тем
он втайне желал бы подохнуть, как брошенный пёс,
но так, чтоб совсем незаметно, не больно совсем.
— А ты?..
— А что я? Ну, я пью, потому что я пью;
ещё потому, что духовною жаждой томим,
а также, — и смерть ужасает, и жизнь не люблю...
А главное, — жалко мне этих... куда им одним?..

* * *

Я знал его. Нет, я его не знал.
Так, иногда... на финише запоя...

Он пил. А кто не пил, когда не спал?
А кто не спал во времена застоя?
Три языка... Эпохи Цин знаток...
К тому ж — поэт... яхтсмен... фуражка с крабом...
Ещё молва плела, — он был ходок.
А кто в те годы не ходил по бабам?



...Прошло лет сто. Мы встретились опять
в каком-то, смутно помню, месте значном.
Он мрачен был; всё: «...мать-да-перемать...»
А кто в ту пору не был злым и мрачным?

...Прошло ещё с десятков нудных лет.
Нас потрясла казённая свобода.
Мы с ним сошлись опять. На почве бед, —
не личных, нет, но общих бед народа.
Он рассуждал вполне как дилетант,
но как кипел! (Хотя и неуместно.)
Вот говорят: он был большой талант.
А кто был не талантлив, если честно?

...Потом он подустал и поостыл.
Он запил, внука не пристроив в ясли.
Он не писал — угасли жар и пыл...
А у кого, скажите, не угасли?
Он жаловался всем на всех. Он стал
Невыносим, как постоянный зуммер...
Потом он глупо умер. То есть взял
и умер просто так.

А кто не умер?

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В СОЧЕЛЬНИК

— К вам придут и скажут...
— Кто придёт? Что скажет?
Горьким или сладким по губам помажет?
Кто таков? Откуда? С чем придёт — известно?
Врач? стукач? сантехник? депутат с харизмой?
Бандюганы в масках, участковый местный,
Божий человечек или чёрт акцизный?..
Или же все разом
ввалятся, повяжут...

— Что вы взволновались? К вам придут. И скажут...

— Я и не волнуюсь, и совсем не трушу.
Просто ненавижу, когда водят за нос...
К нам или за нами, иль по нашу душу? —
Ну и пусть приходят — испугать нельзя нас.
пусть орут, пусть даже
дёгтем дверь обмажут...
— Вот и ладно. Значит, к вам придут и скажут...

— Нет, нас не обманешь никаким паролем,
никаким условным стуком в наши двери...
Кто бы ни явился, — мы им не откроем.
Что бы ни сказали, — мы им не поверим.

— Это дело ваше.
Но хоть ставьте стражу, —
всё равно, однажды к вам придут. И скажут...

* * *

Я ещё петушусь, петушусь.
— Я ещё ничего, — говорю.
Я ещё распишусь, распишусь
к сентябрю-октябрю-ноябрю.
Я ещё похожу-поброжу,

пошатаюсь по этой земле.
Я ещё покажу, покажу
в декабре-январе-феврале.
Я ещё хоть куда — хвост трубой!
Не устал ещё, черт побери!
Я ещё молодой, молодой...
А в ответ: говори-говори...

ПРИСТУП СТРАСТИ

Театру «Крепостной балет»

...за «Голуза» горький дым,
за тонких женских рук излом;
за очарованность одним,
разочарованность в другом;
и за щемящий этот шарм,
за ревности и страсти сплав;
за это вот «падам-падам»
бессмертное Эдит Пиаф;
за этот страх, за этот пот,
за топоток ступней босых;

и за отрыв, и за полёт
над рябью взлётной полосы;
за танец, сотканный из снов,
за вечный и сквозной сюжет,
где жизнь понятна и без слов.
А смерти нет.

НА ОНЕГЕ

Что наболтано мной, набормочено,
что растрчено попусту слов!..
В ветхом срубе, обветренном дочерна,
подсчитай невеликий улов.
Мальчик с удочкой, помнишь, — на корточки
он присел, и на нас не глядит...
...Ах, уплыть бы с тобой нам на лодочке
в этот сизый размыв впереди.

Тихой жизнью озёрного жителя
жить бы нам, поживать, не грустя.
До соседской добравшись обители,
на полгода остаться в гостях.
Потому что от воли и разума
ничего не зависит порой;
от буксира зависит чумазого
и от тяги его рулевой.

От норд-оста, задувшего к вечеру,
от волны, забегающей в дом.
От тумана по шхерам; от нечего
делать в этом тумане густом.
Разве сети вязать со старанием
да кижанку смолить. Так и жить,
наконец расплатившись молчанием
за бесстыдную страсть говорить.



ЧЕРЕШНЯ ВАЛЕРИЙ САМУИЛОВИЧ родился в 1948 году в Одессе. Поэт, с 1968 года живёт в Ленинграде (С.-Петербурге). Автор поэтических книг «Свое время» (1996); «Пустырь» (1998); «Сдвиг» (1999); «Шёпот Акакия» (2008); «Глассические стопки» (Нью-Йорк, 2013; совместно с В. Гандельсманом), книги эссе «Вид из себя» (2001) и многочисленных публикаций в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Постскриптум» и др.

Валерий ЧЕРЕШНЯ

* * *

Пока ещё ты жив, и на булавку боли
не наколол Господь сознание твоё,
смотри, смотри, — зимой убито поле,
там бьются жизнь и смерть, полощется бельё,
как флаг победы тех, кто к битве непричастен:
зимующей земли, немеющих небес,
а ветра дикий дух, шалеющий от счастья,
сшивает их пути, обрушиваясь в лес.
И ты готов вобрать непредставимость воли,
простёртой белизны скрипучее жильё,
пока ещё ты жив, и на булавку боли
не наколол Господь сознание твоё.

* * *

Не то, что мы хотим,
или хотят от нас,
а то, как мы молчим
в отчаяния час.

Не то, что глупый ум
нашёптывает нам,
а просто — лёгкий шум
листвы по деревьям.

Не то, не то, не то,
что понял и узнал, —
Бог жалуется лото,
и ты в него сыграл:

из хаоса, шутя,
выхватывает миг,
и ты, в него летя,
выкидываешь крик.

ВАРИАЦИИ НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ

Сам скажи о Себе, а я — устраняюсь.
Ну, какой Ты? Стоишь, наклоняясь,
обернувшись к Себе, словно смотришься в воду.
Ну, какой Ты без лирики? Кроме погоды?

Зачеркнём лепет слов, означающих чувство,
это здесь не подходит; оставим искусство
в точном смысле — уменья любого рода,
взглянем прямо в Твои бесконечные своды.

Анфилада пустот.

Пролетая раскрытые двери,
расстояние жизни рассудочным взглядом измерив,
я смиряюсь, Тебе предоставив слово.
Ты молчишь — это более чем сурово.

Это более чем сурово, но это — прекрасно:
если жизнь и её проявления столь же напрасны,
сколь напрасны цветы в индевеющем здании морга,
значит, мы так свободны, что хоть подыхай от восторга.

Ты молчишь, Ты молчишь, и даёшь этим право
на молчание мне и моей безразмерной державе;
где-то там, вдалеке, в леденеющей вспышке зарницы,
мы с Тобой погружаемся в смежные наши границы.

Осязая бесстрастье Твоё, высоту, равнодушие,
я уже никогда не умру от удушья,
задыхаясь вопросом, ответов не узнавая...
Ты свободен совсем, я Тебя отпускаю.

* * *

Обнимаешь руками себя
(будто так ты скорее уснёшь),
только собственной плоти тепло
уверяет ещё, что живёшь.

Заклучив эту тёплую дрожь,
упираясь зрачками во тьму,
«чем ты дышишь и как ты поёшь?» —
выдыхаешь себе самому.

Столько ночи собралось в вещах,
столько здесь над тобой темноты,
что, коснувшись чужого плеча,
удивишься, что есть и не ты.

Так нелепо и хлипко вокруг,
так ведёт жизнесмерть свой помол,
что её жернова не сомнут
лишь того, кто действительно гол.

* * *

Перезрелый звук шмеля и летней дрёмы
после полдня солнце чистых занавесок
запах вымытых полов и «Детство Тёмы»
дочитать бы надо счастье всплеском
подступает к горлу невозможно
жить ходить листать страницы вечер вводит
полный воздух внутривенно и подкожно
слов пока ещё не нужно...



* * *

Если шторы раздвинуть — увидишь лес,
если лес раздвинуть — увидишь море:
что-то детское в этом движении есть,
примиряющее со злом,
успокаивающее в горе.

Так и стоишь, словно кто-то позвал, у окна,
напряжённым чутьём раздвигая преграды,
добираясь до дали последней, до дна,
за которым Ничто,
голый гул водопада.

Этой тёрке пустой только время тереть,
с тонким абрисом дней, с бабушкиным изумлённым идиш...
Если жизнь раздвинуть — увидишь смерть,
если смерть раздвинуть — увидишь...
Увидишь.

ПАМЯТИ ОТЦА

Пока ты был — было кого любить,
можно любить теперь — только зачем, куда?
На пустоту, где ты, волколуною выть
воем, которым в ночи густо ревут суда.

Словно они, не я, мыкают мглу потерь
и наливаются вкрай тёмной водой обид.
Стылая суть вещей прячется, а теперь
вот ещё сон ушёл и пустота болит.

Кажется, я бреду, не оставляя следов,
лёгким до жути стал, небо скользит по лбу.
Ты притворяешься сном, звуком знакомых слов,
маленьким стариком, куче лежащем в гробу.

* * *

Живёшь, живёшь, и обжигаясь
вдруг ужасом, что не живёшь,
а потихоньку умираешься
и полегоньку исчезаешься, —
не человек уже, а дрожь.

Выходишь в парк и утешаешься,
что вроде бы ещё живёшь,
пока глазами упираешься
и уткой с лёту погружаешься
в пруда сверкающую брошь.

Пока на ощупь разбираешься
между «живёшь» и «не живёшь»,
скукоживаешься, смеркаешься,
закатным отсветом теряешься,
дня позолоченного грош.

КАФКА ПИШЕТ...

Кафка пишет письмо Фелиции:
никакой я не знаю традиции,
кроме каторжного ночного боя —
примиренья себя с собою.
Только в этом бою я — воин
и вполне пораженья достоин:
кучки слов, что в утреннем свете
разбегаются врозь, как дети.

Кафка пишет письмо Фелиции:
посмотри, посмотри на лица их —
до чего они заботами источены,
от безумья к смерти скособочены;
что в них истинного, божьего, великого?
в снах своих я превратился в двуликого:
первый в праведном запале бил их палкой,
а второй чуть не заплакал — так их жалко.

Кафка пишет письмо Фелиции:
ты имеешь дело с убийцею
всего здешнего, здорового, зримого,
ради мига необходимого;
я ползу сквозь времени соты,
заполняя плотью пустоты.
Вот, ты пишешь, что любишь меня,
как ты можешь любить червя?

Кафка молит в письме Фелицию:
истончилась жизнь, стала спицею,
пригвоздила к распятию бессонницы,
к бессловесности полной клонится.
Только письма твои и спасение,
конверта богоявление;
ты можешь меня возродить,
ты держишь спасенье в руке,
мне нужно кого-то любить
и быть от него вдалеке.

* * *

чтобы стала уместаться в стих
жизнь-зараза, чтобы ветер стих
злых желаний, этих хищный стай,
в пустоту тебя сжирающих, — читай
эту рукопись живого, эту вязь,
вещи с именем пронзительную связь,
словно взгляда обезумевший челнок
через сердце тянет нитку вечных строк,
через сердце, через нежность, через страх
всю в занозах первозданного, в узлах
слов, растущих отовсюду, как трава,
в той размерности, которой жизнь жива



ШУБИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ родился в 1965 году в Киеве. Поэт, критик, историк литературы, автор биографических книг. С 1972 года жил в Пушкине (Царском Селе), с 1986-го в Ленинграде (Петербурге). Публикуется с 1984 года. Участник группы «Камера хранения» (1980-е гг.), один из кураторов сайта «Новая Камера хранения» (2002–2015), куратор литературных клубов «Утконос» (1995–2001) и «Локус» (2011–2012). Вёл литературную студию в Музее Ахматовой (2002–2007). В эти же годы читал спецкурс по современной поэзии в С.-Петербургском университете. В разные годы удостоивался премии журнала «Новый мир», премии им. Самуила Маршака, был финалистом премии «Просветитель» и премии Андрея Белого, получал стипендии Центра писателей и переводчиков на острове Готланд и университета Карла-Франца в Граце (Австрия). Автор книг стихов: «Балтийский сон» (1989;

в составе сборника четырех поэтов «Камера хранения»); «Сто стихотворений» (1994), «Имена немых» (1998), «Золотой век» (2007), «Вверх по течению» (2012), «Рыбы и реки» (2016). Автор книг «Николай Гумилев: жизнь поэта» (2004; 2015); «Михаил Ломоносов: Всероссийский человек» (2006; 2010; 2015); «Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру» (2008; 2015), «Владислав Ходасевич: чающий и говорящий» (2011; 2012), «Ученые братья» (2011), «Гапон» (2014), «Приключения Гумилева, прапорщика и поэта» (2014), «Азеф» (2016), «Игроки и игралища: избранные статьи и рецензии» (2018).

Валерий ШУБИНСКИЙ

ПОВЕСТЬ

А у здешней ночи узок ноготь,
Царскими монистами звенит.
Нижний город — золото и дёготь,
Верхний город — ветер и гранит.

Нижний скажет: полон я цветами,
Лицами, дворами и дождём.
Верхний город шевельнёт мостами,
Улыбнётся старческим лицом.

Нижний город: корабли литые
Уезжают к высохшим морям.
Верхний город: буковки витые
И питьё со смертью пополам.

Нижний город: маленькие горны
Песенки дудукают свои.
В Верхнем — чёрны, безнадежно чёрны
Оскорбленной памяти слои.

На косые стены вечер ляжет,
Воздух в старых башнях зазвучит...
«Ну и славно», — Нижний город скажет,
Только Верхний город промолчит.

Ничего за островом не видно:
Корабли да красные огни.
И смотреть полуночи завидно,
Как всю смерть торгуются они.

БАЛЛАДА

Мы ехали шагом, мы крались в степях,
Мы со смертью за смерть сражались в цепях,
Мы слышали дряхлой зозули стон
И чернозёмной цикады звон.
И пуля вошла комиссару в пах
И растаял в воздухе он.

Лиманские ветры-порожняки
Его прозрачной плоти куски
Разнесли по круглой женской стране
(Треугольной на взгляд извне)
А душу не выпили двойники,
Кочевники по луне.

Ей стыдно стоять у небесных врат,
Ей скучно спускаться в подземный град,
И как клюквенный сок, она пролилась
Туда, откуда она взялась
И где бы осталась, будь на карат
Тяжелее Божий алмаз.

Ей не будет покоя до той поры,
Когда запыхтят на майданах костры
И нас сквозь чёрный квадрат на холсте
Пригласят к заждавшейся высоте
И покажут придуманные миры,
Подведя к запретной черте.

Нас, как грязных детей, не примут в игру,
Но дадут полчаса побыть на пиру,
Угостят сладковатым чёрным мясом
Змея, свившегося кольцом,
И на десять шагов подпустят к шатру
Мертвеца с горящим лицом.

А пока он с ветром поёт без слов
Над любым из дышащих узких рвов,
Куда земля от него ушла
И на дне их ищет тела
Исчезнувших спутников и врагов,
Но находит лишь зеркала.

ОККЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Человечек-тыква, сиречь человечек-буква,
Не скажу как стар, до нас ещё постарел.
Он приходит, когда под землёю идёт расстрел,
И от тамошней крови спелее возрастает клюква
В заповедных болотцах у знающих всё карел.

Он рассказывал сам: «Чухонским метеоритом
Я свалился сюда (мною выстрелила праща).
Век спустя нашли меня, вынули из праща,
Отнесли в участок, велели считать убитым.
И тогда я воскрес, пророча и вереща».

Его знать не знают в домах из пастил бетонных.
То он ставит сети на раков в речке весной
(Он-то помнит, где зимовали они со мной),



То он чёрной крысой фыркнет в дальних промзонах,
То на стенах напишется охрою земляной.

А потом, в ноябре, обернётся крохотным лихом,
Под колёса шмыгнет, о борт ударится лбом,
Разобьётся, поднимется вверх эфирным столбом —
И опять воскресает где-нибудь в месте тихом
С тем же страхом в глазу — то сером, то голубом.

БУФЕТЧИЦА

Буфетчица складками жира покачивает,
Плюётся и вентиль с трудом поворачивает,
И льётся в стаканы сентябрьской страны

Из узкого Марса — багровая жижа,
И олово из расположенной ниже
Сейчас до отказа открытой Луны.

Не жжёт никого безобидное олово,
Но дразнит оно короля полутолого
В окне бронированной ванной дворца.

И хищно нездешнюю песню насвистывая,
Линялый блокнот на ходу перелистывая,
Идёт по мосту человек без лица.

Уже не успели портные и плотники
Дошить из эфира плащи да исподники
И выстроить плахи — они казнены.

Но может, страшнее брусничного морса,
Что льётся в стаканы из узкого Марса,
Прованское масло сентябрьской Луны.

* * *

Кто пишет стихи на незрелых рябинах,
На брошенных в реку грошах,
На рыбах, на их электрических спинах,
На длинных собачьих ушах,

На зеркале мыльном, на шарике пыльном?..
Их уже написали давно,
И мастером это в училище света
В условиях задачи дано.

Кто читает стихи на носках голубиных,
На пышных собачьих ушах,
На рыбьих губах и серебряных спинах,
На непарных бровьих усах?

Заштатный душонок, назначенный тенью
Сухой травяной бахромы,
Прочсть бы не против — да этому чтенью
Не учат в училище тьмы.

Кто писал, тот забыл, кто припомнит, не плачет,
Кто прочёл, тот, вестимо, осёл.
И иного, чем рыбы и реки, не значит
Тот голос и этот глагол.

ДЕВЯТЫЙ КАТАЛОГ

Этот острый городок у реки урчащей,
это горка с на неё надетой тихой чашей,
трамвайчик делает тарах, умельцы точат лёд —
а кто там узкой улочкой под гору идёт?

Кто-кто там идёт? А ну, кто идёт?
Да-да-да, это мы, это мы с тобой!

Эти грязно-белые человечьи улы,
эти на снегу следы пёсьи или гульи,
а кто это в железной коробочке хромои
сюда зимой приехал как домой?

Кто-кто? Кто такой, кто здесь теперь живёт?
Да-да-да, это мы, это ты да я!

Эта яма в камени, и море в неё налито,
эта яма в небеси — горами она набита,
а кто здесь взял за моду идти ничком по дну
и в ясную погоду ловить сачком луну?

Кто у воды? Кто на горе? А, ну, кто там стоит?
Да-да-да, это мы, и там и тут — мы с тобой!

Этот луч, на конце — с длинною заточкой,
эта точка впереди — ну а что там за точкой?
Двести граммов музыки, кучевая вата —
это небо для кого не великовато?

Для кого оно как раз? По мерке оно для кого?
Это небо на двоих, а кто они? — ты да я.

Этот холод машинный, этот жар протонный,
этот столп воздушный двадцатидвухтонный,
эта боль, что зайчиком прыгает по жилам —
для кого все эти ады, скажите мне, по силам?

Кто выдержит их? Кто одолеет их?
Нет, не я, нет, не ты, разве что мы с тобой.

Эта белая полость — зеро без предела,
где тело теряет голос, нет у голоса тела,
где атом рассыпается на вспышки просто так,
где фатум просыпается и достает пятак —

Сейчас он полетит. Никто не знает пока,
что выпадет — решка или орел, кто выйдет — ты или я.

* * *

Т.

жарит солнце жалит овод
растворившийся вчера
и присаживается на обод
на четверть полного ведра
и в растворе формалина
лежит надутая малина
как дитя
век спустя



шахты рош питоны веток
стволов большие кадыки:
это в ночь идут из клеток
единороги и быки
круглая сегодня дата
убежал от нас тогда-то
в этот бор
Шор-а-Бор

нет не жалит и не жарит
только греет этот свет
и никого не провожает
этот свет в не этот свет
где чуть тоньше плодоножки
и отрачивают рожки
овода
навсегда

всё прозрачней и прозрачней
плода несорванного сок
и под рекой позавчерашней
блестит нетронутый песок
звёзды прыгают за тучей
что-то зыблется над кручей
как дымы
это мы



ШУШУНОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА — поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, эссе, литературная критика публиковались в журналах «Звезда», «Нева», «Арион», сборнике «Натуральное хозяйство», сетевых альманахах «Folio Verso» и «Inter Arma». Автор поэтических книг «Радиоприёмник» (2006), «В поисках лирического повода» (2009) и «Новый поворот» (2009). Лауреат премии журнала «Звезда» в номинации «Поэзия» за 2016 год.

Лариса ШУШУНОВА

* * *

Обгорелое дерево —
Словно рыбий скелет.
Здесь — Сосново и Верево.
Там — свобода, тот свет.

Луч, в разрывах мелькающий...
Жизнь — добро или зло?
Иван-чаем пожарище
Вдоль путей поросло.

Этих брёвен обугленных
Жалкий вид, этих ив...
Сколько судеб загубленных...
Как на чёрном красив

Фиолетово-розовый!
Жизнь не терпит пустот.
Мальчик сок абрикосовый
Из пакетика пьёт.

* * *

Сижу, мусолю перевод —
Из Одена. Тоскливо, сыро...
Вечерний млеет небосвод,
Но без толку пылится лира

И сводит брови Аполлон
У переносицы высокой,
И клонит ветку на балкон
Пятнистый клён неподалёку.

А в памяти ещё сидит
Заноза нашей первой встречи.
И время вроде бы летит,
Но — по касательной. Не лечит.

И так же зыбок бледный свет
Над чёрной, точно небо, аркой,
И так же смысла в жизни нет,
Лишь пятна крон, решётки парка.



* * *

Гудит процессор монотонно,
С экрана лезет пошлый вздор,
А ты сидишь, замороженный
Взор упирая в монитор.

Ничтожней всех: того дебила,
Той проститутки наглой. Ждёшь,
Когда посланец шестикрылый
Приставит к горлу острый нож

И рывкнет, заглушая грохот
Разборки пьяной за стеной,
Сквозь женский визг и жуткий хохот,
Как встарь: всё брось, иди за мной

На берега седого понта,
Где серафима глас слышней,
Где в дымке тает горизонта
Черта и облако над ней

Где обретёт твоя обида
На мирозданье — место в нём
И выраженье, злое с виду,
Как мир под медленным дождём.

* * *

Я и вправду чокнутая. Прав
Был ты, на меня махнув рукою.
Диск поставлю с фильмом «Волкодав»,
Чтоб меня оставила в покое

Эта жизнь на несколько часов,
Впрочем, позволяющая мостик
Сходу перекинуть через ров
К *той*, хоть я не мистик и не гностик.

Просто щёлкнуть пультом, и — адьо,
Трудности финансовые, ссоры
С ближними и дальними, — даю
Отдых от себя Тебе, который

Создавая всё, предусмотрел
И возможность выйти за пределы
Круга повседневных встреч и дел,
Мыслей, чувств и собственного тела.

* * *

Помойка, голуби, сугроб,
Собачий хвост поджатый,
Листок афиши с мордой поп-
Звезды, мужик с лопатой
Сгребающий тяжёлый снег —
Вот прибыло работы! —
Таджик, а может быть, узбек?
Студенты, сдав зачёты
Неунывающей толпой

Спешат куда-то мимо,
А я, поссорившись с тобой,
Тоской руководима
Бреду по улице, снега
Повсюду громоздятся,
Как ярко-белые стога...
Какие сны приснятся

В том самом сне, в котором снег
Под звёздами не тает,
Пока таджик его, узбек
Здесь, на земле, сгребаёт...

* * *

Лёд, исполосованный коньками,
Крен на повороте, ветерок...
Надоели Джойс и Мураками.
Есть другие ценности: каток

Скажем, свежезалитый, и лезвий
Пара под ногами, будто нет
В жизни зла, несчастья и болезней,
Будто мне опять двенадцать лет.

Так легко, и тело так послушно —
Помнит все уроки до сих пор.
Кто сказал: она к нам равнодушна?
Как замысловат её узор!

Почерк фигуриста прихотливый —
Петельки, восьмёрки и крючки...
Это мне не выпал-то счастливый?
Просто запотевшие очки

Снять и, подышав на них немного,
Протереть перчаткой шерстяной.
Яркая снежинка-недотрога,
Таешь, не считаешься со мной...

* * *

Как будто мир аннигилировал —
И впрямь не верится, что был.
Лишь снег пространство оккупировал:
Всё валит, не жалея сил.

Шоссе обложено сугробами,
И от машин не увильнуть.
Тут, видно, данными особыми,
Чтобы проделать этот путь

От дома или поликлиники
До школы, — нужно обладать.
А где-то пальмы есть и финики,
Песок и солнце — благодать!

А здесь у нас позёмка дымная,
Идёшь сквозь ветер, шуря глаз...
А где-то есть любовь взаимная,
Не для меня. И не для вас.



* * *

Вырезать снежинки из салфеток:
Ромбы, треугольники, кружки...
Паутины вязь, узор из веток,
Линии изящны и тонки.

Ничего особенного, впрочем.
Но на фоне тёмного окна
Смотрятся красиво, даже очень.
Главное, тут вовсе не нужна

Никакая практика — дебила
Можно при желании научить.
Лишь бы на минуту отпустило
Прошлого привычка ворошить...

Год, как мы поссорились, и в Новом
Будет пусто, судя по всему.
То ли блеском ёлочным дешёвым
Любоваться, то ли в эту тьму

Пялиться, как снайпер из засады,
Разноцветной россыпью огней
Пышно разукрашенную... Рады,
Что страна гуляет десять дней?

Господи, как выдержать всё это —
Десять дней безделья и тоски!
Мир, в сугробы по уши одетый,
Как мы друг от друга далеки...

* * *

Игрушки ёлочные старые:
Фольгой обклеенный картон.
Те времена — они застали их.
Верблюды, зайцы, белка, слон...

Откуда мысли эти странные —
Повеселее, что ли, нет? —
Вожди, глаза их оловянные,
Зубчатых стен кирпичный цвет.

При чём тут плоская Снегурочка?
Засунув руки в рукава,
Всем улыбается, как дурочка,
Хотя по-своему права:

Хоть нет уже в ней блеска прежнего,
Среди цветного барахла
Хрущёва, Сталина и Брежнева
Она смеясь пережила, —

Всё нипочём глупышке, — видишь, как?
Среди блестящей мишуры.
Но ничего не скажет — фигушки! —
Свидетель грозной той поры.



ЯВОРСКАЯ НОРА (ЭЛЕОНОРА) РОБЕРТОВНА
родилась в 1925 году в г. Порхове. Поэт, автор 12 стихотворных сборников: «Здесь мое счастье» (1962), «Движение» (1968), «На вершине чувства» (1972), «Моя единственная жизнь» (1973), «Двое в дороге» (1977), «Между завтра и вчера» (1983), «Два утешения» (1985), «Eilse ja homse vahel» (1986, в переводе на эстонский язык), «Сад без ограды» (1988), «Сквозь миражи, сквозь грабежи» (2001): «Цветы и деревья — мои золотые иконы» (2013), «Капелька человеческого потока» (2014). Почетная грамота Президиума Верховного Совета Эстонской ССР за заслуги в успешном проведении декады эстонского искусства и литературы в Москве от 13 апреля 1957 года. Заслуженный деятель культуры Эстонской ССР (1985).

Нора ЯВОРСКАЯ

* * *

Капелька человеческого потока,
может, Наташа, а может, Ирина, —
где-то идёт, каблучками цокая,
первая женщина моего сына.
Первая в жажде, первая в поиске,
вечная или случайная?
Где повстречается — в парке, в поезде?
Застенчивая? Отчаянная?

Светят коленками в юбочках «мини»
студентки и секретарши...
Ты, что проявишь мужчину в сыне,
моложе его или старше?

Если старше... Смиренно прошу, не воинственно,
слов не прячь сокровенных, нежных,
не вымещай на моём, единственном,
обиду на твоих прежних.
Чтоб не прошла ты, первая женщина,
по душе сыновней, как трещина.
Чтоб не проклял твои он двери,
чтоб, ликуя, сердце — в ребро,
чтобы шёл от тебя и верил,
что женщина — есть добро...

Ну а если моложе... Если
цел ещё и косичек лён, —
я хочу, чтоб в тебе воскресли,
сын мой, рыцари всех времён.
Чтоб от первой взрослой постели
глаза её не опустели.
Чтоб тобой человечность мерила,
в голосишке чтоб — серебро,
чтобы шла от тебя и верила,
что мужчина — это добро.

ПЕЛАГЕЯ

(Из цикла «Бабы»)

Пелагея старая верит
в счастье сына, —
где-то пёхом он вёрсты меряет
до Берлина.



Вести с фронта, как дождь в засуху,
ходят редко.
К Пелагее зашла засветло
в дом соседка.
От дверей, лицом невесёлая,
говорит Марья:
«Слышь-ко, Нинка моя тяжёлая
от твоего парня»...

Пелагея гремит ухватами,
воду грея.
«Мы ведь Нинку твою не сватали, —
говорит Пелагея. —
Мало ли, кто летось хаживал
к твоей Нинке,
вот поди теперь и доказывай,
чьё молоко в кринке.
Что вертелась-то Нинка около,
всякий знает,
только брюхом моего сокола
не поймает...»

С чем пришла к Пелагее Марья,
с тем и вышла,
повернула соседку старая,
словно дышло...

Разрешилась Нинка от бремени
сыном к Пасхе, —
безотцовщина, не ко времени,
не для ласки.
Пелагея в его сторону
глаз не скосит.
Только вскорости похоронную
ей приносят.
На крыльцо Пелагея грохнулась
сбитой веткой,
а потом по-дурному охнула
и — к соседке.

Не здороваясь, мимо Марьи,
мимо Нинки, —
как слепая, руками шарит
в тёплой зыбке.
Из пелёнок сонное тельце
вынимает.
Будто к ране, мальчонку к сердцу
прижимает.

И ещё ни о чём не ведая,
слышит Нинка:
«Ох, кровиночка моя бедная!
Сиротинка!»

БАЛЛАДА О РАСКАЯНИИ

Каину дай раскаянье...
Булат Окуджава

И покался Каин.
и воскликнул: «О боже,
я смущён и раскаян,
всемогуций, ты — можешь

Вот — не жаль ничего,
ни тельца, ни граната, —
оживи моего
убиенного брата!..»

Бог одобрил дары
и злодейство исправил.
Встал из чёрной дыры,
встал из гибели Авель.

Но у Каина всё же
на душе не легчает,
спать спокойно не может,
всё-то он примечает:

Авель словно бы рад
воскрешенью не очень,
смерть забыть свою брат
словно бы и не хочет

словно молча творит
суд свой собственный, то есть...
Чует Каин: болит
пуще прежнего совесть.

Вновь тельца он забил,
жертву богу представил:
«Сделай так, чтоб забыл
о грехе моём Авель!»

Бог явил свою милость:
память Авеля — с течью,
и в лице утвердилось
смиренье овечье.

Каин снова не спит,
не вкушает покоя:
самый Авеля вид
воскрешает бывшее.

Чуть мелькнёт вдалеке,
сразу чувствует Каин
тяжесть в правой руке —
окровавленный камень...

Вновь тельца он забил:
«Сделай чудо, о боже,
чтобы сам я забыл
о грехе моём тоже!»

Бог не принял тельца:
«Грех твой неискупаем,
он — в тебе до конца...»
И расплакался Каин.

Недвижим, на земле
он лежал до заката,
размышляя о зле,
что приемлет от брата.

И не чувствуя сил
для исхода иного,
на закате убил
Каин Авеля снова.



ВОРОН

Ворониха учила сына:
«Как жениться, бери ворóну».
Мол, ворóны-то домовиты...

Ворониху сын не послушал,
мол, вороны — они растрёпы.
Присмотрел себе соколиху.

У неё — соколиные очи,
у неё — соколиное сердце,
у неё — соколиные крылья!

Голова у ворона крúгом,
позабыл, что у соколихи
соколиные и повадки.

Соколиха стала женою:
как стемнеет — в гнездо садится,
рассветёт — улетает к солнцу.

День живут — соколиха в небе,
два живут — соколиха в небе,
три живут — соколиха в небе...

Огляделся в обиде ворон:
у соседей в жёнах — ворóны,
а ворóны-то — домовиты!

Начал ворон тогда ворóну
из своей соколихи делать,
чтобы сиднем сидела дома.

Соколиные выел очи,
соколиное вынул сердце,
соколиные вырвал крылья.

Нацепил ей вороньи перья,
поглядел на неё и... бросил.
Улетел искать соколиху.

* * *

О жизнь, мне оплошностей ты не спускаешь,
как злая хозяйка — служанке пригожей.
Я снова тебя ощущаю всей кожей.
и ты с меня кожу спокойно сдираешь

чтоб новой прикрыла болящую плоть я,
чтоб я поменяла опять оперенье
чтоб я не забыла закон обновления,
чтоб я по земле не ходила в лохмотьях.



ЯМПОЛЬСКИЙ ВАДИМ НАТАНОВИЧ родился в 1983 году в г. Колпино. Поэт, член Союза писателей С.-Петербурга. По профессии юрист. Публиковался в журналах «Звезда», «Зинзивер», «Нева», «Сибирские огни», петербургских литературных альманахах. Автор книг «В первом приближении» (2008), «Взамен утраченного» (2012) и «Дорожный плащ» (2018). С 2006 года живёт в Москве.

Вадим ЯМПОЛЬСКИЙ

САН-МИКЕЛЕ

Сад или кладбище? Бродишь среди цветов —
осы и бабочки возле бутонов вьются,
если устал от докучных своих трудов —
ляг, отдохни, но, прошу, не забудь проснуться.

Стертые буквы на плитах, полдневный зной,
женщины в чёрном, непышные их букеты.
Разве возможен какой-нибудь мир иной?
Этим же Солнцем уснувшие здесь согреты.

Ходишь счастливый и думаешь: правда, там —
всё и продолжится, только на самом деле.
Как не поверить таким безмятежным снам?
Мы уезжаем. До скорого, Сан-Микеле.

* * *

Стоит ли нам огорчаться? Конечно, не стоит,
осень свои желтоватые скрипки настроит
с треснувшим лаком. Аллеи и парки пусты.
Скрипки расстроятся — осень настроит альты.

Слёз не роняя, природа прощается с нами,
солнце осеннее спряталось за облаками,
листья плывут по серебряной глади пруда —
счастье вернётся, мой друг (никогда, никогда)

всё повторяется (всё безвозвратно проходит),
это любовь говорит (это смерть верховодит),
это совсем ненадолго, на время, мой друг,
пауза краткая (перед разлукой разлук).

* * *

Души бесформенны, души безлики,
души зачем-то придуманы нами...
мусор сметают с асфальта таджики,
листья вальсируют между домами.

Не утешай себя жизнью грядущей,
музыкой вечной, посмертной славой:
вот облетевшие райские кущи
между забором и сточной канавой.



Не уповай на бессильное слово,
не говори ни о чём с небесами.
Разве возможно, чтоб всё это снова
кто-то увидел твоими глазами?

* * *

«Береги себя...». Как смешно звучит.
Обопрись о земную ось...
Рыцарь пал — бесполезный отброшен щит,
да и панцирь пробит насквозь.

И молитва, прости мне, язык мой груб,
и надежда — спасут едва.
Это в час смертельный слетают с губ
перемолотые слова.

Это эхо в пустых коридорах дней,
снег растаявший к февралю.
Но никто не тронет любви моей,
и не знает, как я люблю.

* * *

Царь Лесной зовёт тебя из детства,
нет его, но есть стихи о нём.
Это Гёте мрачное наследство
полыхает яростным огнём.

Это конь извилистой тропой
мчится в ночь, не чуя седока.
Это то, что мы зовём судьбою,
впереди уже на два шага.

В старых книгах не о том ли речь вся?
Вечно скачешь, ужасом гоним.
Невозможно скрыться, уберечься,
не расставшись с близким и родным.

Ни покоя, слышишь, ни награды.
Царь Лесной глядит из-за ветвей.
Сердца стук, попавший в ритм баллады,
навсегда сливающийся с ней.

* * *

Стихи исправить ничего не в силах:
посмертный слепок промелькнувших дней.
Они ушли, хотя ты и любил их,
поплёкший мир не сделался светлей.

Ни нежной нотой, ни богатой краской
не стать сонету — выбери любой.
Смешно искать под этой бледной маской
всю гамму чувств, испытанных тобой.

Ни поцелуй, ведь так, ни шум прибоя?
Строка к строке подогнана умом.
Но вот без них, скажи мне, друг мой, кто я?
И что я знаю о себе самом?

* * *

В электричках вся правда, в подземных слепых переходах.
В попрошайках, бандитах, бомжах и безногих уродах.
В нищей старости, злости, обиде, безумии, смерти.
Не в холсте разлинованном, не на скрипичном концерте.
В придорожной траве, почерневшей от смога и грязи,
в пустоватой певичке, на сцене дрожащей в экстазе.
Во вранье бесконечном, в тоске беспросветной и скуке.
В невозможной надежде, глядящей на небо в испуге.

* * *

Григорию Хубулава

Тот, которого нет, говорит с тобой,
дождь смывает с листвы пыльцу,
полог неба то серый, то голубой
обращён к твоему лицу.

Воробьи, нахохлившись, вниз глядят,
перья вымокли под дождём.
Вы чего-нибудь ждёте? Не говорят.
Мы давно ничего не ждём.

Мы бежим куда-то, теряем след,
собираем обрывки фраз.
И какой-то слабый нездешний свет
иногда настигает нас

ниоткуда. Среди суеты мирской,
в самый серый из серых дней.
И стоим, охваченные тоской,
и не знаем, что делать с ней.

* * *

Алексю Беляеву

Хороши мы, Господи, или плохи,
знаешь лучше, а значит, вопрос не к нам,
но собою являем портрет эпохи,
ходим в гости, смотрим по сторонам.

Ухмыляемся, если пошутят плоско,
машинально киваем, услышав бред...
Словно ожили твари с полотен Босха
и собою заполнили белый свет.

Но на лицах наших в минуты боли
проступает правда, бледна, гола,
вот и маски сброшены поневоле,
словно крошки хлебные со стола.

И солгать невозможно, и притвориться,
и надеяться не на что: видишь Ты.
И слетаешь, Господи, словно птица,
слыша голос потерянный с высоты.



ЯСНОВ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ родился в 1946 году в Ленинграде. Поэт, переводчик, детский писатель. Автор девяти книг лирики: «В ритме прибоя» (1986), «Неправильные глаголы» (1990), «Подземный переход» (1995), «Алфавит разлуки» (1995), «Театр теней» (1999), «Замурованный амур» (2003), «Амбидекстр» (2010), «Отчасти» (2013), «Единожды навсегда. Избранные стихотворения 1965–2015» (2016). Кроме того, вышло свыше двухсот книг стихов для детей и переводов, преимущественно из французской поэзии. Составитель и комментатор сборников и антологий французских и русских поэтов. Оригинальные стихи переводились на ряд европейских языков. Лауреат многочисленных отечественных и международных литературных премий, в том числе Премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

Михаил ЯСНОВ

НЕМОЕ КИНО

Когда я уеду из мест,
где жил за полвека до смерти,
что вспомню? Я вспомню подъезд,
под аркой, на Невском проспекте.

Как давний пустык, невзначай,
как кадры немых кинохроник,
я вспомню облупленный рай
размером в один подоконник,

оставшийся чудом витраж,
стеклянные ромбы, как соты,
цветной заоконный пейзаж —
былые края и красоты.

Но как нас тянуло сюда!
Как шли мы легко и упрямо
в потёмки, где нет и следа
вечернего света и гама,

курили, глядели в окно
и ели консервы без вилки,
и пили по кругу вино
из липкой и сладкой бутылки.

Всё помню — и ход на чердак,
и стены, седые от пыли,
и только не вспомнить никак,
о чём мы тогда говорили.

А было же! Точно игла,
кололо, вонзённое ловко,
словечко, и до смерти жгла
открытая настежь издёвка.

Как будто на стыке культур,
входили в словесные стычки
вершающий судьбу каламбур,
цитаты, отсылки, кавычки...

Нас громко гоняли жильцы,
качали вослед головами,
не зная, что эти юнцы
хмельны не вином, а словами.

Казалось, забыть мудрено —
останется с гаком на старость...
А вышло — немое кино.
Все помню, но слов — не осталось.

* * *

Как начинался русский футуризм?
Вот Лиля Брик когда-то написала
о сёстрах Синяковых. Пять сестёр —
девицы эксцентричные — в хитонах,
с распущенными вечно волосами
гуляли по украинскому лесу,
пугая всю округу... Пастернак
влюблён был в Надю, а Давид Бурлюк —
в Марию, в каждую из них —
поочерёдно — Хлебников, Асеев
женился на Оксане... Так возник,
как весело писала Лиля Брик,
в их доме футуризм.

Начало века,
приманивая, было втихомолку
греховно, и за ширмою течений,
литературных школ и живописных,
стояла обнажённая царица
и свой вершила легковесный суд.
Так распадался символизм.

Метался
ревнивый Белый. Шёл к дуэли Брюсов.
И, губы сжав, пророчествовал Блок...

А где же наши женщины, дружок?

Кто будет музе верною сестрой
и оживит безвыходное слово —
безмолвная крестьянка на Сенной
иль карлица, ведущая слепого?

В искусстве сходство каверзное есть
с изысканной и милой одалиской,
что дарит нам высокую болезнь,
смешав её с постыдною и низкой.

* * *

И совсем не для них мастерили кормушку,
но красивые птицы её обошли стороною — поди, вороти!
И слетелись, давя и пиная друг дружку,
мелкота, шантрапа, воробьи.

И вот уже весь деревянный квадратик
заполнен их тельцами ярыми,
и вот не осталось от крошек уже ни следа...
А красивые птицы — одиночками или парами —
вымирают в долгие холода.

Что-то и впрямь со средой происходит,
и в зимних краях огородных,
где ни крупинки съедобной на ветке нагой,
и этих, ничтожных, жаль — и тех, благородных,
и те не даются — и эти всегда под рукой.



И глядя на крохи тепла, что слетают с ладоней отчих,
так и не знаешь в конечном счете, что выбирать, —
то ли всем скопом бросаться на них,
урывая заветный кусочек,
то ль в одиночестве вымирать?

* * *

«Ум всегда в дураках у сердца», — оставил
нам Ларошфуко свое наблюденье.
Как щемит в груди от него! А всё же
сила разума горше, чем сила чувства.
Перевод с французского тем и тонок,
что невольно высь сопрягает с бездной.
Остаётся зазор, объяснимый только
в переводе с русского на небесный.

* * *

Жизнь в поисках утраченного смысла
бессмысленно потратится сама.
Игра ума должна быть бескорыстна —
иначе это ханжество ума.

Так пёс мой, без опаски, без оглядки,
порою то воркуя, то сопя
валяется в углу, задравши пятки,
ни для кого — но только для себя.

КТО У НАС ДЕЛАЕТ ЛИТЕРАТУРУ

Уцелевшие двадцатых,
обреченные тридцатых,
перемолотые сороковых,
задушенные пятидесятых,
надеющиеся шестидесятых,
исковерканные семидесятых,
разобщённые восьмидесятых,
нищие девяностых —

уцелевшие, обречённые, перемолотые, задушенные, надеющиеся,
исковерканные, разобщённые нищие...

* * *

Нет, классик был не прав. И, как ни посмотреть,
но и в несчастьях мы и схожи, и едины:
вдовство, насилие, болезни, пьянство, смерть —
я список общих бед прочёл до середины.

И лишь искусство муз ещё следит, как встарь,
чтоб чистый звук звучал и ритм земной качался,
и всё бубнит, бубнит: ночь, улица, фонарь...
Аптека не нужна: повешенный скончался.

ПОЭЗИЯ

Ася ВЕКСЛЕР
Ксения ДЬЯКОНОВА
Елена ИГНАТОВА
Ольга МАРТЫНОВА
Михаил ОКУНЬ
Борис ПАРАМОНОВ
Евгений СЛИВКИН

7

Международный



ВЕКСЛЕР АСЯ ИСААКОВНА родилась в 1943 году в Глазове Удмуртской АССР. Поэт, художник, дизайнер и иллюстратор книг, ксилограф, реставратор древних рукописей. Окончила Художественную школу при институте им. И. Е. Репина, затем факультет графики названного института. Гравюры хранятся в Государственном музее истории С.-Петербурга, в Государственном музее городской скульптуры, в Отделе эстампов Российской национальной библиотеки в С.-Петербурге, а также представлены в антологии «An Engraver's Globe: Wood Engraving Worldwide in the Twenty-first Century» (Лондон, 2002). Стихи публикуются с 1966 г. в журналах, альманахах, антологиях и интернет-изданиях. Автор книг «Чистые краски» (1972), «Поле зрения» (1980), «Зеркальная галерея» (1989), «Под знаком Стрельца» (1997), «Ближний Свет» (2005), «Ещё не вечер» (2012), «Певческий мост» (2013). Лауреат премии СРПИ (2013). С 1992 года живёт в Иерусалиме.

Ася ВЕКСЛЕР

* * *

Где скрипка — листвою,
где ветром — смычок,
где рыжей скрипачкою — осень,
откроется нехотя ржавый крючок
калитки — и милости просим.

В негромком звучанье осеннего дня
приму я вопросы любые.
Но пусть о тебе не расспросят меня,
а я не припомню, что было.

Зато я узнаю деревья в лицо,
их листья в полёте нелепом.
И вновь после солнца, минуя крыльцо,
вбегу — и мгновенно ослепну.

Я вспомню, что в сумерках лампу зажечь —
и вечер надёжней, чем ставни,
что будет привычно затоплена печь
и дверцу открытой оставят.

Сухая осина подарит тепло.
И будет легко и свободно.
О, если б хоть раз повториться могло
всё то, что зовётся «сегодня».

ПОДЛЕТАЯ К ИЗРАИЛЮ

Над облаками взят курс на снижение.
Гул изменяется. Падают акции
выси небесной по мере сближения
с морем до той вертикальной дистанции,
с коей ничуть не крупней инфузории
судно с тончайшей обводкой для пущего
сходства. А воды настолько лазоревы,
что и нехватишься: жизнь-то упущена.

В пять пополудни, как утром, подёрнута
влажностью даль и сиянье рассеяно.
Роза ветров на бочок перевернута —
запад внизу, а восток вместо севера.



Видимы сбоку и сверху, не узнаны
мысы, плато, острова, акватории.
Где они, страны-враги и союзники?
Бездны эпох до новейшей истории.

Шесть дней — трудам, а свобода субботняя
для любованья содеянным надолго.
Ангельская высота и Господняя —
дар всем дарам. Приземляться не надо бы.
С неба свисая, пространство великое
знать бы смягчённым и очеловеченным.
Умбра, сиена, песок сердоликовый.
Дымка у взгорий. Преддверие вечера.

НАТЮРМОРТ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ*

Стираю пыль. Всю жизнь стираю пыль,
хоть с нею солидарны новь и быть,
хоть я — от сих до сих, а пыль бессрочна,
и победит она, уж это точно,
меня с моим стараньем. Между тем
давным-давно с ней ладил без проблем
художник, оценив её не сдуру
и глядя на неё как на натуру.

Он был с тончайшей кисточкой на «ты».
Воспроизвёл он пыльные листы,
над ними том — Овидий ли, Проперций, —
и никаких, избави бог, концепций,
ни сквозняка, ни времени, ни миль.
Творил он след руки, задевшей пыль,
на дальней лютне и на ближней лютне,
пока в потёмки не скользили будни.

О, этот холст! Я видела его.
Забыв, что есть на свете мастерство,
моя рука взметнулась, но повисла
в невольном жесте, не имевшем смысла.

* * *

Мастера Возрождения! От холста до холста
вы писали, что знали, — вам родные места:
италийское небо, Апеннины вдали,
а не зной и не вечность израэльской земли.

На библейских сюжетах из-под ваших кистей
золотистая нега среди бурь и страстей,
ренессансные вкусы, ренессансная быть,
а не ближней пустыни рыжеватая пыль

Сплошь не в тех интерьерах, не на тех площадях
флорентийцы, веронцы в иудейских ролях,
и, хотя не расслышать, кто о чём говорит,
в их устах — переводы, а источник — иврит.

* Бартоломео Беттеро (1639–1687), итальянский живописец. Израильский музей, Иерусалим.

Мастерство дольше века. Не берёт его тьма.
Вас держали заказы, конкуренты, чума.
А всего-то, ей-богу, паруса накренить
и одно только море раз-другой переплыть.

* * *

Ещё не поздно стоиков читать,
и даже преимущество, что возраст
велит без комментариев молчать,
отвергнув щебет, возгласы и посвист.

Погасишь свет — стоическая высь
сквозь звёзды кажется глубину объёма.
Что значит быть? Пока не родились,
мы были там, в небытии, как дома.

ВВЕДЕНИЕ В ОТРОЧЕСТВО

Скорей всего, выходной в июне или июле.
Зелено за окном. Отцовский мундир на стуле,
на погонах блестит по одной звезде.
И отец говорит о каких-то — не знаю, где
они есть, — камикадзе: *против этого нет оружия*.
И неправда, что зря *навострила уши* я.

Том Сойер изобразил интерес к покраске забора
и ест не своё яблоко. Книга проглотится. Скоро
военная форма отца сменится на костюм,
купилка притупится. Вагон, конечно, не трюм,
но тоже не прочь дать крен. Бытию виднее,
когда перейти с *теплее* на *холоднее*.

Руинам войны лет семь. Окраинная Луговая
улица уцелела. Но на пути трамвая
всюду развалины; сверху одной — с листьями на просвет —
деревце. Я-то вырасту; оно, я думаю, нет.
Мама тут же его заметила. А вслух торопливо сказано:
«Быстро смотри. Опоздала. Виден был замок кайзера».

Здесь, в бывшем Кёнигсберге, то есть в Калининграде,
отец, когда надлежит быть при полном параде,
чистит латунь звёзд и пуговиц, вовсе не тусклых на вид.
Дальше — черёд наград. И как-то особо блестит
медаль «За взятие Кёнигсберга»
(в подтверждение суждённости мест, наверно).

Угол портрета с лентами — красной и чёрной. В школе
вывели всех на линейку. Кто морщится, как от боли,
а кто не стирает капли со щёк, как в дождь,
когда говорят о том, что скончался вождь.
...Родители так молчат, *что голову не морочишь*.
Вот и живи, как можешь. И понимай, как хочешь.

Завешивают окно. Снаружи ветер и слякоть.
Болен крошечный брат; не начинает плакать,
даже когда укол. Медсестра *избегает ходить*
мимо развалин — отец должен встретить и проводить.
Я и брат — кто в какую родню; вот и вышло:
у меня глаза, как серые дни, а у него — как вишни.



Ровесники — без пяти минут отрок и отроковица, —
мы незнакомы. В будущем пока что пуста страница.
А в этом разрушенном городе ты уже повидал
в компании сорванцов упущенный кем-то подвал,
ещё содержащий в итоге военных бедствий
зрелище в духе Босха — и не стереть последствий.

А я, наряду с чтением «Хижины дяди Тома»,
вижу фундамент с печью без очертаний дома.
Заарканив канатом, расшатывают трубу;
рушат, обвал подытожив: баста! И с пылью на лбу
навещаю-проведаваю новодел-скворечник,
остатки построй, боярышник и орешник.

Сиена жжёная крыш. Мамин голос: *это каштаны*.
Мальчик на полустанке в повести «Дальние страны».
Поездка-прогулка в недавно оживший порт:
сбоку причала выпукло-белый борт
одного из судов, смешенье теней и линий,
неуёмная рябь воды цвета прусской синей.

Спокойная Валя Глебова, серьёзная Эмма Глозман!
Мы жили-были рядом. А повзрослеем розно —
в других обстоятельствах времени или мест.
Отца *демобилизуют*. Дней десять — и переезд.
Но как-никак на местах луна, Звездный ковш, Юпитер,
а главное — Ленинград (и как эхо: Питер).

Из военного квартирования, из городов детства
только туда и возили, будто вводя в наследство
по материнской линии (не говоря: владей
от малолетних до отдаленных дней;
не зря расплющивался твой нос об окно вагона,
и была дорога железная благосклонна).

Спустя сорок лет география — привет, дальние страны! —
можно сказать, открывает свои спецхраны.
И увидав родных в Хартфорде (США),
я перестану спешить. День-два — и ляжет душа
к прогулке по Фармингтон-авеню, где проще простого
убедиться в соседстве домов Марка Твена и Бичер Стоу.

При всех переменах не лишнее — дуть на угли:
можно вернуться с той скоростью, что и в Google-e,
на предыдущее — сквозь любой интервал.
Кто б сомневался? Отец говорил, что знал,
и знал, что говорил. Так оно и останется,
обозначившись там, где была *узловая станция*.



ДЬЯКОНОВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА
родилась в 1985 году в Ленинграде. Поэт. Закончила филологический факультет Барселонского университета. Лауреат поэтической премии «Новые имена» (2002) и конкурса «Критерии свободы» им. Иосифа Бродского (II премия в номинации «Поэтический цикл», 2014). Печаталась в журналах «Звезда», «Нева» и «Новый мир». Автор трех книг стихов, изданных в С.-Петербурге: «Моя жизнь без меня» (2003), «Каникулы» (2007) и «Флорианополь» (2010). В настоящее время живёт в Барселоне, где занимается преподаванием, литературной критикой и переводами русской литературы на испанский и каталонский языки.

Ксения ДЬЯКОНОВА

* * *

Только те, кто сбежал от славы,
от сиянья восторженных глаз
и чумной журналистской оравы,
отомстили навеки за нас
незамеченных, неоценённых.
Лишь они расквитались за то,
что о наших рифмованных столах
после смерти не вспомнит никто.

Ради ставших никем добровольно,
ради них мы ещё на посту,
и почти не обидно, не больно
в собеседники брать пустоту.

* * *

Все мы жертвы мелодии, говорит Орнет Кольман,
и он прав! А когда мелодия исчезает,
выдыхается вдохновение, и роман
тает, тает.

У соседки живёт на лоджии георгин,
и она к нему прикасается осторожно
потому, что в нём вырастет вновь её мертвый сын,
потому, что жизнь без мелодии невозможна.

Моё зрение чем-то вечно затемнено,
но во сне иногда мне кажется, будто каждый
человек — это приоткрытое окно,
из которого льётся полная тайной жажды
музыка, и дано
ему будет услышать её однажды.

* * *

Потеряв кого-то, мы тайно живём двойной
жизнью: следим рассеянно за войной
на Дальнем Востоке,
открываем окно на кухне, мешаем чай,
раздавив мотылька, присевшего невзначай
на плиту, выслушиваем упрёки



в эгоизме, глядим на трещину на стене,
но подземной частью сознания, в глубине
приглушённой памяти, повторяем
имя, ставшее частью воздуха; а лицо,
незапятнанное, нетронутое концом,
воскрешаем.

* * *

В окне напротив загорелся свет,
и тихо заиграли на гитаре.
Наверное, там гости, но в разгаре
их анекдотов, сплетен, больше нет

первоначальной искры, все устали
невольнo друг от друга, и вино
не успевает смыть налёт печали
и скуки; только тот, кому дано

расшевелить струной, наполнить звуком
молчанье, наступившее внутри
у каждого, перебирает три
аккорда, подбирается к разлукам

запёкшимся на сердце, режет нить
ненужных оправданий, и досада
становится прощеньем, и судить —
какое счастье! — никого не надо.

* * *

Мальчик бежит по улице, повторяя
за отцом: не беги, пожалуйста, не беги!
Только дети умеют дойти до края
речи, они — отчаянные враги

буквальности, бесконечно прямого смысла,
времени, тирании календарей.
Это не мокрый снег, а звезда повисла
на крыше театра, и надо скорей, скорей

успеть загадать желание,
а желаний гораздо больше, чем лепестков
клевера, любит — не любит... Чем тоньше грани
предметов, залитых светом, тем больше слов

столь же прозрачных, значащих что угодно,
да и не нужных клеверу и звезде:
стой, не беги, а впрочем — беги свободно
мимо витрин, по улице, по воде!

* * *

Опоздавшему открывается новый мир:
зажигаются окна, в которых он видел раньше
только сумерки, и квадраты чужих квартир
охраняют свои границы. Ни о реванше

над своей обеднелой жизнью, Бог весть куда
уводящей его всё время,
ни о вдруг затопившей горло волне стыда,
ни о том, что будет теперь, ни о встрече с теми

кто ещё его ждёт, не ведая ни о чём,
он не думает, и глядит, как замороженный,
то на церковь с опавшей колонной,
то на чей-то уснувший дом.

ПО МОТИВАМ АДАМА ЗАГАЕВСКОГО

У городов, несущихся в окне
случайной электрички в слишком ранний
для жизни час, затерянных на дне
бессонницы, впервые нет названий
и у меня нет имени, пока
в столовой спят надтреснутые блюда,
и никого не видно у лотка,
где пирамиды яблок вознесутся

во славу разгоревшегося дня
и ветра, охватившего маслину;
пока в гончарной нет ещё огня,
воловой лаской лижущего глину
и солнце опрокинуто в проём
окна в пустом, осыпавшемся зданье,
как будто, умерев, мы оживём
внутри него, и в чьём-нибудь дыханье.

* * *

Как доктору, приносят мне стихи:
как перелом, как вывих, как ребёнка
в ангине; открывают тайники
с бесстыдной откровенностью, «как тонко

здесь сказано у вас»,
мой голос поднимается над взлётной
полоской лицемерия: сейчас
уже пора прикинуться свободной

от предрассудков — пусть
мужчина пишет о любви к мужчине,
ведь он про этот страх, про эту грусть
ни словом не обмолвится при сыне

но с лёгкостью вываливает всё
передо мной, как будто так и надо,
как будто знает, что лицо моё
не обгорит среди чужого ада.

* * *

Когда умирает кто-то, кто был всегда
насмешлив и остроумен, и долей льда
умел остудить чужое безумье, где-то
внутри возникает чувство, что ровно то,
неясное, не похожее ни на что,
над чем он смеялся, сжило его со света;

а может быть, отомстило ему за ум,
за то, что он никогда не страдал по двум
сердцам и лицам одновременно,
как если бы в этой верности самому
себе, или равновесию своему,
была никому не ведомая измена.



* * *

Лучше бы автоответчик ответил честно:
абонент вас не любит, абоненту на вас наплевать.
Ваше волнение глупо и неуместно.
Лучше прилягте с книгой, и пусть кровать,
сплошь обрастая ракушками и пеной,
вдоль по теченью тикающих минут
вас унесёт в ту тёмную часть вселенной,
где не звонят, не жалуются, не ждут.

АВТОПОРТРЕТ

Со своим именем я до сих пор свыкаюсь.
На чужом языке оно шершавое, как наждак.
При виде собственной фотографии содрогаюсь:
какая толстая! Под глазами — мешки и мрак.

Учусь не спрашивать: почему? у тех, кто больше
не любит; они ведь не знают сами! А знает лес
почему потушили костёр, и воздух горше
теперь, и несётся дым в глубину небес?

Возвращаю в библиотеку слишком поздно
книги в кофейных пятнах, считаю всех,
кто звонил в день рождения, и не могу бесслёзно
смотреть — как это ни пошло — на первый снег.

* * *

Одни в неё входят, преодолевая страх:
сперва по колено, потом по пояс;
другие под чей-то неуловимый взмах
под неё бросаются, как под поезд;

для третьих она — свечение в чужом окне;
четвертые с ней встречаются слишком поздно.
И те и другие видят её во сне
и знают, что без неё даже ночь беззвёздна

не говоря уже о словах,
перегорающих, словно лампочка в коридоре,
ведущем в прошлое, в комнату, где сперва
жила тревога, надежда, радость и боль, — но вскоре

разбилось, точнее, рухнуло их родство,
словно они соседствовать не умели...
А те, кто как будто любит только Его,
кого они любят на самом деле?



ИГНАТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА родилась в 1947 году в Ленинграде. Поэт. Окончила филологический факультет Ленинградского университета, работала учителем в школе, экскурсоводом в музее Петропавловской крепости, преподавателем русского языка на филфаке ЛГУ, сценаристом на киностудии «Ленфильм». Принадлежала к кругу «неофициальных» литераторов Ленинграда. С начала 1970-х годов статьи, стихи и проза публиковались в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал», а также в самиздатском альманахе «Московское время», журналах «Континент» и «Грани». В 1989 году стала членом Союза писателей СССР. Автор поэтических сборников «Стихи о причастности» (1976), «Тёплая земля» (1989), «Небесное зарево» (1992), «Стихотворения разных лет» (2005), «The Diving Bell» (2006), «Ранний снег» (2012), «Тяжелый свет» (2017), а также книг прозы «Записки о Петербурге» (1997, 2003, 2005, 2015), «Обернувшись» (2009). Автор сценария документального фильма «Личное дело Анны Ахматовой» (режиссер Семен Аранович, Ленфильм, 1989). Лауреат премий им. Н. В. Гоголя (2009) и В. Сирина (Набокова) (2017). Стихи включены в российские и зарубежные антологии поэзии XX века, переведены на разные языки. С 1990 года живёт в Иерусалиме. Член редколлегии «Иерусалимского журнала».

Елена ИГНАТОВА

* * *

И русского стиха прохладный, влажный сруб,
звезда под крышкою чудесного колодца.
Смотри, как плещется, кипит у самых губ
вода бескожая, а в горсти не дается.
Но если в августе разомкнут небосвод
и мокрой чернотой размыты дали,
кастальская вода в ключах твоих поёт
настоем бедности бессмертной и печали.

ИЗ ЦИКЛА «РОДСТВЕННИКИ»

2

Как хорошела в безумье, как отходила
и серебрела душа, втянута небом,
а за вагонным окном и мело и томило
всей белизною судьбы, снегом судебным.

Как хорошела. Лозой восходили к окошку
кофты её рукава, прозелень глаза,
и осыпалась судьба крошечком, крошкой.
Не пожила. И не пожалела ни разу.

Родственница. Девятнадцатый год. Смерть в вагоне.
Бабы жалели и рылись в белье и подушке:
брата портрет — за каким Сивашом похоронят? —
да образок с Соловков — замещение иконе,
хлебные крошки, обломки игрушки...

3

Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты.
Что-то мы едем, куда? Наниматься в прислугу.
Наголодались в Поволжье до смерти, до рвоты,
слава те Господи, не поглодали друг друга.



Зашевелились холмы серою смушкой.
Колокола голосят, как при Батые.
На сухари обменяли кольца в теплушке
Зина, Наталья, Любовь, Нина, Мария.

Хлеб с волокном лебеды горек и мылист,
режется в чёрной косе снежная прядка...
Так за семью в эти дни тётки молились,
что до сих пор на душе страшно и сладко.

4

Хвойной, хлебной, заросшей, но смысл сохранившей и речь,
родине среднерусской промолвив «прости»,
я просила бы здесь умереть, чтобы семечком лечь
в чернопахотной смуглой горсти.

Мне мерещилась Курбского тень у твоих рубежей
в дни, когда я в Литве куковала, томясь по тебе.
Ты таких родила и вернула в утробу мужей,
что твой воздух вдохнёт Судный ангел, приникнув к трубе.

Ибо голос о жизни Нетленной и Страшном Суде
спит в корнях чернолесья, глубинах горячих полей,
и нетвёрдо язык заучив, шелестя о судьбе,
обвисают над крышами крылья твоих тополей

Голубиная Книга и горлица, завязь сердец.
Сытный воздух, репейник цветущий, встающий стеной.
Пьян от горечи проводов, плачет и рвётся отец,
и мохнатый обоз заскользит по реке ледяной.

5

«Обоз мохнатый по реке скользил, — твердит Овидий, —
и стрелы падали у ног, а геты пили лёд...»
Изгнанничество, кто твои окраины увидит,
изрежется о кромку льда и смертного испьёт.

И полисы не полюса, и те же в них постройки,
и пчёлы те же сохранят в тяжёлых сотах мёда,
но с погребального костра желанный ветер стойкий
в свои края, к своим стенам пустую тень несёт.

Нас изгоняют из числа живых. И в том ли дело,
что в эту реку не глядеть, с чужого есть куста?
Изгнанничество, в даль твою гляжу остолбенело,
не узнавая языка. И дышит чернота.

* * *

Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
о колоколе воздушном, хранившем меня?
Вечером мамина тень обтекала душу,
не знала молитвы, но всё же молилась робко.
В сети её тёмных волос — золотая рыбка,
ладонь её пахла йодом... сонная воркотня.
Всей глубиной крови я льну к забытым
тем вавилонским пятидесятым,
где подмерзала кровь на катке щербатом,
плыл сладковатый лёд по губам разбитым.

Время редет, скатывается в ворох,
а на рассвете так пламенело дерзко,
и остаётся — памятью в наших порах,
пением матери на ледяных просторах,
снежными прядями над глубиной невской.

* * *

В кислородном морозе пьянящей любви
вижу губы, широкие очи твои,
и душа просыпается в боли.
И не хочется ей возвращаться на круг —
в наваждение слов и смыкание рук,
в кочевое сиротство неволи.

Но она, задыхаясь от нежности, пьёт
этот яд ледяной, этот жалящий мёд,
расставания мёртвую воду,
и на оклик встаёт, и покорно идёт,
и не помнит уже про свободу.
Что за боль! Только в юности можно стерпеть
это жженье, в крови растворённую медь,
но, вдыхая осеннее пламя,
я не знала, что не заговорены мы
от подземного жара, провидческой тьмы
и от нового неба над нами.

* * *

Всё отнимается, всё, чем душа жила,
друзья и города уже почти не сняты,
и как вернуться мне и чем мне оправдаться?
Чужую жизнь прожив, перегорев дотла,
несчастною рукой к их стенам прикасаться.

Мы подымались в ночь из глубины.
Тяжёлый свет всходил по вертикали
к высотам города, где нас почти не ждали,
и были голоса едва слышны:
«О, помнят ли о нас или, как мы, устали?»

И я входила в дом, в печальное тепло,
и в долгую любовь, где всё непоправимо...
Но мой Господь достиг Иерусалима!
Я видела, как горизонтом шло,
гремело облако серебряного дыма.

* * *

А. В.

То была роза, в которую я влюбилась, —
декабрьская роза.
Когда говорим «Эдем»
мы в наших снегах представляем сад
роз в декабре. Я срываю декабрьскую розу,
подобную тем.

Да, когда говорим «Эдем»,
мы в наших снегах представляем дол,
оливой и лавром заросший до плоских небес.



Олень, запутавшийся рогами в розах,
ягнёнок, лев...
Ни воздыханий, ни слёз.
На той стороне оврага, за головами роз
дол Аялона грубый, как парусина,
с тех пор, как солнце Иисуса Навина
оплавил край его. И кровью истёк
пылающий городок за стенами из рафинада.
Горы людей, ослов, коз...

Кровь выпущена как надо.
Нет, декабрьская роза, Эдем — не волшебный сад,
на подошве праха его холмы, на подкладке крови —
всё, как в наших снегах, но только древнее стократ,
и ржавчиной смерти деревьев забрызганы кроны,
и декабрьская роза, тугая, как Божий свиток,
как гнев Господень — на сердце ложится мне.

* * *

Век можно провести, читая Геродота:
то скифы персов бьют, то персы жгут кого-то...
Но выцветает кровь. В истории твоей —
оливы шум, крестьянский запах пота.

Мельчает греков грубая семья,
спешит ладья военная в Египет.
Мы горечи чужой не можем выпить,
нам только имена, как стерни от жнивья,
а посох в те края на камне выбит.

И где она, земля лидийских гордецов,
золотоносных рек и золотых полотен,
где мир в зародыше, где он ещё так плотен,
где в небе ходит кровь сожжённых городов,
где человек жесток, и наг, и беззаботен...

* * *

Хлебный ангел, ангел снежный, ангел, занятый косью, —
все три ангела, три ангела кружатся над тобой.
Опускаются, хлопочут, целый день снуют вокруг,
только крылья разноцветные раскрыты на ветру.

Хлебный ангел месит тесто, затевает пироги,
целый день слышны у печки его лёгкие шаги,
хохолок мелькнёт пшеничный, локоть выпачкан в золе —
ставит квас, качает люльку, чтобы мальчик не болел.

Ангел жатвы и покоса проживает на дворе,
у него лицо и плечи облупились на жаре,
косит сено, возит просо, из рожка поит телят...
Его очи голубые ночью в небесах горят.

Белый ангел, ангел снежный — холоднее родника,
твой высокий, трубный голос так понятен старикам.
Что за речи на рассвете ты усталым говоришь?
Чистым снегом засыпаешь, чистой памятью даришь.

Вслед за травами и хлебом наступает время сна:
свет и холод, даль и небо, расщеплённые до дна,
слабый шелест, сладкий голос — ангел леденее льда.
Врачеванье лёгкой болью — всех потерь, всего труда.



МАРТЫНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА родилась в 1962 году в Дудинке (Красноярский край), выросла в Ленинграде, в начале 1990-х переехала в Германию. Поэт, прозаик, пишет на русском и немецком языках. Лауреат многих немецкоязычных литературных премий, среди которых премия Ингеборг Бахман и Берлинская литературная премия. Живёт во Франкфурте-на-Майне.

Ольга МАРТЫНОВА

* * *

Глина речи в начале была молоком,
мёдом, воздухом. В луче пылинки висели.
Мир был невесом. Как на карусели
можно было объехать бумажные дали:
Три ключа, Старинную башню, Теснину Дарьяла,
Холмы Грузии; Ласточки шумно сновали
в прорехах вечернего неба. Стояла
вечная осень. Мир был прозрачно-багрян, и знаком,
и уютен, как конфета под языком.

Уплотняется мир, усиливается притяжение.
Пыль оседает, скатывается в шарики, вытягивается в паутину.
Дрожат колени от ласточкиного скольженья.
Чтобы сыскать ту башню, надо её отстроить, размять эту глину
(наследники бросили дом, чтоб не платить по счетам),
глина затвердевает, отпечаток крыла незнаком;
снег не тает; карусель вращается, но не там,
где растут три пальмы и роза лежит в фонтане.
Конфета теряет вкус — нетающим камешком под языком.

Но мир истончится снова, снова во влажном тумане
мелькнёт холодное лезвие ласточкиного крыла;
рассыплется искрами пыльный ком;
На воде в птичьей гаме засвищет бедная флейта твоя,
глупый Тамино, испугавшийся нарисованного дракона;
и ручей побежит, огибая Мельницу. Замерзший пруд
покроют Жёлтые листья. Глина станет как воздух. Забьют
три ключа, неясно о чем говоря,
чему-то вторя;
снова осень будет царить всегда, не зная закона
и благодати. И слишком быстро, чтобы это обдумать
растает мир, как конфета под языком.

BESAME MUCHO

Чисто-чисто вымыта Европа.
Только вчерашний ужас бежит позёмкой.
Невидимый ужас — позёмкой по тротуарам.
Я смотрю на карту (прошитую частой тесёмкой,
Жгутом пограничным), кровью политую даром.
Я смотрю на карту: в мире разума и гигиены
Даже песни поются о разуме и гигиене,



Когда кругом воют сирены, ходят гиены,
На закате белыми крыльями стрекочут сирены,
Спокойными голосами
Зазывая на край Геенны.
Я смотрю на карту: мозаика позднего Рима,
На которой разные звери, сцепившись зубами, сплетясь хвостами,
Столкнувшись боками, слепившись когтями, рогами — будто
бы неразводимо —
На мгновенье застыли, и так их поймал художник.
Когда этот клубок разлетится, парное мясо
Заполнит водостоки парижа, черепицы марбурга, площади
праги, чёрную невшскую воду:
Тогда разум и гигиена покинут песни,
В заботе о хлебе насущном братья Эрос и Фобос обнимутся:
Целуй меня крепче, в переулках только свист безымянный, на
площадях полно незнамо какого народу, страшный запах идёт
из болот, целуй меня крепче, снова придёт Петрарка, непред-
ставимый в гигиеническом рае, снова девы не будут знать,
дождутся ли женихов, а мужья — дождутся ли их их жёны,
звенят браслеты на смуглых запястьях, целуй меня крепче.

СНОВА ДЕКАБРЬ

Елене Шварц

кроткий декабрь на цыпочках входит.
ёлки стоят в загородках — толпа одноногих невест.
в вареве звёзд в студяном плещется Некто, невесть
Кто плывет наверху, невозможность увидеть Его сердце как
ржавчина ест.

в нарядных вертепах несчастливое притулилось семейство.
далеко им в египет, через этот снег, эту слякоть,
да и там хорошего мало, можно заплакать
(как всё изменилось за две тысячи лет!), жуя чужбины жаркую
мякоть.

румяные женщины достают ледяную мелочь,
крутит прозрачный шар на конце своей трубочки стеклодув,
плоский ангел, подвешенный за крыло на ёлку, летит, дудит
в золотую дуду,
под ногами багровые пятна глинтвейна проступают во льду.

петух на шпиле охрип, но кричит свою неслышную весть.
время не вовсе застыло, оно вытягивается в тирé.
вот енот утомительно дрыгает лапками в тире.
вот роется бомж в щедром рождественском соре.
много чего ещё видно в прозрачном шаре,
который вот-вот упадёт, если его не подхватит никто в январе.

* * *

И проступал в нём лик Сковороды.
Н. Заболоцкий

Умножение радости умножает скорбь.
Рыба плывёт, красуясь в россыпи своего блеска,
В каждой волне звенит прозрачная леска,
Каждой волны прозрачен мутно-зелёный горб.

Каждый день начинается с того,
Что мир переминается у двери.
Несчастлив, кто ему не открывал,
И счастлив, кто ему не открывал.

О дуброва, о зелена,
Не могу я опрокинуть
Чашку с радостью земной,
Она вся в трещинках, изъянах,
Но узор на ней родной.
В тебе жизнь увеселенна.

Как лёгок, как тих голос того,
Кого мир ловил и не поймал,
Как избушка на курьей ножке он стоит,
Обратив лицо к лесу, в зелёный провал.

Умножение радости умножает скорбь.
Хочется отвернуться от этого блеска,
Так зверь, уходя в чащу, унося в лопатке росчерк огня и дробь,
Хранит на губах запах малины, на веках светлый ситец
страшного перелеска.

* * *

Зелёные метры погонные
На невских, на венских плечах.

О. Ю.

Это только Вена —
Её великанский шаг,
Её воздушные лестницы, ярусы, зелёный тритон на
театральной крыше
Раздувает щёки, выдувает марш из зелёной дудки.
Головы театральных поэтов ярусом ниже.
Как головы перебежчиков, посаженные на пики,
Чтоб другим неповадно было шутить дурацкие шутки.

Запрокинув лицо, я вижу сон Кальдерона,
А его голова на крыше видит сон Сехисмундо,
Сквозь взбитые сливки Вены я смотрю наверх на тритона.
Он отвернул свою дудку, я слышу военный вальс.

Лица мальчиков на военных парадах,
Площадь Героев, её имперский разгул и разор,
Профили мальчиков в касках, славянские лица.
Отсутствие Польши в наших пустых городах.
Болгария, Чехия, Венгрия, Сербия, Бессарабия, где вы?

Золотые шары Петербурга,
Это больше не повторится.
Вы помните, как вы тускнели,
Глотая балканскую пыль?
Глупая Вена пинала вас каблучками:
Гуцульский танец. Улыбался ниточный полумесец.
В Румынии оживлял fin de siecle ватные лица вампиров,
Их змеиные волосы: сецессии вялые стрелы.

Между синим дневным и чёрным ночным оком
Небо смотрит почти прозрачным серым,
Сыплет мелкими искрами, ненароком
Летающими от венских бульваров к петербургским скверам.



Но нет родства между ними больше,
Нет родства и прошло то время,
Когда их руки касались друг друга,
Оставляя горящий след вдоль разделённой Польши.

Я ищу зубчатый обгрызанный верх собора:
Пористый шоколад в разломе,
Я иду сквозь бывшие площади Вены,
Разгребая глазами наплывы лошадиной мускульной пены,
Я ищу собор, я ищу трамвай, я ищу бульвар,
Время остановилось, как сто лет назад шелестят газеты,
Сонный свет кафе прорезает полосы на страницах,
Продорожные террористы сидят в саду на скамейке,
Я выхожу из Вены, узор из дерева и стекла распахивает швейцар.

* * *

Если взглянуть за усталую нежность
природы, Увидишь усатую нежить —

Рябина ль сердцами зернистыми во многопалых ладонях
бренчит раздражённо и глухо
Или рыба рябью выводит строку,
которую так же ненужно читать, как считать ку-ку
Во всём безглагольность, приманка для праздного слуха
Обманка язык её острый, двуострый
Душа её — слепок бездушный и люк безвоздушный.

Так думала я, обходя мои реки и горы, поляны и рощи,
А воздух бумажный разъезжался от сырости пёстрой.

Так погадай же на гуще копейной в своих облаках, —
Просили ручьи и холмы, луга и чащи, и загоревшийся воздух
бумажный.

ДУШЕНЬКА, НЕЖЕНКА, РЯЖЕНКА

I

душенька, неженка, ряженка,
былинка, пылинка, шелковинка, —
как в плошку, в тело ты плюхнулась,
как ложкой, будет исчерпана
из всех посуды сладость твоя.

II

неженка, ряженка, душенька,
пылинка, обманщица, бисеринка,
лadyшка, голышка, бродяженка, —
а скинув наряд свой поношенный,
куда пойдёшь ты, радость моя?

III

ряженка, душенька, неженка,
свистулька, висюлька, диковинка,
голышка, голубушка, браженка,
беглянка, цыганка, шелковинка,
бродяжка, бродяжка, бродяжка. — — —



ОКУНЬ МИХАИЛ ЕВСЕЕВИЧ родился в 1951 году в Ленинграде. Поэт и прозаик. Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор сборников стихов «Обращение к дереву» (1988), «Негромкое тепло» (1990), «Интернат» (1993), «Ночной ларёк» (1998), «Слова на ветер» (2002), «Чужеродное тело» (2007), «Средь химер» (2011), «33 трилистника» (2016), «Февральская вода» (2018) и книг прозы «Татуировка. Ананас» (1993), «Ураган Фомич» (2008), «Каждый третий» (2017). Постоянный автор журналов «Звезда», «Волга», «Урал», «Крещатик». Стихи и рассказы публиковались в журналах и антологиях России, Германии, США, Финляндии, Бельгии, Украины на русском, английском и немецком языках. Шорт-листы литературных премий «Честь и свобода» Санкт-Петербургского русского Пен-клуба (1999) и Буинской премии (2007).

Лауреат премий журналов «Урал» (2006) в номинации «Поэзия», «Зинзивер» (2014) и «Футурум АРТ» (2016) в номинации «Проза». Дипломант V Международного литературного Волошинского конкурса (2007) в номинации «Крымский мемуар». Золотая медаль 2-го Международного конкурса современной литературы «Лучшая книга — 2010» (Берлин, 2011) в номинации «Малая проза». Лонг-лист Русской премии (2016) в номинации «Поэзия». Живёт в Германии.

Михаил ОКУНЬ

* * *

Автобус скрипел и качался,
И к ночи пришёл на вокзал.
А он ничего не боялся,
Не плакал и горя не знал.

Косили незрячие глазки,
Был ликом подобен кроту —
В нелепой сидячей коляске,
Развёрнут лицом в темноту.

И нервничали и спешили,
Плацкартный на стыках дрожал.
А он в перевёрнутом мире,
Как маленький Будда, лежал.

* * *

Вечер на веранде. Над арбузом — осы.
Где-то за оградой — звонкий стук мячей.
Местная, Наташа?.. Тихие расспросы.
Озеро в тумане.
Мельничный Ручей...

Ничего не вспомню. К черту древоточцев! —
Ни интрижек дачных, ни футбола... Но —
Слева, под ключицей, заклеено листочком,
Спрятано от взглядов — родимое пятно.

* * *

Вот откроют наши коммуналки
Нараспашку, и экскурсоводы
Повлекут сквозь быт, родной и жалкий,
Стаи понаехавших народов.



Это — прокопчённой кухни яма.
Кран один, но всем — отдельный столик.
Графики дежурства прут из рамок
(Клал на них Витюля-алкоголик).

Там велосипед торчит из стенки.
Швейная машинка? — тети Насти ж!
Где футбол наш, сбитые коленки?..
Отворяй, Сергей! Иосиф, настезь!

* * *

Никого в «скворечнике» не лечат —
Никому и ничего не надо...
Тихо облака летят на плечи,
Точит дождик оболочку сада.

Обозначено пространство чётко —
Мерю всему проём оконный,
Схваченный ржавеющей решёткой;
Синий лес на заднике посконном.

Спи же в наблюдательной палате
На застиранной простынке серой —
Собственному миру адекватен
От укола до укола серой.

* * *

Жаркое лето десятого года.
В воздухе дребезг и запах бензина.
Два представителя разных народов
Вышли из магазина.

Смуглый таджик, «ЖКХ» на жакете.
Этот жару переносит легко.
А потому и несёт он в пакете
Хлеб, молоко.

Русский багровый. Полночи — в шалмане.
Солнце встречает бесстрашно и яро.
А потому в его брючном кармане
Ноль семь водяры.

Что мне до них, коль оркестрик лабает
В бедном мозгу?.. — я прибит и контужен.
Нищие голуби жадно хлеблют
Из шагреновой лужи.

ПЕЧОРЫ, СЕЛЬМАГ, СЕМИДЕСЯТЫЕ...

Преодолевши боль в затылке,
Вхожу — не верится глазам:
Единственный товар — бутылки
С нелживой надписью «Бальзам».

Возьмёшь и спустишься в лощину,
На берегу ручья присесть.
Как вдруг из-за кустов: «Мущина!
У вас, конечно, выпить есть?»

Всё есть. Кругом чабрец и кашка.
Скажи волшебное «Сезам!».
Я молод. Местная алкашка
Вкушает из горла бальзам.

БРАЖНИК

Вот бражник сумерки взрезает,
Вращая мёртвой головой,
И вожаденно запускает —
Куда захочет — хобот свой.

Украшен жемчугами ночи,
Он полосат и мохновит.
Он бабочек ночных не хочет,
Взалкав изысканных сильфид.

Его душа полна соблазнов,
Теней его невинных жертв.
Он изощрён в любовях праздных,
Лишь поманит — и ты уж мёртв.

Летит, летит ужасный бражник,
Во тьме запутывая след,
И отощавший свой бумажник
Сжимает, словно пистолет.

* * *

Выйти в утро, где дождик — что тёрка.
Понаслушаться трёп рыбачков,
Чей улов в самодельных ведёрках
Ты едва ль различишь без очков.

В ночь кого-то раздели у парка —
К нашей жизни он не был готов.
И сестёр пережившая парка
Поит-кормит бездомных котов.

* * *

Вся окрестность — точками и пятнами,
Будто постарался Поль Синьяк.
На скамейке с местными ребятами
Пьём палёный краденый коньяк.

В этом нету ничего хорошего,
Но народу скоро стану люб:
В тёмном парке, со шпаной подросшею,
Я стихи читаю для ютьюб.

* * *

У сидящих на скамеечке
Сигаретку не проси...
Как советские копеечки
В цепком счётчике такси



Годы щёлкают и щёлкают,
И на них управы нет.
Глаз прищуришь — а за щёлкою
Тьма заглатывает свет...

* * *

Какой закат висит над Ленинградом!..
На кухне мальчик, замерев без слов,
Стоит и смотрит восхищённым взглядом
На абрис башни у Пяти углов.

Пусть жизнь короткая, — но ведь умрём не сразу!
Ещё отец уходит «по делам»,
Ещё Разъезжая укрыта диабазом,
Ещё не выслан инвалид на Валаам...

* * *

С десяток книжечек за три-четыре года!
Пиит напорист — вровень со страной.
И сублимированная его природа
Признанья требует — и чтоб любой ценой.

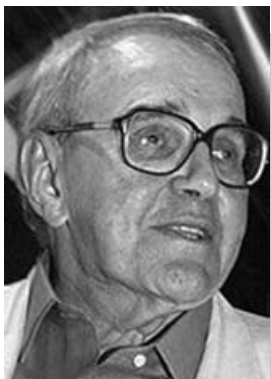
Чем больше издано, тем лучше! — по-таковски
Он рассуждает, говоря со мной.
Хотя Эредиа и Комаровский
Вам подтвердят: достаточно одной...

* * *

мастера квадратной скобки
верлибрической строки
притязания не робки
и отнюдь не чудаки
совокупные тусовки
фестивальная возня
разноцветные кроссовки
ну и прочая фигня
бутербродики с фуршета
и слависты разных стран
текстов кластеры с планшета
светит слабенький экран

* * *

В этом городе всё продолжается,
Продолжается всё, как всегда:
Пешеход одинокий пугается,
В подворотнях стоят холода,
На Фонтанке бодаются лошади
С голым Клодтом, и в свете зари
С высоты смотрит Ангел на площади
Да глазют в окошки цари.



ПАРАМОНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ родился в 1937 году в Ленинграде. Ряд лет работал в Ленинградском государственном университете, кандидат философских наук. В 1977 году эмигрировал. Работал в штате Радио «Свобода». Сотни радиоскриптов и статей печатались в зарубежной прессе, а с 1990-х и в России. Некоторые из этих текстов собраны в книги «Конец стиля», «След», «МЖ», «Мои русские», «Бедлам как Вифлеем» (последняя совместно с И. Толстым). В постсоветской литературе едва ли не первым дал ряд опытов психоаналитического истолкования русской классики. Наиболее оригинальной считает свою разработку феномена тоталитаризма как своего рода эстетической утопии («Куль личности как тайна марксистской антропологии», «Триптих о ЛЕФе»), каковая мысль была в дальнейшем не раз использована иными авторами без указания источника. С 2009 года печатает стихи, в 2015 году выпустил поэтический сборник. Живёт в Нью-Йорке.

Борис ПАРАМОНОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ НАБОКОВУ

На поле, где не в счёте пол,
но пыл и скоки,
играют девочки в футбол,
который соккер.
Не разобрать, кто чёрт, кто брат,
кто в сестрах глаже,
когда у тех и этих врат
вратарь на страже.

Игра в начале. На табло
ноли, как целки.
Но закрутило, повело —
колёса, белки,
ухватки ног, замашки рук
в дурных захватах,
и слово «гол» как слово «круг»
для угловатых.

Открыла школьница пенал —
и на — пенальти!
Пинали мячик, значит, на
себя пеняйте.
Из сетки бол — задрать подол:
и гол, и голо.
Но кто сказал, чтобы футбол
без боли гола?

Играешь — так без дурачков!
Взыграли крали
в футбол, и в соккер, и в очко,
и сок сосали,
и счёт сравнивали, и на том
конец заботам.
Брели домой. Дышали ртом.
Сочились потом.



КРАСНЕНЬКОЕ КЛАДБИЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

На кладбище Красненьком
советская власточка
в порядочке ясненьком
покоится, ласточка:
в отменном порядике,
в последнем парадике.

Об этом и комика,
что пленум — обкомика,
что лавровым листиком
венки над чекистиком,
что утречко хмуренько
над урночкой урнинга,
которого педики
хоронят, как гномика,
под музыку Гедике.

Цветочек-могилочка:
цветёт моя милочка
то аленькой розочкой,
то розовой аллочкой,
то прутиком голеньким
то венчиком-голиком,
смирная кнутиком
и коховой палочкой
(супружиком-мужиком —
венерокоголиком).

Ни фронта, ни ротика —
кончина животика,
ни тыла, ни пыла,
ни пляжа, ни спаленки,
ни белых, ни белей,
ни ленинки-сталинки.

Когда над разбойничком
исчезла управушка,
тогда над покойничком
запела дубравушка —
над богом-порогом,
скатёркой-дороженькой,
над пайкой, над койкой,
над банкой пороженькой,
над ЧОНОм-очкариком,
над чёрным сухариком,
над виршами лесенкой,
над Щорсом, над Лещенкой,
над буркой, над уркой,
над песенкой муркиной,
над курочкой рябенкой,
над Дорой Лазуркиной,
над дурочкой Драбкиной.

ПЛАТОНОВУ — ЦВЕТАЕВА

Платонов нищ,
Платонов наг:
ни вин, ни пиц,
ни прочих благ.

Валюты — нуль,
ларёк далёк,
работы — куль,
еды — кулёк.

Зерном кулак
запасся впрок,
а тут — Гулаг
(грызун-зверёк).
В иглу продень
верблюжий гуж
на трудовень
едоцких душ.

Но мужу Фро
курсив фарад
красив, как про-
летариат.
Он и не муж,
не коемужд, —
но неимуц
не знает нужд.

Он прост, как Фрост,
и густ, как Пруст,
и массой в рост,
и мясом пуст.
Владеет им
посланий лад
от Диотим
про диамат.
Платон: раба
на пир рябых —
и по гробам,
как по грибы.

Сиянье дыр,
кара-кумыс,
пески, такыр,
кизяк, кыргыз.
Там ветер — пар,
а ливень — пот,
там коммунары
больших пустот —
пустынных мест
(СССР)
поднимет крест,
начертит хер.
Начертит крест,
добавит ноль.
Из этих мест
выходит голь.
Мы не рабы,
рабы не мы.
Поверил — былъ,
похерил — мир.
Стопы босы,
и крови точь.
Умри как сын,
воскреснь как дочь.



* * *

В кинокусткамере Кира Муратова
в ряд разложила свои экспонаты.
Лепит горбатого, режет беспятого
без хлороформа и даже без ваты.

Горло сожмётся и клапаны сузятся,
но не иссякнет сотворчество твари,
даже и ежели муза-соузница
на четвереньках ползёт в абортарий.

Даже и ежели Гётевы Матери
кадры представят из киноархива,
как прерывают беременность в ватере —
где на бачке, а где и без слива.

Долго ли, коротко ль, встречи и проводы —
долгая жизнь, а звалась Короткова! —
разве услышат в милиции доводы
матери, сына забравшей в оковы?

А за столом с протокольными мордами —
как тут оставить таких без догляда? —
вместо баранины — морговы органы
рядом с бутылкой крысиного яда.

И переводит, ступая на лестницу
из подземелья наверх, к евраемцам,
на позитивы циркачку-наездницу,
на негативы Мадонну с младенцем.

Девушка-грушенька, ягодка, родинка,
в нежном подбрюшьи Крым и Одесса,
сверху и снизу чёрная родина,
Чёрное море и чёрная месса.

НА СМЕРТЬ БАХЧАНЯНА

Центральный парк с прудовым уголком,
где принято обдумывать утей,
где наш земляк, подбитый ветерком,
ловил плотву в ушицу без затей.

О, рыбы пляски! О, дежурный суп!
Чего ни извлечёшь на самодур,
на самостой, на стоп, на самосуд
среди смертей и сходных процедур.

Идёт пора свести приход-расход,
и суп, как пруд, к зиме заледенел.
А в небесах готовится отлёт
для лучших дней, для лучших лет и тел.

В Центральном парке лавр замёл следы,
остался кипарис и в рифму мирт,
и нет уже ни рыбы, ни воды,
а только лёд, а только смертный спирт.

Прославим же веселие утят,
которые не сеют, а клюют,
и здесь присядут, и туда летят,
и в заморозки ведают уют.



СЛИВКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1955 году в Ленинграде. Поэт, с детства ходил в литературный клуб «Дерзание» Дворца пионеров; по настоянию родителей выучился на инженера-механика, потом заочно закончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Работал вне штата на Ленинградском телевидении (программы «Монитор», «Пятое колесо»), в газете «Петербургский глашатай». С 1993 года живёт в США; защитил диссертацию по русской литературе XIX века в Иллинойском университете; до недавнего времени преподавал на кафедре иностранных языков и литератур Денверского университета. Постоянный автор журналов «Звезда» и «Новый мир». Стихи печатались в журнале «Арион», переводились на английский. Автор пяти сборников стихов: «Птичий консул» (1990), «Аллея дважды сгинувших героев» (1992), «Сад в прерии» (2004), «Оборванные связи» (2012), «Над Америкой

Чкалов летит» (2018). Участник антологий «Поздние петербуржцы» (1995), «Русская поэзия двадцать первого века» (2001), «Освобождённый Улисс: русская поэзия вне России» (2005), «История неофициальной культуры и современного русского зарубежья: тексты, автобиографии. 1950–1990-е» (2015), «Антология Григорьевской премии» (2011). Автор исследовательских статей по русской литературе XIX и XX веков, опубликованных в журналах «Новое литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Искусство кино», «Достоевский и мировая культура», «Slavic and East European Journal», «Indiana Slavic Studies», «Russian Literature».

Евгений СЛИВКИН

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Ты учишь проклятый романский
язык при настольной луне,
и час без пяти комендантский
железом скребет по стене.

Над крышею холод планиды,
окно — в ленинградскую тьму:
есть вид на Фонтанку — и виды
на будущее ни к чему.

Ты помнишь, как в этой вот яви,
ко мне прижимаясь плечом,
жила в коммунальной державе,
где ветер пропах кумачом?

Холщовые лица хозяев
и лозунгов белый букварь.
В недвижные рельсы трамваев,
как в реку, смотрелся фонарь.

Товарищи по неумению
держат кормовое весло,
мы плыли впотьмах по течению...
И вот ведь куда занесло!

СИЛЬВЕРАДО

А. Пурину

На фоне гор, взьерошив лошадь,
скакал абрек-головорез —
кого-то пулей огорошить;
скакал, скакал, и вдруг исчез.



Картинка вылезла за скобки,
раскрыв их, как дырявый зонт,
и с достопамятной коробки
перенеслась на горизонт.

Нависла тёмная громада,
но путь по кромке голубой
в недостижимый Сильверадо
держал непуганый ковбой.

Правдоподобное виденье,
хоть промокало от дождя,
но не нуждалось в утверждении
ни демиурга, ни вождя.

Оно вершинами вставало,
текло субтитрами реки,
как на экране кинозала —
опять же рамке вопреки!

И чтоб казался незаконным
спагетти-вестерна канон,
спешила пуля вслед за конным,
кляня извилистый каньон.

Я был зятанут тем простором,
и не припомню до сих пор,
чем у «Казбека» с «Беломором»
на кухне завершился спор.

РОМ-БАБА

Из жизни, как сказано, сайки
изюмное взяв мумиё,
намёком на небо Ямайки
звучало нам имя её.

И кто из нас в теплой котельной
в невялотекущий момент
не лапал от рома отдельно
ром-бабы второй компонент!

Сидели-галдели в подвале,
вострили осиновый кол;
и честно всю ночь поддавали —
и сами, и жару в котёл.

Но некипячёная злоба
скисала в нас, как молоко:
дышала славянская сдоба
под спёкшейся коркой легко.

Искромсана сикось и накось,
черствела развалом кусков
ром-баба — бессменная закуска
для пьющих портвейн мужиков!..

На прошлое строгие грифы
наложены туго, как жгут,
пиратское золото Грифы
для будущих бонз стерегут.

И нету нам большей отрады,
чем стылый котёл затопить
и сахарной шапкой помады
прогорклую горечь накрыть.

ПОСЕЛКОВОЕ КЛАДБИЩЕ

При Щучьем озере кладбище
у нас Ахматовским зовут,
здесь ветер-вертухай обыщет
кусты, наклонит каждый прут.

Сюда в открывшуюся рану
земли песчаной и сырой
серебряную нашу Анну,
как перст, вложили на покой.

И жребий рядом с ней не падал
на тех, кто не был даровит:
поодаль лёг художник Мандель,
писатель Курочкин лежит.

К забору в чахлах ёлках-палках,
с незаживающей дырой,
съезжались все на катафалках —
и академик, и герой!

Давно кладут по разнарядке
того, кто власти угодил,
и завелись грибные грядки
среди теснящихся могил.

Шедевры тёски и огранки,
блестят надгробья, высоки,
но при одних растут поганки,
а при других — боровики.

Здесь на берлогу вурдалака
лес не отбрасывал теней,
крест над плитой его, однако,
стоит такой же, как у ней.

АМЕРИКАНСКИЙ МОТИВ

Хоть богата хламом Оклахома,
твой Канзас — нескрёбанный сусек,
в залежах его металлолома
погребён Железный Дровосек.

Был он механизмом бесполезным
и насквозь заржавленным от слёз,
но любил всем существом железным
край земли с названьем кратким Оз.

Дорожил в груди издельем штучным
и, врождённым компасом вedom,
грянул в путь с орудием подручным —
Дороти построить новый дом.

Шёл под ветром, темным от половы,
в мир людей, что в свой черёд умрут,
на звезду, похожую на плевый,
выброшенный в небо изумруд.



И за жабры взятое на жалость
сердце по заказу «Maid in Oz»
в пустоте канзасских прерий сжалось,
а разжать его не удалось.

КОМАРОВСКАЯ МИСТЕРИЯ

Памяти Е. Шварц

Не белый олень шотландский
пришёл за ней (не довелось!),
а мрачный ингерманландский
в болотах намокший лось.

А хоть бы и за оленем
в туман ушла и в мираж!
Была она наш современник,
но не сопостранственник наш.

Безмолвно кружила над Финским
заливом безглазая лжа,
и Анна Андреевна сфинксом
в сторожке на курьих жила.

Сидела у печки день и
ночь, разверзая зев,
и в лес роковых видений
она не впускала дев...

До старости брёл подросток
по краю лесных болот,
и не воздвигла из досок
судьба для него эшафот.

Он верил, что не отрубят
сердце на ближнем пне,
и выткан Святой был Губерт
в глазной его пелене.

ХОЛОСТОЙ ЗАЛП

Н. Голю

Где ангел, может быть, Господень,
крылами поднимая пыль,
взлетает на казённый шпиль,
стреляет пушка, метя в полдень.
И распрямляется упруго,
пробив классический фасад,
в гранитном сердце Петербурга
пружиной ржавой Ленинград.

А из Кремля в усердьё ратном
с отмытых от бывшего плит
мортира пеплом рыжеватым
на Запад в тот же час палит.
И в обмороке богомольном,
гусиной кожей ощутим,
ей отзовётся Третий Рим
тяжёлым сердцем колокольным.

* * *

И осталось от города Питера
прежних времен
интеллигентных пятеро
белопёрых ворон
с видом значительным
птиц одного круга
держащихся на почтительном
расстоянии друг от друга.

Хвост волоча, как наволочку,
разодранную на полосы,
ходят они вразвалочку
по полису, словно по лесу.

Не сомневаясь — надо ли,
выжить вовсю пытаются,
и с достоинством падалью
день изо дня питаются.

ПЕРЕВОДЫ

Виктор АНДРЕЕВ
Александра ГЛЕБОВСКАЯ
Николай ГОЛЬ
Елена ДУНАЕВСКАЯ
Анастасия МИРОЛЮБОВА
Ирина МИХАЙЛОВА / Алексей ПУРИН
Давид РАСКИН
Калерия СОКОЛОВА
Сергей СТЕПАНОВ
Михаил ЯСНОВ

8

Почтовый



АНДРЕЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ родился в 1948 году в Ленинграде. Переводчик. В 1971 году окончил филологический факультет ЛГУ. В 1960–1980-е годы занимался в переводческом семинаре Эльги Львовны Линецкой. Печатается с 1969 года. Среди переведенных авторов — Сервантес, Гонгора, Кеведо, Унамуну, Валье-Инклан, Мачадо, Хименес, Гарсиа Лорка, Алейсандре, Сернуда, Альберти, Эрнандес (Испания), Лугонес, Борхес, Кортасар (Аргентина), Астуриас (Гватемала), Гарсиа Маркес (Колумбия), Марти, Гильен (Куба), Нерво, Пас, Арреола (Мексика), Дарио (Никарагуа), Чокано, Вальехо, Варгас Льоса (Перу), Мистраль (Чили), Бодлер, Верлен, Нуво (Франция), Китс, Даль (Англия), Бирбаум, Финк, Холлендер (Германия), Гарно, Бошмен (Канада). Книги: «Чудесные истории про зайца по имени Лёк», «Сказки народов Западной Африки» (совместно с Ольгой Кустовой, 1984); «Малыш Руссель и другие» (1984);

Кортасар Х. Избранное (1989); *Апарисио Х. П.* Форма ночи (2004); *Борхес Х. Л., Феррари О.* Новая встреча (2004); *Бласко Ибаньес В.* Куртизанка Сонника (2009); *Мачадо А.* Галереи души (2009); *Баррентексеа И.* Ведьмочка (2016); *Гарсия-Рохо П.* Море (2017).

Виктор АНДРЕЕВ

ИСПАНСКИЕ ПОЭТЫ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Хорхе МАНРИКЕ (1440–1479)

ПЕСНЯ

1

Чем более служить желаю вам,
тем более становится мне ясно:
вы с недоверием к моим словам
относитесь, и я, увы, напрасно
стремлюсь к тому, к чему стремлюсь я страстно.

2

Я знаю, что всегда слепа любовь
и что меня надежда ослепляла;
я слёзы лью, а вам и горя мало,
отчаявшись, я повторяю вновь,
что преданно служить готов я вам,
хотя, сеньора, мне и стало ясно:
вы с недоверием к моим словам
относитесь, и я, увы, напрасно
стремлюсь к тому, к чему стремлюсь я страстно.

ИЗ ПОЭМЫ «СТРОФЫ НА СМЕРТЬ ОТЦА»

Наши жизни суть реки,
они устремляются в море,
а море есть смерть;
неизменна вовеки
над нами, и в счастье, и в горе,
небесная твердь.



Как средь волн морских исчезает,
стекая с лона земного,
любая река,
так смерть себе забирает
и богача любого,
и бедняка.

Хуан БОСКАН (1495–1542)

* * *

Любовь есть благо? Но зачем она
печалит и терзает неизменно?
Блаженство даст? Но столь же несомненно
рыдать заставит, ревности полна.

Дает нам силы? И лишает сна.
В земной любви возрастать душе нетленной?
Но ведь душе не вырваться из плена.
Столь разнолика лишь любовь одна?

Нет, не любовь повинна в муках злых,
что тело брренное терзают снова.
Ей тяжело, коль не может нас спасти.

Зло не в любви, а только в нас самих.
Она всегда опорой стать готова
и нам покой желанный принести.

* * *

Мой Гарсиласо, ты легко шагал
не ведая своим победам счёта
и, если отставал ты от кого-то
то, шаг ускорив, быстро догонял.

Скажи, зачем меня с собой не взял
освобождаясь от земного гнёта
зачем в лазури горнего полёта
меня внизу оставить пожелал?

О да, я знаю, ты бы изменил
когда бы мог, то, что уже свершилось
и обо мне тогда бы не забыл.

Иль ты по-своему явил мне милость
иль, может, на земле решил проститься
чтобы со мной потом соединиться?

Гарсиласо ДЕ ЛА ВЕГА (1503–1536)

* * *

Уже у Дафны вместо нежных рук
всё удлиняясь, ветви появились
и волосы, что золотом струились
зелёною листвою стали вдруг;

полоски лавровой коры вокруг
прекраснейшего тела сотворились
и ноги юной нимфы превратились
в корни, претерпев немало мук.

А тот, кто был повинен в сём несчастье
стал горько слёзы лить, но он слезами
лишь дереву помог расти быстрее.

О, рок, несущий нам одни напасти!
Мы слёзы льём и помогаем сами
в потоках слёз расти беде своей.

Луис ДЕ ЛЕОН (1527–1591)

* * *

Она встаёт, прекрасная, с зарёй
сбирает в узел волосы неспешно
и украшает, прикасаясь нежно
младую грудь цепочкой золотой.

Она взирает с кроткою мольбой
на небеса и верит, что, конечно
её молитва для меня утешна;
затем танцует, просветлев душой.

Так я шепчу, в своем воображенье
рисую образ, сердцу дорогой
и полон я любви, гонимый роком.

Но исчезает без следа виденье;
придя в себя, гляжу вокруг с тоской
и льются слёзы горестным потоком.

Сан Хуан ДЕ ЛА КРУС (1542–1591)

ПЕСНЬ ДУШИ, КОТОРОЙ ДОСТАВЛЯЕТ НАСЛАЖДЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ВЕРЕ ПОЗНАТЬ БОГА

Живительный родник, он мне знаком
хотя и ночь кругом.

Извечный сей родник, сей потаённый.
Я знаю, где струится он, бессонный
хотя и ночь кругом.

Его исток для всех живых — в секрете
но знаю: он — исток всего на свете
хотя и ночь кругом.

Земли и неба жажду утоляет
и несравненной красотой сверкает
хотя и ночь кругом.

Переходить его вброд бесполезно
бездонный он, — и это мне известно
хотя и ночь кругом.

Прозрачен сей родник, и несомненно:
исходит из него свет всей вселенной
хотя и ночь кругом.



Струящийся поток не иссякает
он ад и рай, и землю омывает
хотя и ночь кругом.

Поток, рождённый родником, текущий
повсюду, он — я знаю — всемогущий
хотя и ночь кругом.

Извечный сей родник, сей потаённый
во имя нашей жизни сотворённый
хотя и ночь кругом.

В нём Божьи чада жажду утоляют
хотя к нему во тьме лишь припадают
поскольку ночь кругом.

Живой родник, к себе влекущий властно
его в земной я жизни вижу ясно
хотя и ночь кругом.

Мигель ДЕ СЕРВАНТЕС (1547–1616)

СОNET ИЗ РОМАНА «ДОН КИХОТ»

Святая дружба, в сей юдоли ты
среди людей недолго пребывала;
взлетев, ты в эмпирее воссияла
твои крыла, что солнца свет, чисты.

Нам указуешь с горней высоты
путь истый, лжи пронзая покрывало;
в людских деяньях добрых — зла немало
в тенетах мы духовной нищеты.

Сойди с небес иль воспрети вовеки
обману воплощаться в образ твой
в твои одежды чистые рядиться
чтоб зло не побеждало в человеке;
иначе будет мир объят враждой
и в изначальный хаос обратится.

Лопе ДЕ ВЕГА (1562–1635)

СОNET ИЗ ПЬЕСЫ «ДЕВУШКА ИЗ ЛА-ПЛАТЫ»

Сонет создать велела мне Вьоланта;
я рифмой и двух строк связать не мог
а тут — сонет, четырнадцать в нём строк!
Ведь это сколько надобно таланта!

Искать созвучий — дело музыканта;
но впрочем, выйдет из затеи прок...
Я был к себе, возможно, слишком строг:
вот два катрена. Это кто — профан-то?!

И хоть в себя не верил я вначале
но разве мне не по зубам терцет?!
Разгрыз! Покрепче взять орех нельзя ли?

Теперь — второй... Я не ошибся? Нет?
Считайте строки. Сколько насчитали?
Четырнадцать? Всё! Завершён сонет.



ГЛЕБОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА родилась в 1967 году в Санкт-Петербурге. Переводчик прозы и поэзии, книг для детей и взрослых; редактор, писатель. В 1989 году закончила филологический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «Английский язык и литература». С 1986 года — член семинара художественного перевода под руководством Эльги Львовны Линецкой. Лауреат Беляевской премии (2003) за перевод книги лекций Умберто Эко «Шесть прогулок в литературных лесах». Солауреат премии «Абзац» (2012) за перевод романа Лесли Дэниелс «Уборка в доме Набокова». Среди основных достижений — переводы книг Майкла Бонда о медвежонке Паддингтоне (2002–2018), поэмы В. Набокова «Бледное пламя» (совместно с С. Б. Ильиным, 2000), романа «Городок» Шарлотты Бронте (совместно с И. Б. Проценко, 2016), фундаментальной книги Пола Фассела «Великая война и современная память» (2015).

Александра ГЛЕБОВСКАЯ

С английского

Мервин ПИК (1911–1968)

ИЗ РОМАНА «ТИТУС ГРОАН»

По прибрежным древним кряжам
Поброди, мой друг, со мной,
В том и есть мой долг бродяжий
И богам ответ земной.
И стопой своей ступая
За твоей стопой вслед,
Глад души я утоляю,
Избывая мрачный бред.

По твердыням Горменгаста, —
О мечта моей мечты! —
Грусть со мною бродит часто,
Раз со мной не бродишь ты.

Я бродил по тёмным склепам
В мрачном Северном крыле
И жемчужниц створки слепо
Растворялись в вышней мгле,
Сонмы страхов злых, бесплодных
Следом крались вновь и вновь,
В заливных лугах холодных
Я бродил, моя любовь,

По гранитам Горменгаста, —
Ясный свет моей мечты! —
Грусть со мною бродит часто,
Раз со мной не бродишь ты.

Я бродил в пустых альковах,
Я вдыхал династий прах,
Я бродил в стволах древесных
И в подземных погребях.
Поздних путников пугала



Тень моя, скользя, как дым,
Вдоль холодного портала,
По ступеням винтовым.

Внемлешь поступь Горменгаста?
Внемли зов моей мечты!
Грусть со мною бродит часто,
Раз со мной не бродишь ты.

Поброди со мной, прошу я!
Обсудить нам предстоит
То, на что Он указывает,
Но о чём не говорит.
Дивный свет в моем сознание
Меркнет в одинокий час,
Мрачен образ мироздания,
Если нет в нём вместе нас.

Средь величья Горменгаста —
Яркий луч моей мечты! —
Грусть со мною бродит часто,
Раз со мной не бродишь ты.

С идиша

Кадя МОЛОДОВСКАЯ (1894–1975)

САПОЖКИ

Вот, гляди, стоит гора,
Вот под ней долина,
Вот сапожник на горе
С дратвой очень длинной.

Вот сапожник дратвой длинной
Помахал немножко,
Раз и два,
Да раз и два,
Вышли два сапожка.

Им сапожник говорит:
Ну-ка, за работу!
Он сидит, глядит в окошко,
Как уходят два сапожка,
Как уходят оба сразу
Исполнять его приказы:
Скажет — так идут за хлебом,
Скажет — так идут за чаем,
Ходят-ходят взад-вперед
Порученья исполняя.

Так шагали и шагали,
Только вдруг у двери встали.

Правый стукнул: ну-ка раз!
Левый стукнул: ну-ка два!
Приоткрылась дверь едва.

А за нею, бос и наг,
Маленький стоит бедняк.

Рядом с ним сапожки встали,
Никуда не пошагали.
Что ж сапожник? Так уж вот
Ждёт и ждёт
И ждёт, и ждёт...

Г. ЛЕЙВИК (1888–1962)

ЕЩЁ ОДИН УМЕР СОСЕД

Над миром зимы пелена
С самим собою беседа:
Мне смерть своя не страшна
Куда страшнее мне смерть соседа.

Без дела я маюсь с утра;
За рифмы возьмусь — всё не худо.
Я спрашиваю у пера:
Ты знаешь, кто мы и откуда?

Ты знаешь, что рядом, сейчас
Сосед умирает в больнице?
А может, смертный наш час —
Шаг к жизни на новой странице?

Ответа нет у пера
Бессмысленна наша беседа.
Меж тем — что? когда? где? пора? —
Уносят отсюда соседа.
Раскрытая стынет постель
Всё, вынесли за переборку:
У нас тут есть длинный туннель
Ведущий к больничному моргу.

Туда, через чёрный туннель
Увозят быстро и споро
Быстрее, чем вопросов метель
Заносит тропу разговора.

И вот — что? когда? где? пора? —
Сосед уже в морге больничном
А рифмы всё льются с пера:
Больничном — привычном — безличном.

Рассвет. Зимы пелена.
Всё длится с собою беседа:
Мне смерть своя не страшна —
Страшнее холодная койка соседа.

Исроэл РАБОН (1900–1940 или 1941)

КОТОТОРГОВЕЦ

Да, еду в Лутамирск... вот трогается поезд...
(А что меня туда несёт — и сам не разберу...)
Дремучее местечко, в нём грязи по колено
Но я же чокнутый, и мне такие тоже по нутру.



А по приезде окажусь на площади базарной
И там, небось, какой еврей окликнет с простоты:
«Эй, что торгуешь, а? Там, рожь иль, может, просо?»
«Рожь купишь ты, и просо — ты, а мне нужны коты!»

Вся площадь загудит: «Гляди, купец из самой Лодзи
Котов торгует — всех, пожалуй, скупит тут!»
Глядишь, и глазом-то моргнуть я толком не успею —
Всех местечковых кошек мне на площадь принесут.

Из закрома и из сеней, из подпола, из бани
Несут, ведут на поводке: кот серый, рыжий кот
Из синагоги, из корчмы, из всех лачуг окрестных
Идут ко мне: вот чёрный кот, вот белый, вот зелёный кот.

Достойные, дородные, добротные коты
У них на шее бантики и в волосах — проборы
Усы — точь-в-точь как у панов, как дамский шлейф хвосты
А есть коты — как пух легки, заправские танцоры.

Потом, глядишь, и сумерки на площадь упадут
И стану я совсем один в своём кошачьем стане.
И вылипится на меня местечко Лутамирск
И спросит: «Ну, и что теперь он с ними делать станет?»

Когда ж обычным чередом наступит полночь в мире
Поднимут с перепугу коты тоскливый вой.
О, братья, то моя печаль из плена одиночества
Наружу рвётся, чтоб потом разделаться со мной.

Да, еду в Лутамирск... А завтра пополудни
В глухой глуши останавлиюсь, и отдых дам ногам
И с мужиками толковать затею в лунном свете
Пока пылает торф, и мне тепло у очага.

Ицик МАНГЕР (1901–1969)

БАЛАДА О ВШИВОМ И РАСПЯТОМ

Вшивый встал на шляхе — а ночь темна —
И Распятого стал будить ото сна.

«Отчего ты решил, Иисус, что святей
Твой венец терновый слезы моей?

Отчего ты решил, Иисус, отчего
Что венец твой святее ярма моего?»

Бормочет Иисус: «Я младенец и сын
Дом мой — крест на ветру, и в дому я один».

Бормочет Иисус: «Горе горькое мне
И на белом снегу моей красной весне».

«Ну, а мой-то где дом? Не согреться никак:
Чернозём, паутина, и ночь, и сквозняк.

Всякий край мне — чужбина, никто мне не рад
Вши в лохмотьях моих, точно звёзды, горят.

А с тобой-то две женщины, ты не один
„Милый“, — шепчет одна, а другая: „Сын“.

Да пред каждую раной твоею — уста
Значит плоть твоя, Распятый, свята.

Пред тобой на коленях стоят у креста
Значит жертва твоя, Распятый, свята.

Я ж — как тень, как собака, что все гонят прочь
И она на дороге воет всю ночь».

Бормочет Иисус: «Ты открыл мне глаза,
Святы, Вшивый, и грязь твоя, и слеза».

И с креста плач серебряный льётся во тьме
Улыбается Вшивый, и к поздней корчме

Тяжким шагом бредёт, с довольным лицом,
За краюхою хлеба и кислым вином.

Николай ГОЛЬ*

С английского

Уильям ШЕКСПИР

СОНЕТЫ

1

Так мир устроен, чтобы красота
Не понесла смертельного урона:
Увянув, роза падает с куста, —
И расцветают свежие бутоны.

Но ты собой сегодняшним пленён
И новых лепестков не распускаешь;
Ты сам себе и роза, и бутон,
В себе самом ты сам себя сжигаешь.

Сберечь былую прелесть тщишься ты —
И дела нет до остального мира,
Но если речь о тайнах красоты,
То бережливый хуже, чем транжира.

Отцвёл среди богатства своего —
И что потом? А дальше — ничего.

4

Ты красотой неслыханно богат,
Но пользуешься ей не так, как надо.
Природа не дарует — вносит вклад
И вправе дивидендов ждать от вклада.

А ты, сквалыга, всё к себе его прибрал,
Не отдал в рост, и вот беда какая:
Вчистую обесценишь капитал,
С самым собою сделки заключая.

Когда тебя Природа призовет
(А это ведь случится может скоро),
Какой ты дашь финансовый отчёт
Суровейшему в мире кредитору?

Богач, ты жизнь покинешь, как банкрот,
И всё богатство ни за грош уйдёт.

* Об авторе см. на с. 45 настоящего издания.

18

Нет, не сравню тебя я с летним днём —
Ты многожды нежней и постоянной,
А он то сух, то слёзы льёт дождём,
То в поздний час чреват прохладой ранней,

То ветер совершит на сад набег,
То око солнца скроется за тучей...
Прекрасное прекрасно не навек:
Причиною всему в природе случай.

Тебе же предназначено судьбой,
Не ведая о времени и сроках,
Блистая неизменной красотой,
От смерти сохраниться в этих строках

И на века в них обрести приют:
Они живут — и жизнь тебе дают.

21

Я не из тех поэтов, что в стихах
Предмет любви сверх меры восхваляют,
Ища ему сравненья в небесах:
Мол, эти очи звёздами сверкают,

А эта кожа месяца белей,
А щёки, как восход, пылают ало, —
Иль ищут сходства в глубине морей:
О, жемчуг шеи! Ах, уста-кораллы!

К чему мне множить образы? С чего?
Предмету моего изображения
Для описанья красоты его
Не требуются преувеличенья,

Он сам собой хорош. И, наконец,
Он — не товар, а я — не продавец.

23

Подобно неумехе-лицедею,
Забывшему на сцене нужный стих,
Или тому, кто, в гнев свирепея,
Теряет чувства от избытка их, —

Перед тобою мой язык смолкает,
И я немного делаюсь немей,
И кажется — любовь ослабевает
Под грузом силы собственной своей.

Но ты же видишь: остаются взоры.
Они верней, чем сотни слов подряд.
Я говорю ясней, чем тот, который
Меня красноречивее стократ.

Раз есть глаза, излишни рты и уши:
Глазами говорю — глазами слушай.

66

Не жить, не видеть, вечным сном уснуть:
Величье побирается под дверью,
И низость ввысь прокладывает путь,
И вера ложью ввергнута в безверье,
И почести бесчестьем воздают,

И честь девичья пущена по кругу,
И перед правдой прав неправый суд,
И услуженье ставится в заслугу,
И вздор диктует истины уму,
И власть уста замкнула златоусту,
И дух свободы сам идёт в тюрьму,
И свято место оказалось пусто...
Не жить, не видеть, сжечь бы все мосты,
Да пропади всё пропадом! Но ты...

70

Пусть говорят, что в голову придёт:
Прекрасное всегда мишень для сплетни,
Она над красотой вершит полёт
Вороной чёрной по лазури летней.

Положим, что греха не знаешь ты
(Хоть кто безгрешен в наше лихолетье?),
Но красота — еда для клеветы,
Как для червей — чудесные соцветья,

И если искушеньям вопреки
Ты всё же устоишь перед соблазном,
Не обойдут людские червяки
Тебя своим злословием заглазным,

Но в раме из завистливых клевет
Ещё прекрасней станет твой портрет.

71

Горюй по мне не дольше, чем рыдать
Церковный будет колокол, гласящий,
Что низкий мир сумел я поменять
На низший мир, червём кишмя кишаший.

Все эти строки позабудь скорей
(Прочтёшь ли ты моё стихотворенье?)
Я так тебя люблю, что мне страшней
Твоё страданье, чем твоё забвенье.

Когда прочтёшь, я в прах и перегной
Уже преобразусь, и пусть во имя
Самой любви твоя умрёт со мной,
И руки позабудутся, и имя,

Чтоб этот мир, безжалостный палач,
Тебя не осмеял за горький плач.

72

Когда умру, забудь меня скорей,
Тем крепче, чем любовь была огромней, —
И если спросит кто-нибудь о ней,
Ответить сможешь искренне: «Не помню».

Иначе не избежать будет лжи,
Нанизанной на правду неумело.
Я так ничтожен, что за что, скажи,
Меня любить? Вот в этом-то и дело.

Спеш и имя там же схоронить,
Где будет плоть засыпана землёю,
Чтобы горячих чувств не остудить
Постылою посмертной суетою,

Чтоб не краснели, к своему стыду,
Я — в преисподней, ты — в земном аду.

73

Смотри, я — осень. Листьев мало: их
Сметает наземь стылыми ветрами,
И клирос ветхих веток, чуть живых,
Уже не вспыхнет птичьими псалмами.

Гляди: я — вечер. Свет уходит прочь
За окоём, и тени встали строем,
И, словно Смерть, всё поглощает ночь,
Покоем окружая, как конвоем.

Взгляни: я — уголь в меркнувшем костре,
Где пламя жизни сделалось золою.
Огонь на смертном возлежит одре,
Он в пепел обращён самым собою.

Ты видишь всё — и тем любовь сильнее,
Чем меньше для неё осталось дней.

81

Ты или я, я или ты — не знаю,
Кто раньше в мир отправится иной,
Но в этих строчках мирно пребывая,
Ты в памяти останешься живой.

Не то, что я: меня забудут сразу,
Едва успеют яму забросать,
А ты в прозрачном саркофаге глаза
Предстанешь пред читателем опять.

На берег дней грядущих лягут сходни,
И к памятнику строк моих сойдут
Те, кто ещё не рождены сегодня,
Когда уже рождённые умрут.

Ты никогда не обратишься в прах,
Дыша любовью на чужих устах.

121

Идёт слушок: я виноват кругом,
Молва мои грехи стократно множит.
Но может ли другой судить о том,
Каков я есть? По-моему, не может.

Я вижу ясно этого судью:
Всех непохожих в негодах числи! —
И искажают прямо́ту мою
Кривые зеркала паскудных мыслей.

Я — это я, и о своей вине
Всё знаю сам, а соглядатай внешний,
Свои грешки приписывая мне,
Напрасно стать надеется безгрешней.

Пускай же он не будет слишком строг:
Да, я не ангел, но и ты — не Бог.

Елена ДУНАЕВСКАЯ*

С английского

Эдмунд СПЕНСЕР (ок. 1552 — 13 ЯНВАРЯ 1599)

ИЗ ЦИКЛА «АМОРЕТТИ»

СОНЕТ 5

Сочли вы слишком гордой и надменной
Любимую, но это — оговор.
Достоинство, что для меня бесценно,
Ей ставят недостойные в укор,
Затем, что лик её даёт отпор
Обману, грязи, низости, навету.
Она приковывает всякий взор,
Для взоров дерзких холодом одета.
Ей к чести гордость и надменность эта —
Они и щит невинности, и знак,
И безмятежность, словно зная света,
Над милой реет, да смутится враг.
Все лучшее, что в мире есть, едва ли
Без гордости подобной создавали.

СОНЕТ 23

Жена Улисса ткала пелену,
Но распускала свой дневной урок,
Как только в доме отойдут ко сну,
И новой свадьбы отдаляла срок.
Так, видя, что от страсти изнемог
И сети я плету неутомимо,
Любимая всегда найдёт предлог,
Чтоб труд мой долгий сделать струйкой дыма.
Я побеждаю, но победа — мнима,
Начну я вновь — и сызнава разбит:
Единым взором труд губя незримый,
Она тенета в тени обратит.
Так погибают сети паука
От первого дыханья ветерка.

* Об авторе см. на с. 60 настоящего издания.

СОНЕТ 44

Когда, о золотом руне забыв,
Друг с другом бились воины Элады,
Орфей смирял их яростный порыв
И лира исцеляла все разлады.
Что ум для страсти? Хрупкая преграда,
И вот в братоубийственной войне,
Где чувство чувству не даёт пощады,
Душа подобна выжженной стране.
И лира бедная не в радость мне:
Она врагов лишь распаляет боле.
Вскипают страсти по её вине
И горе надо мной глумится вволю.
И чем искуснее мирю врагов,
Тем больше злоба их упорных ков.

СОНЕТ 68

Владыка жизни вечной, в этот день
Ты смерть и первородный грех попрал,
Ты в ад сошёл, под гробовую сень,
И нам, рабам, свободу даровал.
О Господи, начало всех начал,
В день радости ты радость нам яви,
За нас ты Богу кровью выкуп дал,
Так счастьем наши дни благослови.
О Господи, пошли нам дар любви
И ею научи Тебе воздать,
И нас любить друг друга вдохнови,
С любовью в сердце другу угождать.
О милая, давай любить друг друга.
Господь нас учит, что любовь — заслуга.

СОНЕТ 73

Ты далеко, и я с собой в разладе,
И рвётся сердце из своей темницы.
Все пути, кроме этих дивных прядей,
Оно презрело и к тебе стремится.
Оно летит к тебе подобно птице,
Что к пище устремляется проворно.
Твои глаза и длинные ресницы
Для сердца то же, что для птицы зёрна.
Не отвергай мольбы его упорной:
В твоей груди, в обители желанной,
Пускай живёт, пускай, любви покорно,
Тебя стихами славит неустанно.
И ты увидишь, что в груди прекрасной
Ты приютила птицу не напрасно.

П. Б. ШЕЛЛИ (1792–1822)

ИЗ ПОЭМЫ «ДЖУЛИАН И МАДДАЛО»

Так на скаку беседу мы вели,
И крылья смеха нашу мысль влекли



Стремительно — и средь часов беспечных,
Минувших, беспечальных, быстротечных,
Согласные, витали мы душой.
Но гаснет пыл, едва свернёшь домой.
День завершался, солнечный и свежий,
Порывы ветра становились реже,
И резвость вдруг покинула умы.
О главном с ним заговорили мы.
С душою лёгкою и бесприютной,
Улыбкой задевая поминутно
Саму беседу, не её предмет,
Мы говорили (как писал поэт
Так дьяволы толкуют в преисподней
Свободу воли и пути Господни)
О прошлом и о будущем Земли,
О том, что лишь в мечтах узреть могли
И в муках воплотить. Но он в пустыне
Отчаянья скитался из гордыни,
А я считал, что сильный извлечёт
Урок надежды из любых невзгод.
Но знание своей безмерной силы
Орлиный взор, духовный взор слепило:
Он был у друга внутрь устремлен,
И собственных лучей не вынес он.
Смеркалось. Солнце гасло за горами,
И был, благословенный небесами
В закатный час прекрасен этот край —
Италия, изгоев горький рай!

У. Б. ЙЕЙТС (1865–1939)

ИРЛАНДСКИЙ ЛЁТЧИК ПРЕДВИДИТ СВОЮ СМЕРТЬ

Я знаю, выше облаков
Я должен встретить свой удел.
Я не мечтал разбить врагов
И счастья ближних не хотел.
Мои края — Килтартан-Кросс —
Для бедняков отвёл Творец.
Ни облегчения, ни слёз
Не принесёт им мой конец.
И не закон, не ложный долг,
Не вождь, не вера, не приказ —
Один стремительный восторг
Меня забросил в облака.
Я вспомнил, словно наяву,
Ту жизнь, в которой негде сметь,
И выбрал эту синеву,
И эту жизнь, и эту смерть.

АДАМ БЫЛ ПРОКЛЯТ

Мы говорили о стихах втроём:
Красавица с приветливым лицом
И мы с тобою — на исходе лета.
И я сказал: «Порой корпят поэты

Над строчкою, но строчке грош цена,
Когда хоть капля пота в ней видна.
И легче днями, стоя на коленях,
Скрести полы или дробить каменья,
Как у дороги нищий в непогоду,
Чем звукам сладостным давать свободу
И знать, что шумный и крикливый мир —
Любой священник, педагог, банкир, —
Тебя за труд, тягчайший в мире труд,
Считает праздным.
Отвечала тут
Красавица, чей голос так глубок
Так мягок и приветлив, что обрѣк
Столь многие сердца столь долгим мукам:
«Быть женственной — нелёгкая наука
Которой в школах не преподают.
Но наша прелесть — это тоже труд».
И я сказал: «С тех пор, как пал Адам,
Прекрасное в трудах даётся нам.
Когда-то и любовники служили
Своей любви в высоком, сложном стиле,
Вздыхали важно, повторяли длинно
Слова из книг, прекрасных книг старинных.
Всё это праздный вздор для наших дней».

Мы смолкли. Небо сделалось темней,
И поднялась над углями заката
Из зыбкой синевы зеленоватой,
Как раковина, полая луна
Чей перламутр сточили времена,
Дробя валы о звёзды ежечасно.

И я подумал: ты была прекрасна,
Я силился сложить к твоим коленям
Всю высоту старинного служенья,
И что ж в душе? На нас глядит со дна
Усталость, как ущербная луна.

ВЫБОР

Одно из двух. И если смеет разум
Не жизнь, но труд всей жизни предпочесть,
Уют на небе для него заказан,
В ночи он бьётся за свою же честь.

Его труды окончены, и что же?
Он победил, он в чём-то подкачал?
Одно из двух: безденежье изложет
Иль почести и совесть — по ночам.

* * *

Развалился плач на куски
На лицах туман пеленою
Снега хрупкие лепестки
Твои руки целованы мною
Листья летят легки.

С итальянского

Джакомо ДЗАНЕЛЛА (1820–1888)

* * *

Небесных облаков изменчив лик;
Ведомы прихотливыми ветрами
Они бредут лазурными тропами, —
То явятся, а то исчезнут вмиг.

Топазовый, пурпурный светит блик
Мерцает серебро, ярится пламя
То вдруг кентавр проносится над нами
То чудище морское кажет клык.

Шагают, как в пустыне караваны
Меняя на ходу черты и цвет
В самой изменчивости постоянны.

Так точно путь свой тёмный в бездну лет
Стремят под ними племена и страны —
И сходный с ними оставляют след.

Габриэле Д'АННУНЦИО (1863–1938)

СТАТУЯ

Кто спустится по лестнице крутой
К пруду, где лебеди, напряжив шеи
Заглядывают искоса, робея
В сплетенье веток, в полумрак густой?

Замшелый туф сереет над водой
Что спит в кольце, волны поднять не смея
Назло векам в темнеющей аллее
Белеет призрак старины седой.

Внезапный страх оледенит виски
Едва завидишь на своей дороге
Колосса сквозь сплошные тростники.

Уже склонилось солнце, понемногу
Последние роняя лепестки —
И просветлела высь в тоске по Богу.

* * *

Чуть не срываясь с трепетных ветвей
Что столь обильно Август белокурый
Усыпал яблоками — их свежей —
Глазеют вниз румяные Амуры.



Вакханки пляшут — эй, живей, живей!
По ветру вьются золотые шкуры
Неистовая песнь летит с полей
Перекрывая моря ропот хмурый.

Цветут под ветром средь бесплодных вод
Дрожащие цветки — и, вдоль излуки
Белея, тают на берегах душистых.

Крепчает ветер. Буйный хоровод
К волнам цветущим простирает руки
Под летним ливнем яблок золотистых.

Джованни ПАСКОЛИ (1855–1912)

НОЯБРЬ

Так солнце греет, небо так просторно
Что ищешь взглядом персики в цвету
И горечь распустившегося тёрна
Всё чувствуешь во рту.

Но нет — деревья голыми ветвями
Перекрестили блещущий зенит
Пуст небосвод, и гулко под ногами
Земля звенит.

Какая тишь кругом — и только где-то
В сквозящей светом глубине лесов
Летит листва лавиной ломкой...Лето
Студёное, для мертвецов.

Сибилла АЛЕРАМО (1876–1960)

ЯСНАЯ НОЧЬ

Ясная ночь, белые крылья времени, разворот небосвода.
Я протянула руку — схватила, хочу подарить, подарить.
Нас могут увидеть. Нет, не меня, а руку, держащую
Хрустящие крылья, великую тишь, звёздное побережье.

Джузеппе УНГАРЕТТИ (1888–1970)

НОЧНАЯ ДОЛИНА

Лицо
этой ночи
сухое
как старый
пергамент

Кочевая долина
вогнутая
хрупкая снежная
неподвижна
как высохший
лист

Неудержимое
время
со мной обращается
как
с шелестом шорохом хрустом

С испанского

Франсиско БРИНЕС (род. в 1932 г.)

КОГДА СМЕРКАЕТСЯ В ЛЕСУ

Прекрасного заката бледный свет
Пронзивший хмурые английские леса, —
Есть время.
Время тихо умирает
В моём спокойном взгляде
И гаснет вместе с временем земным.
Всё в жизни
Естественным путём стремится к смерти
И неоплатный дар дышать и жить
К небытия теснине приближает.

Мой взгляд покоится на хмуром лесе
А тот колышется столь соразмерно
Что, кажется, дыханье, дух его
Неошутимым счастьем в грудь пролились.
Как завершится возраст человека
Так завершится век земли;
И смутный контур осязтимой близости
Сперва утонет в сумрачной дали
Потом уйдёт во тьму.

Бросаю взгляд живой в лесную мглу.
И счастье глубже коренится в сердце
Когда в постылый одинокий час
Встают передо мной бывшие тени —
Расплывчатые очертанья лиц:
Глаза глядят с любовью, ждут участия
Мне предлагают неостывший пепел.

Я в сумерках своей коснулся плоти —
Она едва теплилась угольком
Была сама почти что пепел.
И очертания лица расплылись.

Послушайте: я счастлив вам сказать
Что жизнь прекрасна.



МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА родилась в 1955 году. Переводчик, доктор филологических наук, профессор кафедры скандинавской и нидерландской филологии С.-Петербургского государственного университета. Кандидатскую диссертацию (1987) начала писать под руководством М. И. Стеблин-Каменского, затем В. П. Беркова; Берков же стал консультантом при написании докторской диссертации (2009). Важнейшие публикации: учебник нидерландского языка «Goed zo!» (Т. I–III; соавт. Х. Боланд. СПб.; Амстердам, 1997–2002); монография «Язык нидерландской поэзии и проблемы поэтического перевода» (СПб., 2007); История нидерландской литературы «От Лиса Рейнарда до Сна богов» (Т. I–III. СПб., 2013–2015).

Ирина МИХАЙЛОВА, Алексей ПУРИН*

Гвидо ГЕЗЕЛЛЕ (1830–1899)

Гвидо Гезелле — первый фламандский поэт. Первый в том смысле, что до него поэзии на фламандском языке фактически не существовало. И первый в том смысле, что его лирика — самое значительное явление во фламандской поэзии, оказавшее неоценимое влияние на становление нидерландскоязычной поэзии в целом. Католический священник, преподаватель в семинарии, Гезелле оставил огромное поэтическое наследие.

ЭЙ ТАМ, КАПЛЯ ЧИСТОЙ ВЛАГИ

Эй там, капля чистой влаги,
в дивной дрожи и ленце,
в горне холоде отваги,
в бриллиантовом венце!
Красный, синий и зелёный,
фиолетовый игрой
переливчато-влюбленной
оживляют облик твой!
Эй там, капелька кристалла,
яркий маленький алмаз;
лишь дохнёшь — тебя не стало,
ты упал — и блеск угас!
Нет, не падай, ах, не падай:
слишком мёртв и чёрен прах,
чтобы быть тебе отрадой, —
лучше спрячься в облаках.

ТЫ О СТИХАХ

Ты о стихах, поэту милых,
готов легко судить,
не в силах
сам строчки сочинить!
Стихописание — дар от Бога
не всем, иных утех
премного —
искусство ж не для всех!

* Об авторе см. на с. 166 настоящего издания.

Цвети, коль носишь облик розы;
Ты — ключ? — твои желан-
ны слезы;
но тот, кто жбан, тот — жбан!

Не мыслит жук ожить в верблюде,
ворона — стать пчелой,
но люди
глупей зверей порой!

Так, каждому своё! Солдатам
положена картечь
к их латам.
Поэтам — слово, речь!

О, ДУХ ПОЭЗИИ

О, дух поэзии, не ты ли
меня, раба, спасал из пут —
и дивны были
превоздаяния за мой ничтожный труд!

Ты, сущий, был что кров и пища
мне там, где умер бы другой,
среди пепелища, —
и в мире дара нет, сравнимого с тобой.

Ты жгучей раны, дух целящий,
касался, нежного нежней, —
о неболящей —
я тотчас забывал, излеченный, о ней.

И ты мне рек тысячекратно,
но я пересказать того
не в силах внятно —
сладкоголосья где сыскать мне твоего!

ПОГЛЯДИ

Погляди, два ручеечка
резво мчатся среди трав,
гальки, камешков, песочка,
от зигзагов не устав,
звонко, ломко напевая,
исчезая и сияя,
здесь — сейчас и тотчас — там...
А куда, не знаю сам.

Мельче пальца у истока,
народившись из песка,
два серебряных потока
шириною в два вершка
закружились вдруг на месте
и слились, и мчатся вместе,
здесь — сейчас и тотчас — там...
А куда, не знаю сам.



О, ЗЛАТОГЛАВОЕ СВЕТИЛО

О, златоглавое светило,
чьим пылом жизненная сила
дана всему,
кому обязано орбитой
своей ты, синевой сокрытой,
чьему уму?

Ты восстаёшь из-за предела,
куда земное не глядело;
твои лучи
читит человек, и зверь, и птица, —
пока не канет колесница
твоя в ночи.

О, солнце, о, зеркальный глянец,
ты — зримый ответ, ты — посланец,
посол Того,
Кто *Аз есмь* — и повелевает,
Кого прекрасней не бывает;
ты — герб Его?

Как по гербу — всю мощь владыки
и сколь владения велики
так всяк бы мог
узнать по блещущим камням
Царя, не емлемого зреньем,
чьё имя — Бог!

* * *

Спящие почки

Ещё не рождены,
они, уже зачаты,
не обретенья, нет,
ещё, но не утраты, —
так ворох разных рифм
лежит во мне и ждёт,
когда — для каждой свой —
рождения миг придёт.

Так дремлет под корой
упрятая почка,
таясь, и до поры
не выпустит листочка, —
но лист, и цвет, и плод
уже хранит она —
наступит день и час
очнуться им от сна.

PLATANUM ORIENTALIS L.

Вблизи, вдали, и там, и сям
опавшими листьями
заляпан путь мой, словно тут
красильщик пятернями
дорогу захватал — и вот
она вся желтизной цветёт.

Платанов пышная краса,
пронизанная светом,
несла в саду прохладу нам
благословенным летом.
Но вот уже седой зимой
ревниво веет ветер сырой.

И вы, что долгий тёплый век
там, в вышине, прожили
и, нежась в солнечных лучах,
с рожденья не тужили,
теперь лежите предо мной
унылой бледной пеленой.

Не так ли падает к ногам
стрелка лесная птаха:
вчера парила в небесах,
а днесъ — жилища праха, —
вотще родимой синеве
крыла раскрыв, дрожит в траве.

И совестно, платаны, мне
в грязь втоптывать стопую
ткань ваших сказочных одежд,
что прежнею порою
дарила мне приют сквозной,
когда дышал тяжёлый зной.

Ваш шёлк так нежно шелестел
от ветерка, что, дуя,
сквозь ваши кроны сам собой
как бы скакал, гарцуя...
О, чище б — шелест был так чист! —
и лучший не сыграл арфист!

Так было! А теперь, увы,
лишь голос погребальный
звучит... Но снова, снова май
вернётся беспечальный, —
и вновь теней оживших сеть
вздохнёт, где ныне тлеет медь.

* * *

Если сердце слышит,
всё вокруг поёт, зовёт,
нежным знаньем дышит,
речью вдумчивой живёт:
листья молодые
шелестением полны,
волны голубые
плещут, шумны и вольны,
дол и высь над нами —
тропы, где Господь прошёл, —
шепчут нам словами
тайный сладостный Глагол...
если сердце слышит!

Давид РАСКИН*

С немецкого

Георг ТРАКЛЬ (1887–1914)

DE PROFUNDIS

Это — жнивье под чёрным проливным дождём.
Это — дерево, стоящее одиноко.
Это — ветер, шуршащий вокруг опустевших хижин.
Как тосклив этот вечер!

За хутором, вдали
Бледные черницы жнут скупые колосья.
Их глаза, золотисто-округлые, пасутся в сумерках.
Небесного жениха ожидает их лоно.

Возвращаясь
Пастухи находят сладкую плоть,
Гниющую средь колосьев.

Я — тень далёких чёрных деревень.
Божье молчанье
Пью из колодца рощи.

На лбу проступает холодный металл.
Ищут сердце моё пауки.
Это — свет, погасший в моих губах.

Ночью стою в степи
Пристально вглядываясь в мусор и пыль звёзд.
В орешнике
Звенят хрустальные ангелы.

Готтфрид БЕНН (1886–1956)

**МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
ИДУТ ПО РАКОВОМУ БАРАКУ**

Он:

Вот здесь лежат проеденные груди,
А там — проросших внутренностей ряд.
Смердит бельё. Меняются сиделки.

* Об авторе см. на с. 170 настоящего издания.

Спокойно загляни под простыню —
Вот эти глыбы жира, сгустки соков
Когда-то были ростом с человека
И назывались хмелем и отчизной.

Гляди — рубец темнеет на груди
Ощупай чётки мягких узелков
Не бойся — мясо не почует боли.

Там — хлещет кровь, словно из сотни тел
У одного не наберётся столько
Взгляни — прорезался ещё один
Нежданный плод разрушенного лона.

Все спят. И днем, и ночью. Новичок
Подумает: здоровый сон. Проснутся
Лишь по приёмным дням, под воскресенье.

Жуют лениво. Пролежнями плечи
Покрыты. Вьются мухи. Иногда
Их моют санитарки. Как полы.

Здесь поле к каждой койке подошло.
Стремится в пашню мясо. Жар упал.
И сок готов потечь. Земля зовёт.

Георг ГЕЙМ (1887–1912)

ОФЕЛИЯ

1

Гнездятся крысы водяные в косах.
Насильно руки выпрямил прилив,
Как плавники. Плывёт меж трав белёсых
Подводный лес собою затенив.

Последний луч, в подводной мгле дрожа,
Проник ей в мозг — в скорлупчатую тьму.
Как умерла она? И почему
Совсем одна плывёт вдоль камыша?

Внезапный ветер заросли потряхнёт
Вспугнёт летучей мыши острый след.
Взмах тёмных крыльев, влажный силуэт
Она — как шорох в тёмном беге вод —

Ночная туча. Белый угорь к руке
Скользит. На лбу мерцают светляки.
И плачут плёс и выгон у реки
О молчаливой муке и венке.

2

Хлеба. Стерня. Страды кровавый пот.
Спокоен жёлтый ветер дальних нив.
Так, птица сонная, глаза прикрыв,
Под покрывалом белых крыл плывёт.

Голубоватым веком углублён
Потухший взгляд, и музыка слышна.
О пурпуре далёких губ она
В вечной могиле видит вечный сон.



Вперёд! Туда, где мчит в кипенье сквозь
Плотину побелевшая вода
Где людные грохочут города
И воплем улиц эхо разнеслось.

Машинный лязг. Колокола. Звонки.
Борьба. Где угрожающе глядят
Слепые стёкла в сумрачный закат
И мощный кран гудит из-под руки —

Тиран с лицом чернеющим. Рабов
Коленопреклонённый чёрный строй.
И груз мостов цепями над рекой
Навис и давит. Приговор суров.

Её не видно в шестии волны
Но вслед за ней стремится напролом
Толпа, и скорби тeneвым крылом
Речные берега осенены.

Вперёд! Туда, где веет темнотой
Прохладный запад, примиряя взгляд
И нежною усталостью объят
Тёмно-зелёный вечер луговой.

Её, волной прикрытую, поток
Вдоль гаваней печальных зим влечёт.
Сквозь вечность. Мимо времени. Вперёд!
И дым заката стелется у ног.

Пауль ЦЕЛАН (1920–1970)

* * *

В них пребывала земля, и они
рыли землю.

Рыли и рыли они. Так проходил
их день, их ночь. И они не славили бога,
который, как они слышали, хотел, чтобы было всё это,
который, как они слышали, знал всё это.

Они рыли, и больше не слышали ничего
не стали мудрее, не сложили ни одной песни
не придумали ни одного языка.

Они рыли.

Была тишина, и буря, и мрак
а после пришло и море.
Я рою, ты роешь, и роет червяк
и сказал певец: они роют.

О некто, никто, о ты, о тот:
Где же ты? Лишь нигде налицо.
Ты роешь, я рою навстречу ход
и проснёшься — на пальце кольцо.

Калерия СОКОЛОВА*

**ИЗ ЦИКЛА
«ПЕРЕВОДЫ МОЛОДЫХ УЗБЕКСКИХ АВТОРОВ»**

1. Хулкар Ғаффорова (род. в 1985 г.), г. Навои

Обрамляя отчизны пейзаж,
Золотые ликуют поля.
Чтоб услышать, как зашелестят тополя,
В знойный полдень чего не отдашь.

В этом пекле купается день,
И со щёк его капает пот.
Летний ветер поёт колыбельные тем,
Кто на жаркой ладони живёт.

2. Шавкат Одилжон (род. в 1989 г.), г. Самарканд

Люблю её давным-давно
Никак признаться не решусь.
Она же, зная и дразня,
Мою удваивает грусть.

Спросила недотрога: Как
Нашёл меня? — Во сне видал.
Подумал про себя: «Едва
Нашёл. Когда же потерял?!»

* Об авторе см. на с. 195 настоящего издания.



СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1952 году. Переводчик, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Основные публикации: У. Блейк (СПб., 1993), Т. С. Элиот (СПб., 1994), Р. Киплинг (СПб., 1994), Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит (СПб., 1995), Дж. Р. Р. Толкин. Приключения Тома Бомбадила (СПб., 1996), Э. По (СПб., 1997), Э. Дикинсон (СПб., 1998), У. Шекспир. Сонеты (СПб., 1999), Дж. Донн (СПб., 2000), У. Шекспир. Гамлет. Сонеты. (СПб., 2008). Автор книг: «Шекспировы сонеты, или Игра в игре» (2003), «Плохой „Гамлет“» (2017).

Сергей СТЕПАНОВ

С английского

Уильям ШЕКСПИР

СОНЕТЫ

12

Когда часов ударам гулким внемлю,
Следя, как тонет день во мгле ночной,
Фиалку видя, лёгшую на землю
И серёбрёный локон вороной,

Когда всё пусто в роще оголённой,
Где в знойный полдень прятались стада,
Когда с возов свисает похоронных
Снопов окладистая борода,

Я думаю о том, что станет
С тобою и со всей твоей красой?
Любой росточек в этом мире вянет,
Ему на смену тянется другой.

Косою косит время всё на свете.
На эту косу камень — только дети.

30

Когда зову в немых раздумий суд
Из памяти свидетелей былого,
Они печалей череду несут —
И в прежних бедах мучаюсь я снова.

Сухие очи я в слезах топлю,
Друзей ушедших снова поминаю,
О всех возлюбленных я вновь скорблю,
О тех, что в Лету канули, стенаю.

И вновь печалей старое вино
Я пью, перебирая наудачу,
И по счетам, оплаченным давно,
Я сызнава плачу, плачú и пла́чу.

Но вспомню о тебе — и боль трикраты
Утрачивают все мои утраты.

42

Она — твоя, её не так мне жаль,
Хотя потеря эта хуже пыток.
Но ты — её, вот главная печаль,
Вот в чём невосполнимый мой убыток!

Но я молчу, обоих не виня:
Её ты любишь, зная, что я — тоже.
Она ж, любя, обидела меня —
Ведь ты, любя, её одобрил всё же.

Утратил я тебя — нашла она,
Её утратил — ты нашёл счастливо:
Вы счастливы, а боль моя двойна,
Так из любви мне горе принесли вы.

Однако же едины ты и я —
И, стало быть, любовь моя — моя.

52

Я, как богач, который под запором
В ларце храня сокровище своё,
Не каждый день его вкушает взором,
Чтоб не тупить блаженства остриё.

И потому столь велико веселье
По праздникам, что мало их в году,
И потому камения в ожерелье,
Что покрупней, имеют череду.

Тебя так время держит в заточенье
Как шкаф, парча в котором заперта,
Но выберет для торжества мгновенье —
И отворит тюремные врата.

О миг с тобой! В моей груди он будит
Блаженство — был! И предвкушенье — будет!

63

На день, когда, как я, моя любовь
Себе весь ужас времени откроет,
Когда похолодеет в жилах кровь
И старость лоб морщинами изроет,

Когда к обрыву ночи подойдёт
И, глядя на красы своей владенья,
Он не найдёт весны своей красот,
Годами стёртых в прах без сожаленья, —

На день тот я оружие держу,
Сберечь его красу оно поможет:
Теперь её не выскоблить ножу,
Который тряпки плоти уничтожит.

В колонке чёрных строк он будет жив
Невозмутимо молод и красив.



66

Зову я смерть, я видеть не хочу
Достоинство во скудости постылой,
Ничтожество, одетое в парчу,
Невинность, что помята грубой силой.

И вероломства дружелюбный взор,
И совершенство, грязью облитое,
И не по чести почести позор,
И поправленную мощь немогого,

И торжество учёности пустой,
И рот искусства, заткнутый жестоко,
И искренность, что кличут простотой,
И добродетель в слугах у порока.

Зову я смерть, но всё же сознаю,
Что мне не бросить здесь любовь мою.

71

Ты смерть мою оплакивай не доле,
Чем колокол тебе речёт о ней,
Что я уже из низкой сей юдоли
В нижайшую сошёл юдоль червей.

И, бросив грустный взгляд на эти строки,
Не думай о руке, писавшей их.
Забудь! Ведь муки памяти жестоки.
Люблю тебя, не надо слёз твоих!

Так вот, когда меня поглотит глина
Не надобно мне памяти земной
И твоего не надобно помина —
Пускай твоя любовь умрёт со мной.

Чтобы не мог, моё услышав имя,
Глумиться мир над стонами твоими.

72

Когда умру, забудь меня, мой друг,
Чтоб никогда не предавать злословью,
Из-за каких таких моих заслуг
Возлюблен был я нежною любовью.

Их не было. Но ты, меня любя
Достоинств мне припишешь целый ворох
Которых ждут услышать от тебя
И не признает истина которых.

И чтоб своей любви не запятнать
Сим из любви похвальным оговором,
В земле со мной дай имя закопать,
Чтоб не звучало нам оно позором.

Мне стыдно — и со мною наравне
Стыдиться будешь за любовь ко мне.

73

Во мне такую пору видишь года,
Когда листвы закончились пиры,
Остатки коей треплет непогода,
На хорах голых смолкли птиц хоры.

Во мне ты видишь сумерки такие,
Когда закат уже почти иссяк
И ночь, как смерть, кладёт свои слепые
Печати, погружая всё во мрак.

Ты видишь головню на пепелище,
Что теплится в золе минувших дней,
Чья некогда живительная пища
Теперь ложится саваном над ней.

Ты видишь всё, и всё ты понимаешь —
И любишь крепче то, что потеряешь.

81

Иль мне тебе надгробный стих слагать,
Иль ты меня проводишь до могилы,
Тебя отсюда смерть не в силах взять,
Хоть взять меня у ней достанет силы.

Здесь имя сохранишь ты на века,
Без имени я кану в тених ночи,
В простой могиле пищей червяка,
Тебя ж узреть живые смогут очи.

Твой памятник — мой стих, его узрят
И прочитают очи лет грядущих,
И языком грядущим повторят
Когда умолкнут языки живущих.

Ты будешь вечно жив в моих стихах
Живым дыханьем духа на устах.

90

И если бросишь, брось меня теперь,
Теперь, когда я предан страшным карам.
Не будь последней из моих потерь,
Порви со мной — и не тяни с ударом.

Порви теперь, а не когда-нибудь,
Когда из бед я выйду безмятежным.
Ты ливнем после бури в ночь не будь
И не тяни с разрывом неизбежным.

И если бросишь, то не надо ждать
Пока всю горечь бед своих измерю.
Порви со мной теперь и дай познать
Сперва наигорчайшую потерю.

И сколь ужасна ныне жизнь моя
Тебя утратив, не замечу я.

Михаил ЯСНОВ*

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИРИКИ XVII–XX веков

Никола ВОКЛЕН ДЕЗИВЕТО (1567–1649)

* * *

Иметь не больше слуг, чем денег, и стремиться,
Взыскую сладких нег, быть с совестью в ладах;
Желаньям потакать, но чтобы дух не чах
И не была душа у слабостей должницей;

Быть независимым от спеси и амбиций
Но чтобы родичи ходили в богачах;
Посулы выполнять, дабы не мучил страх,
Что попусту пришлось свободой поступиться;

Картины, музыка, стихи, речная гладь —
Работою себя не слишком утруждать
Зато в трудах любви вершить свою карьеру;

Быть в сердце короля, но видеться раз в год
Без меры — почестей, детей внебрачных — в меру:
Кто так способен жить, спокойно смерти ждёт.

ТЕОФИЛЬ ДЕ ВИО (1590–1626)

ОДА

Ворон, каркая, кружится;
Тьма повсюду, как в гробу;
Перешли мою тропу
Две лисы и две куницы;
Конь мой сбит измором с ног;
Мой слуга в горячке слёг;
Всё сильнее гром небесный;
Бродят призраки кругом;
Слышу: бьёт Харон веслом
И земля разверзлась бездной.

Вспять к истокам волны катят;
Бык на звонницу полез;

* Об авторе см. на с. 243 настоящего издания.

Кровенит в скале порез;
Уж медведицу брюхатит;
На донжоне вековом
Бьются насмерть змей с орлом;
Огнь во льду горит, бушуя;
Солнце светит дочерна;
С неба рушится луна;
Лес бежит, корней не чую.

Жак ВАЛЛЕ ДЕ БАРО (1599–1673)

* * *

Ты милостив, Господь, ты справедлив и благ,
Ты нам готов простить все наши прегрешенья.
Но так я нечестив и многогрешен так,
Что ни в одном суде не обрету прощенья.

Я веру потерял; отныне что ни шаг
Лишь погляжу вокруг — одни следы крушенья.
Казни меня, Господь! Из всех возможных благ
Лишь кара станет мне залогом утешенья.

Будь снисходителен: я жду твою грозу;
Мой плач неискренен — презри мою слезу;
Всю ненависть ко мне, всю свою ярость пестуй!

Глаза мне ослепи, замкни мои уста;
Пусть не будет на земле такого места
Где не сочилась бы святая кровь Христа!

Сирано ДЕ БЕРЖЕРАК (1619–1655)

ЭПИТАФИЯ

Кто был всю жизнь гоним стоустою молвой,
Тот опочил навек под этою плитой.
Пусть же небо даст покой
Оставившему нас в покое!

Андре ШЕНЬЕ (1762–1794)

ЭЛЕГИЯ V

Куда же ты бежишь, красавица младая?
Молчишь; потупилась, себя не понимая.
Пусть разноцветный шёлк для вышивки готов —
Умелая игла не оживит цветов.
Как роза ранняя, уста твои увяли.
Мечтаешь, запершись; вздыхаешь. Но едва ли
Сумеешь обмануть мой искушённый взгляд:
Любовь не утаить. Красавицы манят
Любовию своей, и любят, и такими
Мы сами любим их. И мы любимы ими.
Будь беззащитною — и я тобой пленён.



Будь верною в любви. Однако кто же он,
Тот славный юноша, голубоглазый, статный,
Темноволосый, и любезный, и приятный?..
Краснеешь? погоди, и впрямь, он мне знаком,
Но я молчу, молчу... Там, под твоим окном,
Он бродит взад-вперёд. И, отложив иголку,
Бежишь, следя за ним украдкой, втихомолку,
Ан глядь — уже исчез. И тщетно по следам
За ним твой быстрый взгляд блуждает тут и там.
Никто у нас в краю на праздниках весенних
Среди окрестных рощ, стремглав спеша под сень их
На резвом скакуне, никто не может так
Обуздывать коня, как юный сей смельчак.

Шарль БОДЛЕР (1821–1867)

ГЛАЗА БЕРТЫ

Вы вправе пренебречь их откровенной славой —
Но что прекрасней глаз моей малютки? В них
Вся нежность, весь покой, вся сладость ласк ночных —
Излейте ж на меня, глаза, ваш мрак лукавый!

Огромные глаза моей малютки — взгляд,
Манящий тайнами, магические гроты,
Где тени спящие расставили тенета,
Скрывая призрачный и несказанный клад.

Бездонные глаза, в которых спят зарницы,
Как спят они в тебе, мерцающая ночь!
В них Вера и Любовь сливаются, точь-в-точь
Как чистота спешит со сладострастьем слиться.

Поль ВЕРЛЕН (1844–1896)

ИЗНЕМОЖЕНИЕ

Жоржу Куртелину

Я чувствую себя Империей на грани
Упадка, в ожиданье варварской орды,
Когда акростиhi, как дряблые плоды
Изнеможения, слагаются в дурмане.

Душа в разладе с сердцем, о кровавой брани,
Уже начавшейся, твердят на все лады.
Но я-то что могу? Волненья мне чужды.
Но я-то что хочу? Всё прожито заране.

Не мочь и не хотеть — ни жить, ни умереть!
Всё выпито. Батилл, ну что ты зубы скалишь?
Всё съедено. Молчи! Останется тоска лишь

Да этот бедный стих — в огне ему гореть!
Да этот подлый раб — поди, добейся толку!
Да эта скука, что сожрёт вас втихомолку.

Артюр РЕМБО (1854–1891)

МОЯ БОГЕМА (Фантазия)

Свободен! Кулаки — в разодранных карманах,
Подобие пальто — всё рвань, как ни надень;
Я за тобою шёл, о Муза! — точно тень,
И о каких мечтал любовях несказанных!

В единственных штанах, в протёртых, я бродил
И сыпал по пути, как Мальчик-с-пальчик, зёрна
Созвучий. Охлаждал гортань, бросая взор на
Манящий ковш Большой Медведицы. Ловил

Воздушный шёпот звёзд во мгле обочин, где я
Осенним вечером сидел в траве, хмелея
От выпавшей росы, как выпивший вина;

Когда следы химер я ощущал сквозь дыры
В подошвах — и щипал, как струны звонкой лиры,
Резинки башмаков, рифмуя дотемна!

Гийом АПОЛЛИНЕР (1880–1918)

МОСТ МИРАБО

Под мостом Мирабо исчезает Сена
А с нею любовь
Что же грусть неизменна
Уступавшая радостям так смиренно

Тьма спускается полночь бьёт
Дни уходят а жизнь идёт

Словно мост мы сомкнули руки с тобою
Покуда волна
За волной чередую
Взгляд за взглядом влечёт под него с тоскою

Тьма спускается полночь бьёт
Дни уходят а жизнь идёт

Вот и наша любовь подобна стремнине
И медлят года
Как река на равнине
Но надежда неистова и поныне

Тьма спускается полночь бьёт
Дни уходят а жизнь идёт

Дни уходят недели тают как пена
И словно любовь
И как жизнь постепенно
Под мостом Мирабо исчезает Сена

Тьма спускается полночь бьёт
Дни уходят а жизнь идёт

КРИТИКА

Владимир ВЕЙДЛЕ
Андрей АРЬЕВ

9

Багажный



ВЕЙДЛЕ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (1895, Петербург — 1979, Париж) — литературовед, культуролог, историк культуры русской эмиграции, поэт. Профессор Пермского (1918–1921) и Петроградского (1921–1924) университетов. В октябре 1924 года уехал в Париж, где прожил до конца своей жизни. С 1925-го по 1952 год преподавал в Свято-Сергиевском Богословском институте, профессор кафедры истории и христианского искусства. Участник собраний «Зелёной лампы» и литературного объединения «Круг». В 1950–1970-х годах преподавал в университетах Мюнхена, Нью-Йорка, Принстона, Лондона, Брюгге и др. Публиковался в «Звене», «Последних новостях», «Современных записках», «Числах», «Русских записках», «Круге», «Вестнике РСХД», после войны в «Новом журнале», «Опытах», «Воздушных путях», «Мостах». Автор многочисленных эссе по истории русской и европейской литературы и художественной культуры,

о судьбах христианского искусства, месте России в духовной истории Европы, искусствоведческих статей, обзоров, литературно-критических и литературоведческих работ, рецензий. Писал также на французском и итальянском языках. На «Радио Свобода» вёл рубрику «Беседы о словах».

Владимир ВЕЙДЛЕ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭТИКА

— Прокую, Прок-нээ, она превратилась в ласточку, а сестра её Филомела... ну да... в птичку эту, как её, пев... ну которая поёт, *Nachtigall*, как это, да, вспомнил, да, да: зо-ло-ввей.

Так говорил седеющий, плотненький, очки в золотой оправе — приват-доцент Придик (археолог, нумизмат, служил в Эрмитаже), объясняя — о, всего лишь Ксенофонта — тем из нас, первокурсников 1912 года, кто не блистал по части греческого языка. В тот день, кажется, я и заметил нового участника «пропедевтических» этих занятий, старше нас, и не в тужурке, как почти мы все. Узкоголовый, косоглазый; с лица некрасив; прямой, сухощавый, жёсткий. Сосед мой шепнул: Гумилёв. Весной того года вышло «Чужое небо».

На занятиях этих он рта не раскрывал, да и был не более четырех или пяти раз. В университете я его больше не видал; позже всего два-три раза. Не разговаривал с ним никогда. Отчего же я его вижу, когда о нём думаю или его читаю? Оттого, может быть, что внешность его выражала часть его существа; прочитав в «Колчане» «Я злюсь, как идол металлический / Среди фарфоровых игрушек», сразу подумал: похож (после чего узнал, что и многие так думают). Но скорей всего оттого же, отчего не просто помню, а каждый раз, когда вспомню, в памяти вижу одному мне, надо полагать, памятного Петю Фидлера, с которым я в ту зиму бегал на лыжах. Был он огромного роста, да и не тощ; мы шутили: Петя столпился. Прошло пять лет. Он столпился у стенки. Был офицером: расстреляли. А Гумилёва за что? Заговорщиком был? Может быть; но в заговоре явно несерьёзном. Гораздо правильней сказать, что в его лице революция пристрелила ненужную ей поэзию. Вот и вижу его, как Петю, на прицеле.

* * *

«Чужое небо» освежающим было чтением, — для многих, я уверен; помню, что и для меня. Где же у Брюсова или Бальмонта нашли бы мы такую естественную и тем самым неэкзотическую экзотику, как в живом и почув-



ствованном так верно «Ахмет-Оглы берёт свою клюку...», или такие, как тут, ненарочитые, сами собой льющиеся октавы? Самые, пожалуй, непри- нуждённые из всех написанных после «Домика в Коломне», так что и весьма кстати были они напечатаны впервые если не в «Новоселье», то в «Северных цветах» (на 1911 год). Почти столь же бодро этнографию превозмогают (бодрей, чем многое в «Шатре») «Абиссинские песни», особенно последняя. Да и кто же нас баловал такими четкого рисунка, при настоящем лиризме, стихотвореньями, как «Я тело в кресло уроню...», или более «задушевное», понравившееся Блоку «Я верил, я думал...»? Как мог не пленить нас такой неожиданный тон первого перевода из Готье «Уронила луна из ручек / — Так рассеянна до сих пор — / Веер самых розовых тучек / На морской голубой ковёр...»; или уже замысел, столь же неожиданный, «Туркестанских генералов», тоже понравившихся Блоку. А «Из логова змиева...» — ему порадовался бы, думалось, и сам Пушкин; оно и сейчас мне кажется лучшим стихотворением сборника и одним из лучших Гумилёва; если же представить себе (очень приблизительно, конечно) его житейскую основу, оно от этого — что вовсе не всегда бывает — только выиграет. Даже «Дон Жуан в Египте», вопреки незначительности своей, а быть может, и благодаря ей, освежал после фанатического «всерьёз» почти всей тогдашней (кроме Кузмина) поэзии. «Чужое небо» доставляло удовольствие. Можно, конечно, сказать, что этого мало. Но тогда, по контрасту с претензиями на гораздо большее, было и этого довольно, не говоря уже о том, что стихи, не способные доставить удовольствие, вряд ли могут быть названы хорошими стихами.

Автору к тому же было двадцать шесть лет. Неудивительно, что в сборнике попадалось и незрелое, прежнее, — свое прежнее и чужое. У Гумилёва и до конца незрелость не исчезла полностью. Мужественное начало в нём обладало редкостною силой; оттого уже и внешностью своей он женщин привлекал, пусть им и не нравясь; но это его мужественное было юношески мужественным; истребление поэта оттого именно и кажется особенно мерзким. «Из логова змиева» — безупречно хорошо и взросло, а рядом «Жизнь» — несовершеннолетняя Брюсову. «Однажды вечером» начинается двумя строчками, из коих первая

В узких вазах томленье умирающих лилий

напоминает Бальмонта и уже в прошлое тогда отошедший (теперь воскрешаемый ретроспективно) «стиль модерн», а вторая

Запад был медно-красный. Вечер был голубой

интонацией своей призывает чужую подпись: Игорь Северянин. Недолго оставалось и ждать той книжки с тютчевским заглавием, громогласно одобренной Брюсовым и Сологубом. Но реминисценции эти или отголоски не замечались, да и были несущественны. Самим собой стал Гумилёв именно в стихах «Чужого неба». Если бы «Пепел» Андрея Белого не вышел за три года до того, «Оборванец» (как и «Почтовый чиновник» немного позже) не был бы написан; но то, что было у Белого рыданием в низменной личине, превратилось тут в гравюру сухой иглой, ироническую, без малейшего над- рыва. И точно так же

Ты совсем, ты совсем снеговая... —

это из Блока, но лирико-трагедийная мелодия мотивируется здесь сюжетом, — крайне романтическим, что и говорить, а всё-таки сюжетом, на

манер баллады или новеллы. Белый и тем более Блок могуществом превосходят Гумилёва, но дело тут не в этом и уж никак не в меньшей силе его лиризма, а в том, что лиризм как таковой вводится им в более отчётливое русло, получает предмет, который может быть обозначен словом, понимаемым не в каком-нибудь его переносном или колеблющемся смысле, а в самом обиходном и прямом. Тяготение к такого рода предметной или изобразительной лирике присуще было Гумилёву с самого начала, оттого, нужно думать, и выбрал он себе учителем Брюсова; но, во-первых, прав был Вячеслав Иванов, когда отметил, по поводу «Жемчугов», что молодой поэт «хмелеет мечтой веселее и беспечнее, чем Брюсов» (это можно было бы сказать уже и о совсем юношеской, перенесённой с улучшениями из первого сборника во второй «Балладе»), а во-вторых, Брюсов, в ущерб «мечте», загромождает предметами стихи, тогда как Гумилёв стремится предметы эти вообразить, с тем чтобы возникший в воображении, лирически воспринятый их образ описать стихами. Ученичество было долгим. Но читатель «Чужого неба», даже и улавливая его следы, сомневаться не мог, что оно кончилось.

Кончилось оно за два года до того, когда вышли «Жемчуга» с посвящением «Моему учителю Валерию Брюсову». Вскоре после выхода книга была поднесена Гумилёвым его невесте, Анне Ахматовой, ко дню их венчания, вместе с вошедшей затем в «Чужое небо» балладой, причём слову этому придавал он на этот раз не романтический смысл, как в «Романтических цветах», а отнесённый к строфической форме, старофранцузский. В этом, как и во многом другом, намечался у него — выражаясь педантически, хоть и неточно — переход от символизма (скорей французского, чем русского, который всегда был ему чужд) к чему-то среднему между Парнасом и «романской школой» или от неоромантизма к неоклассицизму, чему нетрудно найти для тех лет большое число аналогий в разных искусствах на Западе, как и у нас. Намечался такой переход у многих русских поэтов, даже и старшего поколения, и тем более у сверстников Гумилёва или у поэтов на несколько лет его моложе, которые включались с самого начала в новое это «направление». Ахматова (на три года моложе) до замужества писала стихи, ахматовские стихи; в год замужества написаны были ею два весьма совершенных стихотворения, «Сероглазый король» и «Рыбак». Первое — сконцентрированная до предела (до предела, не доступного Гумилёву) романтическая, германского корня, баллада; второе — лирический портрет, более заостренный в своем лиризме, чем такого рода стихотворения Гумилёва, но преемственно с ними связанный. Ещё есть у Ахматовой набросок баллады «В лесу» и лирическая картинка «Маскарад в парке»; оба эти стихотворения, 1911 года, уступают по качеству двум предыдущим; в дальнейшем она стихов такого замысла не писала, эта связь со стихами Гумилёва оборвалась. Осталась лишь та, определяемая не иначе как очень широко, помня о которой она в конце жизни вспоминала: «В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие — в акмеизм. Я стала „акмеисткой“».

В 1911 году, на «башне» Вячеслава Иванова, близ Таврического дворца, познакомилась она с Осипом Мандельштамом. С предыдущего года он печатался в «Аполлоне», был на пять лет моложе Гумилёва, немедленно был им и Ахматовой признан и остался другом его, как и её, навсегда. Ранние стихи его с Гумилёвым ничего общего не имеют, если не считать восьмистишия 1908 года, первая строфа которого



Сусальным золотом горят
В лесах рождественские ёлки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят, —

(но отнюдь не вторая) одинаково созвучна Ахматовой «Вечера» и Гумилёву «Чужого неба». Немного позже, однако, у него наметилась, в отношении Гумилёва, особая преемственная связь, как раз через то, что я назвал лирическими портретами и картинками. Гумилёв начал их писать рано. К ним без колебаний причислить можно «Заразу» в «Романтических цветах» (а с колебаниями, из-за недостаточного отрыва от брюсовской лжемонументальности, ещё и «Манлия», «Помпея», «Каракалу», «Игры»); затем «Старого Конквистадора», «Маэстро» и столь справедливо одобренного Вячеславом Ивановым «Маркиза де Карабас» в «Жемчугах»; а позже «Туркестанских генералов» или (в «Колчане») «Китайскую девушку», «Старую деву», «Почтового чиновника», «Средневековье», «Старые усадьбы». Мандельштам стал на этот гумилёвский путь (один из его путей) в 1913 году («Старик», «Бах», «В таверне воровская шайка...», «Кинематограф», «Теннис», «Американка», «Домби и сын») и сразу же превзошёл своего в учителя остротой штриха, прелестью улыбки и той полнотой «вхождения в игру» (по-французски *enjouement*), которая для заданий всего нужнее. Верх совершенства в этой области, был им достигнут на следующий год стихотворением «Аббат» и позже он к темам этого рода возвращался, хоть и усложняя их: «Декабрист», «Батюшков», «Ариост», начало «Ламарка». Из более ранних можно ещё упомянуть не совсем удавшиеся — вероятно, и по мнению автора — «Американ бар» и двух «Египтян» (1913 и 1915 годов).

Родственны таким стихотворениям у Гумилёва, как и у Мандельштама, портреты городов. После итальянского путешествия с Ахматовой (вслед за выходом «Чужого неба»), о котором она вспоминала: «в 1912 году проехала по северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция)», Гумилёв «изобразил в стихах» все эти города, один за другим, прибавив к ним ещё Неаполь и Рим (был там один), а также два других стихотворения о Риме и одно о Тразименском озере, не включённые в «Колчан» (как и Флоренция, заменённая там стихами о фра Беато), тогда как Ахматова ограничилась одной — на славу ей удавшейся — Венецией. Не знаю, в полной ли мере замечено было тогда же, до чего все эти, в том числе и ахматовские, стихи не похожи на итальянские стихи Блока, где «изображение», как бы свободно его ни понимать, играет несравненно меньшую роль, где лирическое «я» всё созерцаемое им не только в себя вбирает, но и собою заслоняет. У Мандельштама к этой чуждой Блоку (а в дальнейшем и Ахматовой) описательной лирике относятся «Царское Село», «Петербургские строфы», «Адмиралтейство», «Дев полуночных отвага...», «Летают Валькирии...», а также «Дворцовая площадь» и всё «портретное» в других поздних стихотворениях, где идёт речь о Петербурге, но в то же время, конечно, и «Айя-София», и «Notre Dame», и «Феодосия», и стихотворения о Риме, об Армении, о Москве, о церковной службе, о Европе. При всём их витийстве, которое у Мандельштама неотделимо от лиризма, они всё-таки изобразительны, предметны, и притом так, что предмет их не только узнаваем, но и — мы чувствуем это сквозь все наслоения смыслов — «похож». Отблески таких «сходств» не отсутствуют ещё и в воронежских стихах. И о каком другом городе возможно было бы написать:

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой гранёный.
В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

При всех различиях не только эти четыре стиха, но и все стихотворения 1920 года, откуда они взяты, всё-таки ближе к венецианским стихотворениям Гумилёва и Ахматовой, чем Блока, который даже и в первом из трех, самом «венецианском», не столько Венецию, пусть и свою, почувствовать нам даёт, сколько себя в Венеции.

То, что оказалось общим у трех поэтов, писавших стихи «Чужого неба», «Колчана», «Камня», «Вечера» и «Четок», положило начало тому, что можно назвать петербургскою поэтикой. Гумилёв был зачинателем её, поскольку врожденная его склонность к поэтической портретности или картинности нашла отклик у Мандельштама, а на первых порах — и у Ахматовой, и поскольку склонность эта привела к особенностям стихотворного языка, проявившимся также и в стихотворениях непосредственно (а не сквозь изображение) лирических. Все три поэта могли бы воскликнуть вслед за одним из них:

И если подлинно поётся
И полной грудью — наконец
Всё исчезает: остается
Пространство, звёзды и певец.

Но как в этом стихотворении Мандельштама читаем мы сперва о бедуинах, об Иосифе, проданном в Египет, о колчане, потерянном в песке; как у Ахматовой, в предчувствии такого «наконец», на пути к нему и в слиянии с ним, упоминаются устрицы, перчатка, потемневшее трюмо, мяуканье кошек, «крик аиста, слетевшего на крышу»; так и вообще у этих поэтов, а у Гумилёва порой и свыше меры метафорические прилагательные и глаголы, как и прямые выражения чувства и мысли, заменяются именами существующих вещей. Важно, разумеется, но не в первую очередь важно, каковы эти вещи — обиходные, каждодневные, как у Ахматовой (которая в этом следует Анненскому, а не Гумилёву), или редкостные, экзотические, в погоне за которыми Гумилёв отправляется в странствия, не книжные только, но и реальные. Их друг без особого предпочтения называет — лучше сказать, выпевает — и те, и другие имена, постепенно (в «Тристиях» и позже) возвращая им метафорическое их несуществование, но для исходной точки его поэзии характерно, что в приведённых только что стихах «пространство» — это не коррелят времени, а ширь пустыни, «звёзды» — это те самые звёзды, что в небе над ней, а певец и в самом деле слагает «вольные былины», «закрыв глаза и на коне», прежде чем изображать собою «вообще» поэта.

В именовании вещей, в прикреплении слов к вещам (со всеми стилистическими последствиями этого) акмеизм и состоит, так что вторая кличка его, адамизм, хоть немножко и смешна, но не лишена права считаться гораздо более осмысленной, чем первая. Адам в раю даёт имена предметам сущим, а не мыслимым или воображаемым. Делать то же самое поэт не может: имена уже даны; да и говорит он как раз о воображаемом и мыслимом. Но не запрещено ему пользоваться при этом предметными адамовыми именами. Поэзия, всюду и всегда, есть высказывание не сказанного, то есть не фиксируемого понятиями и не передаваемого обычным языком; но пути её различны, и один из них состоит в том, что предметные значения слов



образуют в её высказываниях мыслимые целые, кажущиеся тоже вполне предметными (осязаемыми, видимыми), причём в них-то как раз несказанное и заключено, ими обнаружено и показано, вследствие чего отделить его нельзя не только от самих слов, но и от поименованных ими существ, вещей или событий. Русская поэзия, в те годы, именно и становилась на этот путь. На нём и достигла она своего пока что высшего, в нашем веке, цветения. Но с акмеизмом, хоть и возвещают расцвет и он сам, и его имя, отождествлять этот путь всё-таки нельзя. Он шире. Даже то, что на первых порах объединяло Гумилёва с Мандельштамом и Ахматовой, позже перестало их объединять. Гумилёв и сам в лучших стихотворениях «Костра» и «Огненного столпа» перерос всё, чему научились у него другие. Главная, только что указанная черта акмеизма у всех трёх поэтов сохранилась, перешла и к младшим их друзьям; исчезли (и к ним не перешли) лишь второстепенные черты, вроде дольше всех сохраненной Мандельштамом любви к «портретным» и сходным с ними изображениям; но та главная черта проявилась — в те же годы начала проявляться — и у ряда поэтов того же или старших поколений, никогда себя к акмеистам не причислявших. Виктор Шкловский («Жили-были», 1966, с. 114) заблуждается, утверждая, что «акмеисты своей поэтики не создали»; теоретической не создали, но это — другое дело. Гумилёв, с помощью Ахматовой и Мандельштама (Городецкого можно в расчёт не принимать), обосновал, в Петербурге, стихами, новую поэтику, которую я петербургской поэтому, но лишь отчасти поэтому, и называю. Он её назвал акмеизмом, но корни у неё были и другие. Будущее принадлежало тому, что выросло из всех этих корней.

* * *

Ахматова пишет: «Когда мне показали корректуру „Кипарисового ларца“ Иннокентия Анненского, я была поражена и читала её, забыв всё на свете». Было это, по-видимому, ещё при жизни поэта, в 1909 году; книга вышла в 1910-м — в год «Жемчугов» и женитьбы Гумилёва. В этом году «Аполлон» поместил первые появившиеся в печати стихи Мандельштама, а также доклад Вячеслава Иванова «Заветы символизма», ответный (необыкновенно сумбурный) доклад Блока и статью Кузмина «О прекрасной ясности». «Сети» Кузмина вышли ещё за два года до того, «Александрийские песни» — за четыре. Он был старше Гумилёва на одиннадцать лет, старше Блока на пять. Анненский же был не только старше Блока, но и на четыре года старше матери Блока; он был сверстником Врубеля (умершего в этом году) и Розанова (которому предстояло ещё в ближайшее время издать лучшие свои и наиболее поразившие современников книги). Вячеслав Иванов был старше всех других, но моложе Анненского на десять лет. И вот теперь, в год смерти не Врубеля только, но и Толстого, скрестились пути — в Петербурге скрестилась пути — всех этих столь различных, к трём или даже четырём литературным поколениям принадлежавших поэтов (смена тут происходит, при ускоренном развитии, не каждые тридцать, а каждые десять лет); пусть для одного из них это был уже и не его путь, а только путь его стихов. Можно считать, что на этом средокрестье и родилась петербургская поэтика.

Ничего нет как будто общего между Анненским и Кузминым, да и по силе, по глубине поэтические дарования их несоизмеримы. Точно так же и те две поэтики, которые можно извлечь из стихов и частично из статей Анненского и Кузмина, будут очень одна на другую не похожи. Но явят

они всё-таки обе ту главную «петербургскую» черту, которую, кроме них, мало кто в те годы проявлял и в Москве, и в Петербурге: преобладание предметного значения слов, порою тех же прежних слов, над обобщающим их смыслом. Кроме того, у обоих поэтов — что отныне точно так же стало приниматься на учёт — слова и предметы эти заимствовались из будничного обихода, без особого при этом подчёркивания ставящего их в подразумеваемые кавычки (как в частушечных полупародиях Брюсова и Блока или в наизнанку вывернутом лиризме «Пепла» у Андрея Белого). Правда, такого рода предметные слова пропитаны у Анненского горечью и болью, тогда как у Кузмина они нейтральны или «приятны» (вроде «поджаренной булки» и «Шабли»), но в русле расширяющегося теперь влияния обоих поэтов и то и другое младшими их современниками принимается и осознается заново. Двойное это влияние (но с перевесом Кузмина) нетрудно проследить в ранних стихах Ахматовой, как и нетрудно отличить его от не сливающегося с ним влияния Гумилёва (полней определившего не включенное в «Вечер» стихотворение «В лесу» 1911 года). Ахматова очень скоро от всякой подражательности избавилась, но продолжала и далее плыть вместе с Гумилёвым и Мандельштамом в том фарватере, как бы образованном Невой при впадении в Финский залив, одну из продольных границ которого можно обозначить именем Анненского, другую — именем Кузмина.

Разница начиная с 1910 года состояла том, что Анненского уже не было в живых и ещё в том, что статьи его, напечатанные в этом году и в предыдущем, ещё при его жизни, в «Аполлоне», никакого воздействия ни на кого не оказали и оказать не могли, так как при всём их интересе мысли, в них высказанные, созвучны были скорее тому времени, когда поэзия его (в её зрелом облике) родилась, чем тому, когда она стала «актуальной» для других поэтов. Напротив, статья Кузмина прочитана была с большим вниманием. Как мыслями (чрезвычайно простыми, в чём прежде всего и заключалась их новизна), так и способом их излагать она не только произвела впечатление в более широких кругах, но и узкий крут едва ли не сильнее поразила, чем напечатанные три года спустя в том же журнале «манифесты» Гумилёва и Городецкого. Второй из них вообще не был принят всерьёз, а первый если и был, то как учредительная грамота новой поэтической школы, куда, однако, вовсе не все даже и сочувствовавшие ей спешили записаться, а записывались порой и не столь уж принципиальные её сторонники. Вывеска «Акмеизм» была, правда, стараниями Гумилёва сохранена и благодаря этому «перешла в историю», тогда как из «кларизма» даже и вывески не получилось, но слова о «прекрасной ясности», о преимуществах здравого смысла, чувства меры и классической простоты сказаны были как раз в нужный момент, и хотя ни малейшего глубокомыслия в них не проявилось, они всё же очень прижились на пользу не только Гумилёву, с несомненной оглядкой на них писавшему свой манифест, не только его друзьям, но и всей тогдашней русской поэзии, да в придачу ещё и критической прозе. Пропать прямо-таки разверзлась между непринуждённо разговорным слогом этой статьи и лирически восторженной, лирически растерзанной невнятицей статьи Блока. Так нельзя было больше о поэзии писать. Думаю, что многие читатели «Аполлона» почувствовали это тогда, в 1910 году; сам Блок в дальнейшем писал о ней хоть и в столь же высоком, но не в таком мистагогическом тоне. Даже и самые чревоушительные из позднейших статей Пастернака или Мандельштама написаны всё-таки не так. Почувствовали иные из тех читателей, может быть, что и велеречиво увещательный тон Вячеслава Иванова не совсем был в данном случае уместен. Почувство-



вать можно было это, прочитав статью Кузмина, — как можно было нечто сходное ощутить, прочитав его стихи после «Кормчих звёзд» (или «Золота в лазури», или «Стихов о Прекрасной Даме»). Во всяком случае, не без участия Кузмина совершился тот перелом, после которого петербургская поэтика вошла в свои права и началось то, что можно было бы назвать золотую порой нашего серебряного века.

Металлургические метафоры эти применяю я неохотно, но от первой отступлюсь менее легко, чем от второй, оттого что четкое представление о том, когда именно настоящее второе цветение нашей поэзии наступило, считаю более ценным, чем привычные толки о серебряном веке, при которых неясным остается, в сравнении с чем называют его серебряным. Цветение это расцвело лишь тогда, когда век наш завершил первое своё десятилетие, не потому, что к этому времени исчерпался символизм и на смену ему пришло что-то «получше» символизма, а потому, что сами символисты, так же как ближайшие их преемники, лучшее своё создали не в его годы, а в годы, когда он стал отходить в прошлое или совсем в это прошлое отошёл. Создавали они к тому же это своё лучшее всего чаще отныне не в Москве, а в Петербурге или в связи с Петербургом (в той, например, связи, какою связан с ним «Петербург» Андрея Белого). Символизм процветал, вопреки петербургскости Блока, скорее в Москве; да и Шахматово — подмосковное имение. Для дальнейшего, однако, имело значение и то, что самое заострённо-совершенное — и самое, я уверен, бессмертное — во всей поэзии первых десяти лет века создано было поэтом, в круг символистов не входившим и глубоко петербургским, Анненским. Подобно тому как предвещает это дальнейшее и тот вполне внешний и случайный сам по себе факт, что в декабре 1909 года вышел последний номер «Весов», после чего заменил их на время «Аполлон», журнал, лишь позднее ставший более «художественным», чем литературным. Центр поэтико-литературной жизни переместился, кроме того, в Петербург ещё и вследствие возросшего влияния жившего там Вячеслава Иванова. В своей квартире на Таврической улице предоставил он или сдал две комнаты Кузмину, а в «Аполлоне» 1910 года поместил весьма лестную для Кузмина статью о его поэзии. Она была напечатана в седьмом номере. В восьмом появились оба доклада о символизме; в девятом — полемизировавшая с обоими докладчиками статья Брюсова; в одиннадцатом — защищавшая их статья Андрея Белого. Всё это было очевидным и для современников знамением перелома. Но они ещё не знали, что «золотая» пора именно тогда и началась.

Они придавали, как это всегда бывает, слишком много значения программным высказываниям, стратегическим позициям, различным манифестам и квазиманифестам. Конечно, об исчерпанности символизма, о провале его — с излишней резкостью выражаясь — «беспочвенных мечтаний» свидетельствовал, одним уже заглавием своего доклада, и Вячеслав Иванов («заветы» чего? — того, что уходит или ушло), и Блок ответным докладом, самой истерикой его, и Белый арьергардной своей защитною атакой, направленной к тому же в бок, на Брюсова, чья статья с полной ясностью показала, что был он не другом, а лишь временным попутчиком, и символизм понимал мало того что на французский лад, но ещё и в духе эпигонов Бодлера, Рембо и Малларме, трёх поэтов весьма различных, но ему в равной мере чуждых. Важно было, однако, не это. Важно было, например, что Вячеслав Иванов подружился с Кузминым и полюбил его стихи. Важно было, что он, едва ли не первый должным образом оценил Ахматову, признал Мандельштама, указал (в том же номере «Аполлона», где писал о Кузмине)

одну из существенных черт, уже и юного Гумилёва отличавшую выгодно от Брюсова. Важно было, что и сам Иванов стал писать стихи, отличавшиеся от тех, что вошли в прежние его сборники, в том числе и в двухтомный, изданный в 1911 году в Москве. На следующий год вышла в Петербурге пусть и небольшая, но лучшая его книга стихов «Нежная тайна». Он мог бы назвать её «Прозрачность», если бы — с гораздо меньшим правом — не использовал уже этого заглавия для своего второго, за восемь лет до того опубликованного сборника. Не забудем также, что весной 1911 года написал он в Риме — онегинской строфой — свою недостаточно оценённую ещё автобиографическую поэму «Младенчество» (издана она была в 1918 году; три последние строфы её были дописаны тогда же). Эти стихи, эта поэма, да ещё поздние римские стихи, — следует надеяться, что, основываясь именно на них, потомки наши будут судить о поэзии их автора.

Не менее важно было, конечно, и то, что у ряда других поэтов старшего поколения, у Сологуба, Зинаиды Гippiус, у Брюсова, чьё стихотворство стало на время немного менее эффектным и крахмальным, манера писать начала меняться одновременно и в ту же сторону — в сторону петербургской поэтики, требовавшей предметности, а вместе с нею и большей точности, более строгой взвешенности, а тем самым и большей скромности слова, целомудрия его, как выразился Гумилёв в своём манифесте. Если из символизма исходить, то ещё важнее была аналогичная перемена в стихах Андрея Белого. Выпустив в 1909 году «Урну» и «Пепел», он писал теперь свои «сказки», из которых три были напечатаны в 1911 году в «Аполлоне» и в которых совершенно справедливо нынешним их читателем отмечена была «удивительная для Белого ясность образов, прозрачность и простота всего словесного строя» (так пишет Т. Ю. Хмельницкая в предисловии к новейшему изданию Белого в «Библиотеке поэта», 1966). Но самой важной для русской поэзии из всех этих перемен, без сомнения нужно признать ту, что тогда же произошла в поэтической речи и всей поэзии Блока. Осенью 1909 года в записную книжку свою он вносит: «Не могу писать. Может быть, не нужно. С прежним „романтизмом“ (недоговариваньем и т. д.) борется что-то, пробиться не может, а только ставит палки в колёса». Палки в колёса ставило это «что-то» лишь прежнему Блоку, Блоку второго (и первого) тома, «пробиваться» же оставалось «чему-то» недолго: из этой борьбы и родился новый Блок. Очень показательно, что запись стоит в связи с работой над законченным в следующем году стихотворением «Идут часы, и дни, и годы...», откуда выписать можно особенно характерную для второго тома (хотя стихотворение это попало в третий) строфу:

Слова? — Их не было. — Что ж было? —
 Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
 Звенело, гасло, уходило
 И отделялось от земли...

Но ещё показательней, что в конце того же девятого года, за три с лишним месяца до надзвёздно-рыдательных возгласов в Обществе ревнителей художественного слова, написано было «Поздней осенью из гавани...», где всё дальнейшее предвосхищено, лучшее обещано, даже и «Ночь, улица, фонарь, аптека...», одно из тех редких в любой литературе стихотворений, чей день рождения, если он нам известен, кажется нам не похожим на другие дни и волнует загадкой, о которой мы отлично знаем, что нечего в ней разгадывать.



Написано оно десятого октября 1912 года. В том же году, весной, одновременно с «Чужим небом», издан был третий том, куда это стихотворение, как и ряд очень значительных других, пополнивших его позже, ещё не вошло, но куда включены были целиком «Ночные часы», вышедшие предыдущей осенью. Читателей, покоренных или зачарованных ими, он поэтому порадовал больше, чем удивил, но, конечно, появление его было самым крупным событием в истории русской поэзии за этот год, хоть и подарены были нам, в течение тех же двенадцати месяцев, кроме «Чужого неба», и «Вечер», и «Нежная тайна», и «Осенние озёра» Кузмина, и «Зеркало теней», не «ударная», нет, бледноватая даже, но самая поэтическая книга Брюсова. Третий том — не даром и дорог он нам стал просто-напросто под этим счетоводным своим именем, — без сомнения, все другие эти книги затмил, хоть и не зачеркнул: без сомнения, также он и теперь, издав далеко, в дополненном своём виде, вместе с третьей главой «Возмездия» (к тому времени уже написанной), представляется самой сущностью Блока, первейшим кладом его ни с чьей другой не роднящейся поэзии; верно, однако, вместе с этим и то, что к любой из тех книг том этот ближе, чем первые два тома, что автор его шёл другим навстречу, идя не их дорогой, и что созданное им тогда и после того можно считать островом того архипелага — за Стрелкою, на взморье, — карту которого мы пытались начертать, назвав её петербургскою поэтикой.

Записью, приведённой нами, как и, по-иному, речью о символизме, Блок прощался с прошлым, — со своим прошлым и с прошлым тех, с кем до этого ему было по пути. Немного позже, в феврале 1911 года, он писал матери, думая о будущем: «Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме и на моём чувстве мира. Я думаю, что последняя тень „декадентства“ отошла. Я определённо хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел». Поэма, о которой он говорит, — «Возмездие»; под «декадентством» разумеет он символизм или, вернее, нечто одновременно более широкое и более «своё», личное: свою прежнюю поэзию и её душевно-духовные предпосылки. Бодрый и жизнерадостный тон к сути дела не относится: новая поэзия будет трагичнее прежней; она сама будет в «страшном мире» (заглавие цикла), а не над ним. Вот почему и говорит он дальше о том, что «пошлейшие романы Брешки-Брешковского» «ближе к Данту, чем Валерий Брюсов» и что мастер французской борьбы, которой увлекался он тогда, Ван Риль «вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав Иванов».

У Брюсова таких мыслей быть не могло, у Иванова могли они быть, но остались бы мыслями («Мысли бывают разные», — изрёк однажды Виктор Шкловский); зато у Гумилёва, у Ахматовой, даже у Кузмина мысли такого рода, хоть и в другом «ключе», несомненно, были (Пьяный Дервиш победил Колумба, Сероглазый Король был последним королём, Александрия приблизилась к Александровскому саду). Что же касается словесного строя, смысловой насыщенности и конкретности стихотворного письма, то тут во всей русской поэзии произошёл тот самый (если от индивидуальных особенностей отвлекаться) «очень важный перелом», который обозначился всего ярче и глубже у Блока, — когда музыкально-туманное «Ни сон, ни явь. Вдали, вдали / Звенело, гасло, уходило» совсем ушло, исчезло, и оказались мы где-то между Никольским рынком и Обуховской больницей: «Ночь, ледяная рябь канала, / Аптека, улица, фонарь».

* * *

Мы можем теперь вернуться, да уже и вернулись, к тому, с чего начали. 1912 год. «Чужое небо». Гумилёв и Ахматова побывали летом в Италии. Цех поэтов существовал с предыдущего года. В «Аполлоне» печатались «Письма о русской поэзии». Выходил «Гиперборей». Тоненькие тетрадки его продавались в университете. Бывало, читал я их на ходу в длинном коридоре здания Двенадцати коллегий, где порою встречал Георгия Адамовича. Его сборники «Облака» и «Чистилище» были ещё впереди. Шилейко спорил с Мандельштамом среди книжных шкапов «Музея древностей», в аудитории которого Айналов читал лекции — об Айя-Софии, о Notre Dame. Восемнадцатилетний Георгий Иванов, взявший было, по ошибке, не тот билет (к эгофутуристам), благополучно совершил «Отплытие на остров Цитеру», островок всё того же архипелага, неподалеку от двух-трех других, но всего ближе к острову «Осенних озер». К акмеистам (ещё не называемым так) и мастерам Цеха причислять стали Зенкевича и Лозинского. Готовились манифесты, опубликованные в начале следующего года — того года, когда вышел «Камень» и когда вышла «Первая пристань», весьма замечательного поэта, чуть постарше, но долго не печатавшегося и лишь теперь — всего год он после того и прожил — вошедшего в этот круг. Талант его был значительно крупней, но во многом граф Василий Комаровский (1881–1914) напоминает графа Петра Бутурлина (1859–1895), резко отличаясь от него, однако, уровнем стихотворной культуры, тем уровнем, по достижении которого только и могла возникнуть петербургская поэтика. В её пределах искусство его занимает место более близкое к акмеистам, чем к поэтам его поколения, поэтику эту обретшим лишь в результате нелегко им давшегося отказа от многого, что им прежде было дорого. Но мы не об одних акмеистах говорим. Блок в 1912 году писал «Розу и крест», Сологуб готовил «Жемчужные светила», Вячеслав Иванов, обменявшись с ним посланиями, переселился в Москву, а Кузмин, выскользнув из-под его опеки, поступил в ведение г-жи Нагродской, чей «Гнев Диониса», что и говорить, совсем другого поля был ягодой, чем «Религия страдающего бога». Дарование его пошло на убыль. Он переходил теперь от неоклассицизма к довольно сомнительному нео-«декадентству», откуда недалеко было и до Игоря Северянина. Всё это, включая Северянина, оставалось, независимо от качества, в рамках той же поэтики, — очень широких, но вполне ощутимых. Неоклассическую разновидность её подкрепляли теперь, кроме Комаровского, который делал это всего острее и своеобразней, такие традиционалисты (можно так их называть), как Юрий Верховский или (в статьях удачнее, чем в стихах). Борис Садовской. Лучшая книга стихов Верховского «Идиллии и элегии» вышла ещё в 1910 году, тогда же, когда столь понравившийся Блоку сборник статей Садовского «Русская камена».

Не думаю, чтобы «Розу и крест», столь восхищавшую меня, как и многих, в то время, можно было счесть большой удачей Блока; но среди стихотворений тех лет — с десятого года до войны — встречаем мы почти все лучшие, написанные им и принадлежащие к лучшему, что есть в русской поэзии. Одно из них он как раз и начал писать в десятом году (6 июня), а кончил или до конца отдела — в четырнадцатом (2 февраля). Едва ли оно не самое пророчески-трагическое из всех, и не от одного своего имени он его писал, недаром и озаглавил «Голос из хора». «Как часто плачем — вы и я...» Как часто вспоминали мы о нём и, конечно, он сам:

О если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней.



Читая его письма и дневники, видишь, что во все эти годы бывал он почти всегда бодр и мрачен одновременно. Но его творческие силы были с ним и в самые тяжёлые часы его окрыляли. Нечто подобное можно сказать о русской поэзии, обо всей духовной жизни тех лет. Был творческий подъем, и было у многих ощущение его обреченности и тщетности. Для стихов, рождающихся из такого чувства жизни, та поэтика, что выработалась теперь и которую Блок сам обрёл для себя, и была, вероятно, самой подходящей. Намечалась, правда, и другая, не в его поколении, но в части того, к которому принадлежали Гумилёв, Ахматова, Мандельштам. Сам он, впрочем, и их к своим не причислял, не видел того общего, что теперь было у него с ними, не понимал, что союзниками его стали, в отличие от новых москвичей и несмотря на то, что и тем и другим почти одинаково была чужда поэтика «Стихов о Прекрасной Даме», да и второго тома.

Одновременно с манифестами акмеизма появился другой манифест, подписанный в декабре 1912 года Хлебниковым, Кручёных, Маяковским и Давидом Бурлюком и напечатанный в альманахе «Пощёчина общественному вкусу». Пощёчина эта нанесена была в Москве, где ещё в 1909 году опубликован был «Садок судей», первый альманах футуристов. В ранних стихах Пастернака — он осознал себя окончательно поэтом в 13-м году, первый сборник его вышел в 14-м — точно так же ничего петербургского не наблюдается (как и у позднейших друзей его, имажинистов). Зато ранние стихи Марины Цветаевой — и не самые ранние, полудетские, а уже окрепшие, своеобразные превосходные стихи — полностью, в противоположность дальнейшим, согласуются с петербургскими; и ещё был в Москве поэт, старше её, сверстник Гумилёва, учеником Брюсова, как и он, показавший себя в первом своем сборнике, но теперь писавший стихи совсем не в брюсовской манере, а скорее в той, «без медных инструментов» и с оглядкой на поэтов пушкинской поры, которая немножко была уже знакома читателям «Самовара» Садовского или нарочито скромных «Идиллий и элегий», вызвавших у Блока отклик:

Мы посмеялись, пошутили,
И всем придётся, может быть,
Сквозь резвость томную идиллий
В ночь скорбную элегий плыть.

Вероятно, подумал он нечто в том же духе, ещё только на заглавие взглянув, когда получил (18 февраля 1914 года) «Счастливый домик». Московского поэта звали Ходасевич, но мы теперь знаем, что Ходасевича в этой книге почти ещё не было, что обозначила она лишь краткий роздых на половинной высоте его пути. Он ею от поэтики, ему мешавшей, освободился, принял другую, но вполне своего собственного варианта этой другой ещё не нашёл. Сквозь годы войны и сквозь болезнь ему предстояло этот вариант, и вместе с ним самого себя, найти, вследствие чего он и стал, в двадцатых годах, главным оплотом этой поэтики, вместе с Ахматовой и отчасти с Мандельштамом (который в середине этих годов начал от неё отходить). Блок всего этого знать не мог, когда перелистывал книжку. А через несколько дней, кто знает, не о ней ли среди прочего вспоминал, чётким почерком своим выводя:

Будьте ж довольны жизнью своей
Тише воды, ниже травы.
О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней.

* * *

Когда Гумилёв и Ахматова вернулись из Италии, оставалось два года до войны. И ещё семь лет оставалось до смерти Гумилёва — и Блока, — до той книжечки, которую надпишет Ахматова годом Господним, не любым, а тысяча девятьсот двадцать первым. Два года. Семь лет. Те семь лет, которые назвал Блок, незадолго до смерти (в письме), «семью годами ужаса».

Петербургская поэтика — это не акмеизм, не «Гиперборей», не Цех поэтов и не «Бродячая собака». Но всё это, включая «Собаку», поэтику эту, хоть и не во всех разновидностях её, утверждало, закрепляло и распространяло: делало предметом выучки. «Я надела узкую юбку, чтоб казаться ещё стройней...» Где казаться? «Все мы бражники здесь, блудницы...» Где это «здесь»? — В «Бродячей собаке». Пел там изредка, подпевал, вернее, своим «Курантам любви» Кузмин. Но довелось мне видеть там и Маяковского, рослого зычногослого молодца с деревянной ложкой в петлице. Как выигрышно громкоговорил он свои непетербургские стихи! Наобум и напролом рвущееся завтра. Жеманное, дряблкое, да и с подгнильиу вчера. При всём том Кузмин пережил Маяковского на шесть лет и не застрелился. Да и музыка его не без музыки была по сравнению, например, с шансонетным подвыиванием Северянина, который здесь, однако, не подвизался. Помню его на другой эстраде, большелицеого, помесь лошади с Оскаром Уайльдом; на Царицыном лугу были всё-таки разборчивы; собака Пронина, наверно, облаяла бы его. И, конечно, Маяковский тоже был здесь чужой, хоть и по-другому. Ахматова в стихотворении, написанном двадцать семь лет спустя, вряд ли верно передаёт свои впечатления тринадцатого года. В четырнадцатом величайший поэт того времени писал:

В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

Пусть так; но ничем хлётским, эстрадным такой пустоты заполнить нельзя. Никаким громкоговорением.

После войны, «Октября», Гражданской войны те, кто были здесь не чужие, вернулись в тот же (переименованный) подвал. К двадцать первому году возобновился — на более широких началах, немножко искусственно — и Цех. Георгий Иванов, Адамович и близкий с недавних пор им и Гумилёву Николай Оцуп были в Петербурге. Процветали студии. У Гумилёва было много учеников, для которых слово «акмеизм» звучало привычно и уютно. Но сам он и Мандельштам, как и Ахматова, давно акмеизм перерос. Теперь, когда писал он такие стихотворения, как «У цыган», «Сумасшедший трамвай» (и уже «Рабочий» или «Эзбеки»), когда Мандельштам писал стихи, собранные в книге его «Тристии», когда «Вечер» и «Чётки» Ахматовой были вдалеке, эти три поэта занимали каждый особое место внутри круга, очерченного петербургской поэтикой, на равных правах с Ходасевичем, который, в конце двадцатого года, переселился в Петербург — как бы подтверждая этим духовную свою близость Петербургу, — да почему бы и не с Блоком что бы о том ни думал Блок? С тем «взрослым» Блоком, каким давно уже он стал, когда вершины достиг его дар, а сердце перестало быть «восторженным» и тем более с утратившим и последний свой разрушительный, чёрный восторг, с предсмертным Блоком пушкинской речи и стихов Пушкинскому Дому, — пушкинской речи столь созвучной, по невысказанным её предположениям, пушкинской речи Ходасевича.



«Я встречала там / Двадцать первый год» (Ахматова). В Петербурге встречали его поэты петербургской поэтики, настолько близкой Пушкину, насколько это вообще возможно в нашем веке. Три раза читал Блок свою речь, два раза вслед за ним читал свою Ходасевич. 25 апреля Блок в последний раз читал петербуржцам свои стихи и поехал затем в Москву, где тамошние имажинисты и футуристы встретили его в Доме печати гоготом и воем, в котором явственно он слышал слова «труп» и «мертвец». Через три месяца в землю зарыли этого мертвеца, — хорошо, что не в Москве, а в Петербурге. Но раньше, чем это случилось, раньше, чем был арестован Гумилёв, чей окровавленный прах брошен был в яму через три недели после погребения Блока, —

Лучше бы поблёскивание дул
В грудь мою направленных винтовок,
Лучше бы на площади зелёной
На помост некрашенный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь, —

писала в ночь с 27 на 28 августа в Царском Селе Ахматова — раньше всего этого произошло тут же, в Петербурге, нечто другое, что как будто выпало, не знаю почему, из нашего общего сознания. Духов день приходился в этот год на двадцатое июня;

Я в веселящий Духов день
Склонён перед Тобою, Боже! —

сказано в предисловии к «Первому свиданию». Андрей Белый приехал в Петербург в начале года и здесь написал свою поэму. Он вскоре после Духова дня читал её Ходасевичу, который справедливо её назвал (в Некрополе) «лучшим из всего, что он написал в стихах». За двадцать лет до того, тоже в Духов день (оттого и был он ему так дорог) окончил он Вторую Симфонию, осознал окончательно своё призвание и поехал с другом своим, Серёжей Соловьевым, на могилу Владимира Соловьева, свежую ещё могилу, чтобы испросить благословение его на «подвиг», как он писал, «нашего будущего служения». Нигде он не выполнил этого служения лучше, чем в написанной теперь поэме; и никогда он не был ближе к петербургской поэтике, чем в ней. Он только в «сказках» к ней приближался, но как далеки от неё все «симфонии» и все ранние его стихи! В дальнейшем снова он то стремился к ней, то изменял ей полностью, но теперь тут, в этой заштатной отныне столице, накануне гибели двух её поэтов, написал он четырехстопным ямбом нечто, ни на чьи другие ямбы не похожее, нечто о Москве, о московской своей юности, но созданное всё же — во исполнение «подвига», в счастье этого подвига — под знаком Пушкина и Петербурга.

После двух смертей выдали ему паспорт, которого Блок получить не успел; он уехал — ненадолго. А на следующий год уехали всерьёз Ходасевич, Адамович, Георгий Иванов, Оцуп, две юные ученицы Гумилёва: Ирина Одоевцева и Нина Берберова. Осталась Ахматова, остался Мандельштам. Вышли его «Тристии». В рецензии на них («Печать и революция». 1923. № 4) Сергей Бобров весьма бессовестно писал: «Акмеизму недоставало талантов. Теперь вся эта история окончена». Он и лгал, и ошибался. Совсем не лгал и не во всём ошибался молоденький Лев Лунц, всеобщий любимец (но больше «Серапионовых братьев», чем «гумилят»), когда немного раньше («Книжный угол». 1922. № 8) рецензировал «Огненный столп», «Сады»

Георгия Иванова и первые два альманаха Цеха поэтов. Гумилёву он отдал должное, книгу его назвал лучшей из его книг, хоть и опрометчиво заметил, что он «только довёл до совершенства старую брюсовскую манеру»; Мандельштама тоже не умалил (заявив, однако, что он его «не любит»); Ахматову не упомянул (не было и повода); зато всем другим порядочно от него досталось, больше всех Иванову, за эклектизм и заимствования из Блока (правильно отмеченные, тогда как «ход, известный каждому первокласснику»: «Есть в литографиях старинных мастеров / Неизъяснимое, но явное дыхание» заимствовал, конечно, у Тютчева, а не у Пушкина). Главная же мысль Лунца заключалась в том, что цеховая выучка привела к скучноватой нейтрализации стихотворного умения. Его статья начинается так: «Бывают хорошие стихи, плохие стихи и стихи как стихи. Последних в современной поэзии больше всего и последние ужаснее всего». На это можно возразить, что культура стихотворной речи, сама по себе, есть нечто положительное и что «стихи как стихи» по надсоновскому образцу (пишущиеся и теперь) гораздо «ужасней», чем подражающие Гумилёву, Ходасевичу или Ахматовой. Но с тем, что и такие стихи не поэзия, что их необходимо, но не всегда легко от поэзии отличать и что они с наибольшей гладкостью слагаются в рамках петербургской поэтики, со всем этим нельзя не согласиться. Никакого осуждения, однако, именно этой поэтики вывести отсюда нельзя, как нельзя её и смешивать с той разновидностью её, которую культивировал Цех поэтов и которую Лунц только и мог иметь в виду. Кроме этой разновидности она включает в себе неопределённое число других, не переставая от этого противопоставляться другим поэтикам, совершенно с ней несходным. Она не иссякла и нынче ни в России, ни за рубежом.

После «Тяжёлой лиры» была «Европейская ночь». Георгий Иванов в конце своей жизни перестал быть пустоватым, хоть и весьма искусным стихотворцем, и стал подлинным поэтом. Георгий Адамович свои лучшие стихи написал в Париже и собрал их в книге, озаглавленной «На Западе». В зарубежной поэзии, между двух войн, петербургская поэтика господствовала почти безраздельно. Единственное достаточно заметное исключение — Поплавский, чья личная поэтика (не совсем уверенная ещё: он зрелости не достиг) любопытным образом напоминает одновременно раннего Блока и позднего Мандельштама (которого он знать не мог). Господствовала при этом не просто петербургская поэтика, а её весьма узкое истолкование, проводившееся в статьях и оценках Адамовича, самого влиятельного из зарубежных критиков и поэтов. Оно лежит, конечно, и в основе его стихов; в этом оправдание её, так как стихи эти хороши; но следует, мне кажется, пожалеть, что она чересчур беспрепятственно легла в основу стихов слишком большого числа парижских, и не одних лишь парижских, поэтов. Анатолий Штейгер и особенно Игорь Чиннов, исходя из этой «парижско-петербургской» поэтики, сумели использовать её, не слишком связывая себя ею; боюсь, что многие другие от покойного Лёвушки Лунца не дождались бы «упоительных похвал». Надо, впрочем, сказать, что и стихотворцы не совсем этого толка следовали всё же петербургским примерам (чаще всего держась немного ближе к Гумилёву); отчасти поэтому, быть может, Марина Цветаева и чувствовала себя в зарубежье такой особенно одинокой.

За последние двадцать лет это положение вещей несколько изменилось, так как обновившие зарубежную литературу поэты послевоенной эмиграции либо петербургской традиции чужды, либо склонны обращаться с ней более свободно. Но если взять зарубежную поэзию в её целом, за пятьдесят лет, то её главное значение вряд ли можно будет усмотреть не в том, что



была она хранительницей этой традиции, этой поэтики, тех представлений о стихотворном искусстве, которые выработались и воспреобладали у нас в золотую пору нашего так называемого серебряного века.

Были мы все здесь, однако, не единственными хранителями этой поэтики. В России её хранил Петербург. Петербургские поэты остались ей верны, малые и большие. Мандельштам её хранил, даже отходя от неё — но вернее сказать, её видоизменяя и обогащая, — до конца, во всех ссылках и лагерях, до безумия, до смерти. Анна Ахматова её хранила так любовно, умно и свободно, как никто другой не мог бы её хранить. И она сумела передать её сынам своим и внукам, молодым поэтам, живущим нынче в Петербурге (да и многим, я уверен, кого мы не знаем и кто нынче живёт не там), не все эти поэты, далеко ещё не все, печатают, имеют возможность печатать, свои стихи; но и ненапечатанные порою до нас доходят. Они-то нас и убеждают, что петербургская поэтика жива. Убеждают не тем, что следуют готовым, раз навсегда установленным образцам, а именно тем, что этого не делают и, не делая этого, всё же остаются верны тому, что до них было создано в Петербурге. И тот из них, кого мы узнали лучше других, всего сильнее нас в этом убеждает. Иосиф Бродский — большого дарования поэт и, как о том свидетельствует целый ряд его стихотворений, необычайно рано достигший зрелости. У него есть своя поэтика, не похожая ни на чью другую. И всё-таки петербургская она; не сказать о ней этого нельзя. Знаю: он родился в сороковом году; он помнить не может. И всё-таки, читая его, каждый раз думаю: нет, он помнит, он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург двадцать первого года, тысяча девятьсот двадцать первого года Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилёва не могли похоронить.

1968



АРЬЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ родился в 1940 году в Ленинграде. Историк литературы, эссеист. В 1964 году окончил отделение русского языка и литературы филологического факультета ЛГУ. С 1984 года — член Союза писателей СССР, с 1992-го — соредaktor (вместе с Я. А. Гординым) журнала «Звезда». С начала 1970-х публиковался в советской периодике, в самиздате и за рубежом. Печатался в изданиях: «Вопросы литературы», «Звезда», «Знамя», «Новый мир» и др. Автор более 400 печатных работ. Область интересов — русская культура XIX–XXI вв. Составитель, комментатор и автор статей к различным изданиям сочинений Сергея Довлатова. Автор книги о феномене царскосельской поэзии «Царская ветка» (2000), ряда статей о творчестве Владимира Набокова, книг «Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование» (2009), «За медленным и золотым орлом: о петербургской поэзии» (2018). Составитель,

комментатор и автор вступительных статей к изданным в «Новой библиотеке поэта» книгам: Георгий Иванов «Стихотворения» (2005; 2-е изд. 2010), «Царскосельская антология» (2016). Живёт в г. Пушкине.

Андрей АРЬЕВ

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МРАК ЧУЖОГО САДА»

Царское Село в русской поэтической традиции

1

Трудно назвать поэтические строки о Царском Селе достославнее пушкинских. Иннокентий Анненский не усомнился, что должно быть начертано на постаменте открытого 19 октября 1900 года царскосельского памятника:

Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село*.

(«19 октября», 1825)

Некоторая таинственность этого хрестоматийного фрагмента заключается в том, что желанное отечество здесь — не обязательно счастливое отечество. Подобно Дантову Лимбу, пушкинское Царское Село ускользает от адекватных обыденному сознанию определений, так же как и не находящееся с ним в ладах счастье.

«Счастье» — фортуна переменная, и куда б оно ни бросало поэта, к блаженству не вывело: «Но злобно мной играет счастье: / Давно без крова я ношусь...», — то ли утверждал, то ли констатировал факт ссыльный Пушкин в послании «К Языкову». «Счастье», понятное и как высшее довольство жизнью, и как неотвратимая прихотливость судьбы, уготованная участь, — иллюзия, фикция, по сравнению с неким эзотерическим, существующим только для посвященных «отечеством».

Таким это «отечество» и осталось в русской литературе — загадочным символом нашей лирической и призрачной земли обетованной.

* Чит. по: Царскосельская антология / сост. Б. А. Чулкова при участии А. Ю. Арьева; вступ. статья, подг. текста и примеч. А. Ю. Арьева. СПб., 2016. С. 95. (Новая библиотека поэта). Далее стихи, входящие в состав «Царскосельской антологии», цитируются по этому изданию без указания страниц.



Место, где возможен «неразделимый и вечный», «как душа», союз близких сердец, сбережено от разрушительного действия времени: душа, по христианской философии, — субстанция неделимая и непреходящая. Вопрос, однако, в том, насколько способствуют этой гипотетической неразделимости языческие музы, насколько властвует в поэзии вечность христианская.

Идея суверенного, независимого бытия и, следовательно, суверенной и независимой культуры, блаженной области, неподвластной действию рока, явственно владела Пушкиным со времён михайловской ссылки и до конца дней. 19 октября — день создания и открытия пушкинского «отечества» — резко выраженная, устойчивая, предметно повторяющаяся тема его лирики, нещадно эксплуатируемая позднейшими стихотворцами.

Эриху Голлербаху в его «Городе муз» пригрезилось: «Из лирической „антологии“ Царское Село превратилось в „онтологию“ лирики»*. То есть в область самоценного поэтического бытия.

Благодаря Пушкину Царское Село и на самом деле стало отечеством новой русской поэзии. Но вот всё-таки что же это за отечество и как пребывание в нём соотносилось с реальной жизнью резиденции императоров и императриц?

Императрикс Екатерина, о!
Поехала в Царское Село.

Даже заведомая пародия на Василия Тредиаковского до сих пор представляется если и не его собственным текстом, то искренней лирической экзальтацией, как её истолковал, к примеру, Андрей Вознесенский, увидевший в этом «о!» зеркальце, в которое глядится перед поездкой в Царское императрица.

А поехать было куда — и до сих пор остаётся. Ни в советское время, ни в постсоветское, ни в чаемой грядущей демократии ничего подобного царскосельскому ансамблю создать немыслимо. Такие пространства превращаются в культурный парадиз лишь при долгой и абсолютной монархической власти. Зато сколь бы дорогую цену ни платили за царскую роскошь подданные, их потомков она наводит на мысли если и не о спасении мира красотой, то о силе «почему-то никогда не могущего умереть искусства», как бы ни иссушались его источники, куда бы оно само ни отступало, в какую явь:

В парке ливрейном чего ж не гулять гегемону?
Роскоши, роскоши всюду! И блеску, и звону...
То пролетит киносъёмка на тройках лихих,
то зашипит в репродукторе пушкинский стих...

(«Худ. Герасимов (Москва) „Рабочая семья Козыревых...“»)

Это уже советское время, стихи Виктора Кривулина, 1980-е годы, цензура, застой, оказавшийся лечебным для неангажированной лирики.

Но не цензуру нужно было преодолевать поэтам XX века, вдохновлявшимся Пушкиным, а нечто более существенное — мощную полутора вековую культурную инерцию. Наследующие возвышенной эстетике XVIII века и пушкинским ранним образцам, отечественные стихотворцы вместо реального Царского Села проникались его априорно поэтическим колоритом, замороженно воспроизводили миражи: «гостеприимный кров», «задумчивая сень», «вещая цевница»... «Каждый был тогда поэт», — тянули в закоснелом

* Голлербах Э. Город муз. Л., 1930. С. 147.

простодушии наследники Пушкина всем лицейским собором. И М. Д. Деларю с его «Статуей Перетты в Царскосельском саду», и В. Р. Зотов с его умильным «Полувековым юбилеем Лицея» («И Пушкина почтить достойно можно / Лишь только пушкинским стихом») — все они были мастерами переимчивости. Зотова называли «вторым Пушкиным», но в его перманентных уверениях, дескать, «Всё тот же прежний дух Лицея, / Добром и честью пламенея, / Горит в сердцах его детей...», «пушкинский стих» деградирует, становится отвлеченной прописью. Спору нет, и Деларю, и Зотов, и другие выпускники Лицея — самые просвещённые из обитателей Царского Села. Но сочиняли они весь XIX век с какой-то «пушкинской пеленой» в очах: «Как чуден ты, приют Царей! / В красе садов твоих зелёных / И их озёр, и лебедей / Вокруг чертогов золочёных!» Это уже Я. К. Грот («Царское Село»), архиэрудированный ученый, познакомивший Россию со скандинавской культурой, выпустивший основополагающие труды по истории Лицея пушкинской поры, издавший Державина с полнотой, до сих пор не превзойдённой, — и проч., и проч.

И даже будущий великий сатирик в лицейские годы грезил и печатал:

...Бессонный соловей один вдали поёт.
Весенний вечер тих; клубится и встаёт
Над озером туман, меж листьями играя,
Чуть дышит майский ветер, ряд белых волн качая;
Спит тихо озеро. К крутым его берегам
Безмолвно прихожу и там, склонясь к водам,
Сажуся в тишине, от всех уединенный,
Наяды резвые играют предо мной —
И любо мне смотреть на круг их оживленный...

(М. Е. Салтыков. «Вечер», 1842)

Элегический тон в поэтических описаниях Царского Села становится непреодолимым соблазном и для Жуковского, и для Вяземского, и для Тютчева. Поразительно: Вяземский и Тютчев, с их склонностью к диссонансам поэтической мысли, в царскосельских стихах как будто одолены меланхолией, совершенно утратили чувство трагического. К тому же в этом случае оба лирика слабо отличимы друг от друга:

Тихо в озере струится
Отблеск кровель золотых.
Много в озеро глядится
Достославностей былых.
Жизнь играет, солнце греет,
Но под нею и под ним
Здесь бывшее чудно веет
Обаянием своим.

Ничего более умиротворённого Тютчев никогда не писал. «Бывшее» этих мест объято для него «дремотой», как сказано в другом его царскосельском стихотворении «Осенней поздней порою / Люблю я царскосельский сад...». Стихи эти ничуть не уступают в своей выразительности пушкинскому «канону». Но их весомость — это весомость оцепенения, уводящего в сны созерцания.

Так и плыл этот дремотный туман весь XIX век. И уплыл — в изгнание, под воображаемый «звон заздравных чаш» «царского поэта» С. С. Бехтеева*.

* См. многочисленные примеры визионерских по своему существу опытов лицейстов в кн.: Некрасов С. М. Лицейская лира: Лицей в творчестве его воспитанников. СПб., 2007.



И летом, и осенью, и зимой здесь властвует какая-то безгласная «нега онеменья»:

Но и природы опочившей
Люблю я сон и тишину...
<...>
Есть жизнь и в сей немой картине,
И живописен самый мрак:
Деревьям почерневшим иней
Дал чудный образ, чудный лак...

Это уже Вяземский, «Царскосельский сад зимою». А дальше, вслед ему и Тютчеву, граф Арсений Голенищев-Кутузов...

Фет говорил стихотворцу из царствующего дома Константину Романову, что тот не сможет написать проникновенную драму совсем не по причине отсутствия таланта (К. Р. им обладал), но из-за того, что тот от всяких драм — тем самым и от собственных — по рождению обережен. Знание о трагедии без сопричастности трагическому для художника — знание всегда относительное. То же самое можно было сказать князю Владимиру Палею, внуку Александра II, с его стихотворением «Перед памятником Пушкина в Царском Селе». Был он юноша с душой светлой и смерть его в 1918 году — «мужичками богоносными» живым сброшен в алапаевскую шахту — ужасней не представишь... Но, как сказал другой царскосёл, Дмитрий Кленовский, «Мне не придётся „там“ писать стихов...»*

Явившаяся «при кликах лебединых» царскосельская лирическая муза поникла у разбитого кувшина, застыла в тисках великолепия. Лебедь, глядящий на себя же в зеркала искусственных озёр, — её символ, её эмблема:

Я помню всё: и пруд, и холм узорный.
Мне кажется, когда-нибудь уснув,
Увижу вновь: плывёт мой лебедь чёрный
И над водой зеркалит красный клюв.

(Сергей Горный. «Царское Село», 1925)

В XX веке всё это окончательно становится благопристойной риторикой, лирической хлябью у разбитого кувшина. Что ж два века кряду соблазнять себя и других: «Так улыбнись поэтам / И Музой будь для них!» Не улыбнется — слишком обалапана.

Нужно быть гением, чтобы бежать от этого наваждения. И в XIX веке под силу это оказалось только одному — и действительно гениальному — жителю Царского Села — Лермонтову. Пробыв в нем самое что ни на есть пушкинское время — 1834–1837 годы, — царскосельский гусар не написал об этом «приюте муз» ни строчки. Хотя, может быть, именно пребывание в Царском Селе помогло ему по контрасту изумиться угрюмому облику захолустного отечества: «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да ещё вдобавок меня хотели утопить».

Без сомнения, Царское Село было самым пышным из всех возможных городишек России. Там никак нельзя было умереть с голоду, да вдобавок там негде утонуть. Разве что спьяну. Припудренное барокко, декоративные руины, искусственные озера, попорченный мрамор, размашисто пеструю китай-

* Первая строчка первого стихотворения в сб. Кленовского «Прикосновение» (Мюнхен, 1959). Цит по: Кленовский Д. Полн. собр. стихотворений / ред., сост., подг. текста и примеч. О. А. Коростелева; послесловие А. Е. Коростылевой. М., 2011. С. 167.

щину, затерявшиеся в траве надгробия с эпитафиями любимцам Екатерины Великой, левреткам — вот что оставил царскосёлам чтимый ими двуликий XVIII век. Царское Село превращалось, по выражению Эриха Голлербаха, в «богадельню поэзии»*, в местечко —

...Где веет всё давно забытым сном
И шепчутся деревья о былом.

(К. М. Фофанов, «Дума в Царском Селе», 1889)

И всё-таки Царское Село — наиболее вероятное из российских урочищ, где мучительное для наших мыслителей противоречие между «природой» и «культурой» если и не снято, то сильно завуалировано. Из этой особенности «царскосельского текста» В. Н. Топоров — применительно к стихам Василия Комаровского и Анны Ахматовой — выводит такое заключение: их «роднит сочетание не только „природного“ и „культурного“, но и то, что „культурное“ лишено археологически-антиквизирующих коннотаций, антологичности, любования им, и оно, скорее, отсылает нас к истории, а “природное” берётся не в его идеальности, приглаженности, хрестоматийности, но и в его „грубой“ реальности, „непоэтичности“...»**

«Антиквизирующие» коннотации, на самом деле отсылающие нас к истории, если не в «культурном», то в самом «природном» смысле, царскосельской лирике свойственны. Взять, к примеру, того же Комаровского, с его мощным описанием заката, расцвеченного красками и символами римской империи:

...В провалы туч, в зияющий излом,
За медленным и золотым орлом
Пылающие идут легионы.

(«Вечер», 1910)

Особенно выразительно тут переведённое XX веком в сугубо поэтическую сферу «археологическое» ударение на «и» в слове «идут».

Воплощённое в этих строчках «соответствие» природного и исторического ещё определённое выражено вскоре Осипом Мандельштамом — с той же интонацией, с тем же рифмующимся созвучием и также в ямбическом размере. «Природа — тот же Рим и отразилась в нем», — отчеканено им в стихотворении 1914 года. В «прозрачном воздухе» вечного города поэт, вслед за Комаровским, увидел «образы его гражданской мощи».

Восприимчивый к царскосельской традиции современный поэт привычку мерять одной общей мерой историко-культурное и природное делает художественным принципом, едва ли не приемом:

Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!
Судьбу несчастную и злую смерть твою
Мне куст истерзанный напоминает пыльный,
Хоть я и делаю вид, что не узнаю.

Как будто Тацита читала эта крона
И вот заламывает ветви в вышине

* См.: Голлербах Э. Город муз. С. 82.

** Топоров В. Н. Поэзия и проза В. А. Комаровского // Комаровский, Василий. Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии / сост. И. В. Булатовского, И. Г. Кравцовой, А. Б. Устинова; коммент. И. В. Булатовского, М. А. Гаспарова, А. Б. Устинова. СПб., 2000. С. 305.



Так, словно статую живой жены Нерона
Свалить приказано и утопить в волне.

Как тучи грузные лежат на косогоре
Ничком, какой у них сиреневый испод!
Уж не Тирренское ли им приснилось море
И остров, стынувший среди пустынных вод?

Какой, Октавия, сегодня блеск несносный,
Стальной, пронзительный — и взгляд не отвести.
Мне есть, Октавия, о ком жалеть (и поздно,
И дело дальше), кроме тебя, прости.

У автора этого стихотворения Александра Кушнера есть целый сборник «Античные мотивы» (2014), в предисловии к которому автор специально оговаривает, что его античные реминисценции никак не связаны с так называемой антологической поэзией «в духе А. Н. Майкова».

Сопрягаясь друг с другом, «природное» и «культурное» волей-неволей ткнут царскосельскую эстетику в каком-то ирреальном пространстве, в годы разрухи особенно заметном. В стихах — 1926 года — эту доминантную призрачность выразил Дмитрий Усов:

...Здесь Актеон — лишь северный олень,
А Лучница румяней и добрее,
И древней Лиры вычерчена тень
На мраморном снегу Гиперборея.

(«Нине Волькенау»)

В царскосельских садах Артемида сворой псов Актеона не затравит, и тень «древней Лиры» упадёт вместо полунощных недвижных снегов на гладкую обложку «Гиперборея», журнала ближайших к Царскому Селу акмеистов. Экзистенциальное переживание мифа превращается в сугубо эстетическое влечение к жизни среди призраков, в сладостный или горестный пессимизм. «...В Царском была другая античность и другая вода», — записывает для себя Ахматова, определяя эту «античность» как «гиперборейскую»*.

В XX веке царскосельская лирика такого рода обретает дар говорить голосами умолкших и молчащих, получает трагическое измерение. Установка на «классичность», о которой пишет применительно к «царскосельскому тексту» В. Н. Топоров, оставаясь установкой, в художественной практике самоотрицается или приводит к полному этой «классичности» выхолащиванию. На первое место выдвигается, как заключает В. Н. Топоров, «самодовлеющий характер слова»**, по самому своему бытованию и цели становящегося в оппозицию к «классичности». «Не только, — продолжает исследователь, — <...> изображается чужой языковой стилистикой средствами своего, но и свой стиль отдан во власть чужому, чтобы тот если не перетолковал его по-своему, то сделал его сопоставимым с самим собой»***.

2

Согласно Всеволоду Рождественскому, поэту, чаще других воспевавшему Царское Село, эволюция поэтических представлений об этом оазисе знаменуется превращением заповедника царствующих особ в пантеон царствен-

* См.: Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / сост. и подг. текста К. Н. Суворовой; вступ. статья Э. Г. Герштейн; вводные заметки В. А. Черных. М.; Torino, 1996. С. 284.

** Топоров В. Н. Поэзия и проза В. А. Комаровского. С. 312.

*** Там же. С. 312–313.

ных муз. Мысль доходчивая и удобная. Её можно вывести и из «Города муз» Эриха Голлербаха, и из большинства дальнейших трактовок царскосельского культурного феномена*. Их неадекватность в том, что они оставляют в стороне пути, открытые в русской лирике старшей современницей Рождественского Ахматовой и их общим учителем Анненским. Пути, которые и самим апологетам «города муз» заказаны не были. Тот же Рождественский знал о «душной красивости» Царского ровно столько, сколько о его красоте. Случалось и ему снимать маску слезоточивого паломника у ног бронзового лицеиста, тут же уверенной рукой затевая пейзажи с иными фигурами. Например, тучного Алексея Апухтина, другими поэтами, кроме позднейшего запечатления Татьяной Гнедич, в этих местах не примеченного:

Была меланхолической аллея,
Шуршащая последнею листвою,
Чуть задыхаясь, шел он вдоль Лицея,
Задумчив, с обнажённой головой.

И там, на даче, возле самовара,
В подушках пёстрой холостой софы
Сплетала звон цыганская гитара
С ручьиным пением пушкинской строфы.

Морозное дыхание заката
Ложилось на балконное стекло,
И в сырости годов восьмидесятых
Роняло листья Царское Село.

(«Апухтин в Царском Селе», 1938)

Гнедич в венке сонетов «Город муз» предпосылает строфам об Апухтине эпиграф из его стихотворения «Опавшие листья»: «Смотри, как пышно-погребально / Горит над рощами закат». В этих строчках скрыта глубинная тема человеческого небытия, более существенного, чем само бытие. Царскосельская культура делает заметной не жизнь, а её призрачность. Ахматова о «герое» своей трагедии «Пролог, или Сон во сне» записывает: «Настоящий герой — Тень»**. То, что она «живым — изменницей была, и верной — только тени», говоря её словами из той же трагедии, прежде всего справедливо по отношению к её царскосельству. Это о ней думая, написал в «Царскосельском сне» (1947) Дмитрий Кленовский:

Здесь призраки свиданья длят свои,
Здесь мертвецы выходят из могилы,
Здесь ночью гимназиста лицеист
Целует в окровавленный затылок.

Ахматовой двухвековая «государева вотчина» со статусом «дворцового города» навевала образ игрушечного городка — настолько, что Ахматова сама ощущала себя в нём «игрушечной» и друга своего называла «мальчиком-игрушкой». Это не инфантилизм, а выражение всё той же темы отчуждения, исчезновения человека на карнавале, «среди шумного бала»***.

* См., например: Савельева Г. Т. Два мифа о Царском Селе // Иннокентий Анненский и русская культура XX века / сост. Г. Т. Савельевой. СПб., 1996.

** Цит. по: Ахматова А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1998. Т. 3. С. 453.

*** Применительно к Ахматовой сходная концепция выражена в работе В. Я. Виленкина «Царскосельская муза»: «Перед нами открывается совсем не обычная, всем знакомая картина Царского Села, а скорее какая-то его оборотная сторона, схваченная зорко и остро, без малейшей поэтизации, но по-своему поэтически» (Виленкин В. В сто первом зеркале. М., 1990. С. 213).



Отчужденность эта впервые внятно прозвучала в стихах юного Пушкина. Следом за прославившими лицейского поэта «Воспоминаниями в Царском Селе», посвященными истории России, величию века Екатерины, а никак не подробностям жизни, он написал стихотворение «Городок», решительно выводя царскосельскую эстетическую реальность за пределы дворцовых оград: «...От шума вдалеке, / Живу я в городке, / Безвестностью счастливом...» До поры эта философия соблазняла юного Пушкина чисто литературно, пленён он был только что напечатанными — в 1814 году — «Моими пенатами» Константина Батюшкова, в свою очередь развивавшими руссоистскую традицию французов Ж.-Б.-Л. Грессе с его «Обителью» («La chartreuse»), Ж.-Ф. Дюси и другими на русский стихотворный лад. Батюшковская непринужденная интимность тона трехстопного ямба с чередованием мужских и женских рифм заставляет Пушкина оглянуться и на Державина, на его «Прогулку в Сарском Селе», посвящённую Карамзину. Это весьма существенно. Потому что именно Державин изготовил поэтический ключик, который начал поворачивать Пушкин и до конца повернули царскосельские поэты — в первую очередь Иннокентий Анненский и Анна Ахматова — столетие спустя, в начале XX века. Имею в виду опять же не оды, а более низкий жанр, последние строки державинской «Прогулки...» (1791):

И ты, сидя при розе
Так, дней весенних сын,
Пой, Карамзин! — и в прозе
Глас слышан соловьи.

Пушкинский «Городок» собственно к Царскому Селу топографически не привязан. Безымянное место, расположенное близ «великого града Петра» с Царским Селом совмещается виртуально. Сюжет, лишённый осязаемых примет канонизированного величия, прямо предвосхищает грядущее развитие царскосельской лирики.

Поэзия, характерная для XX века, тем и отличается от поэзии минувших русских дней, что предпочитает соловья в прозе соловью в стихах. Соловей в ней склонен, как у Ахматовой, петь «на кривой сосне», а не в лирических зарослях. В стихи Льва Лосева впорхнул даже «соловей, цитирующий Зощенко»...^{*} Последние сто лет, продолжая верить в изначальное превосходство стихового «царственного слова» над любым другим, лирики не боятся его скомпрометировать никаким дурным соседством — прозы жизни они, скорее, жаждут. Представить меланхоличную деву с разбитым кувшином в бурлескном воплощении — пример чему остроумные стихореплики, начиная с Алексея К. Толстого и заканчивая Владимиром Уфляндом — оказалось делом более живым, чем несчетный раз элегически поскальзываться на пушкинском шедевре:

В фигуре девушки с кувшином
Грусть о Союзе Нерушимом (1994).

В старой поэзии сочетание соловья с какой-то «кривой сосной» невозможно. Невозможно оно, кстати, и в природе: соловьи поют в кустарнике, а не на одиноких деревьях. Принцип прозаизации стиха лишь в малой степени сводится к стремлению обогатить условный поэтический строй речи реалиями так называемой действительности. Также в незначительной степени прозаизацию можно объяснить тенденцией к ироническому смеше-

^{*} Лосев Л. «Роза отвечает соловью» // Лосев Л. Говорящий попугай. СПб., 2009. С. 23.

нию высокого с низким или попытками окрасить один пласт эстетической реальности цветами, свойственными другому. В общем, прозаизация стиха не есть стремление к точнейшему, сравнительно с прежним, «отражению жизни». Она есть знак интимизации всякого содержания, знак невольного его снижения до личностного, сопряженного с бытовым, уровня.

Люди склонны видеть правду в отождествлениях и априорных, невнятных им на личном опыте истинах. Их груз уже в XIX веке стал ощущаться хотя и неизбежным, но чрезмерным. Универсальность «идеализма» переставала быть гарантирующей сносное существование на земле опорой. Либерализм, ратующий за ценности суверенного бытия независимой личности, не мог не выйти на авансцену истории. Совершенно естественно полыхнувший пламень личностного творчества приглушил свет очагов популярных вероисповеданий и идеологий. «Мы с вами из-за нашей уникальности не всегда понимаем, что к чему, — заметила Ахматова В. В. Иванову, — это наш недостаток»*. Для лирика — достоинство.

Поэт живёт в разваливающемся, дробящемся мире и дает наименование тому, что исчезает, тому, чего уже нет для других. Это знание о неповторимом соположении вещей внеидеалистично по своей природе. У новых поэтов XX века «единичное» претворяется в «универсальное» или притворяется им. Смысл эстетической революции, вырывавшейся из-под вяло текущей лавы «идеализма», заключался в том, что «всеобщее» сдавало позиции перед «единичным», перед уникальным внутренним опытом художника. Прозаическую по существу тяжесть этого опыта надежно могло выдержать лишь добавочное измерение, поэтическая гармония, «музыка».

Интимизация, каким бы парадоксом это ни звучало, есть прорыв к свободе. Неповторимое, не подверженное дублированию, в искусстве может быть выведено на свет без серьёзного опасения себя скомпрометировать. В изображении греха оно показывает отличное от того, что общепринято полагать грехом. «Бесстыдное» перестаёт быть «бесстыдным». Но и «прекрасное» — «прекрасным». Конвенций с моральным, политическим или иным общепринятым суждением новое поэтическое слово не заключает. Уникальное — в силу самой своей уникальности — не терпит этической нагрузки. Говоря философским языком Серебряного века, бердяевским языком, новая поэзия есть торжество над объективацией мира, преодоление её.

Такие слова, как «грех», «прекрасное» и тому подобные, новая поэзия вынимает из уютных словарных гнёзд, делает их частными, лишь одному субъекту принадлежащими. Слово неизбежно оказывается таинственным для воспринимающего его.

Тут мы и подходим к определяющему всё творчество новых царскосельских поэтов понятию: «тайна». Таинственное слово в поэзии XX века — это прозаическое слово, не входившее прежде в поэтический арсенал. То есть в меньшей степени зависимое от утвержденного и утвердившегося в поэтической традиции. В искусстве новые «факты» дезавуируют старые «идеи». Новый поэт не мыслит, что у соседа душа точь-в-точь такая, как у него. Раз уж «вечная», то — «иная». Известное утверждение Ахматовой о том, что поэзия должна быть немного бесстыдной, в эстетическом плане обосновано этим измененным отношением к поэтической речи.

Столь же важно, что таинственное прозаическое слово возводится в ранг слова «царственного». С философской точки зрения, речь шла о преодоле-

* *Иванов Вяч. Вс.* Беседы с Анной Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой / сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных. М., 1991. С. 490.



нии в искусстве — и при помощи искусства — систем априорного знания и мышления, преодолении традиций вознесённого символизма Платона.

3

Произнесённое рядом с императорской резиденцией и в оппозиции к ней приватное тихое слово таило в себе ликующую интонацию.

Понятно, почему Ахматова царскосельскую тему русской лирики выводила не из Ломоносова или Державина, воспевших эти места первыми, и не из пушкинских «Воспоминаний в Царском Селе», но всё из того же «Городка» и из стихотворения «В начале жизни школу помню я...». В «Городке» юный Пушкин, несколько заболтавшись, незаметно для себя ушёл от Екатерининского дворца не в сторону парков, как его предтечи, а в сторону обывательских кварталов (Державин всё-таки ещё катается на лодочке в черте садов: «...Мы, в лодочке катаясь, / Гуляли в озёрке», — сообщает он). Вернувшись же, написал о «великолепном мраке чужого сада». Самое значащее среди этих слов — «чужого». Из «прозаического» и «чужого», ощущаемого как «интимное», создаётся новая антиномичная поэтика.

Борис Голлер находит, что «снижение до смиренной прозы» в стихах начал проводить именно Пушкин — своими примечаниями к «Евгению Онегину»: «...уход текста в прозаизм. Прозаизация»*.

Прозаизация стиля современного искусства заключается также в том, что оно любой высокий предмет изображения мыслит подходящим для включения в реестр провинциальных сюжетов (Лев Лосев отмечал это в случае со стихотворением «Рынок» другого царскосёла — Василия Комаровского). Сама земная жизнь трактуется как провинциальная — в любой точке планеты, в том числе и в Париже, и в Петербурге, и в Царском Селе. Что не мешает и в этой жизни возноситься куда как высоко. Здесь, на Бульварной улице у Гумилёвых, их гость, граф Комаровский, сказал Ахматовой — ещё не зная, что она пишет стихи: «Теперь судьбы русской поэзии в Ваших руках»**. Тем великолепнее он ошибся, если имел в виду руки «жены Гумилёва»...

Ярко выраженная общечеловеческая просветительная идея XVIII века материализовалась в создании царскосельского культурного оазиса среди «пустынных лесов» и «чухонских убогих приютов». Но она же с течением времени породила мощный региональный противовес. Без него царскосельской культуре грозил упадок. Он и случился, пока царскосельская муза не осознала свою одновременную провинциальность и столичность:

Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск — Шагал.

(«Царскосельская ода», 1961)

Для имперского сознания это ахматовское живописное уподобление — нонсенс. Иное дело — сознание поэтическое, для которого аромат крапивы в лицейском садике «гуще, жарче» запаха роз у ног бронзового лицеиста, как сказано у Александра Кушнера, в этом отношении прямо наследующего Ахматовой, у которой «крапива запахла, как розы, но только сильнее».

Легко, почти легкомысленно, привычные акценты в описании этих мест были смещены ещё в 1912 году Осипом Мандельштамом. Его «Цар-

* См.: Голлер Б. А. Девятая глава. СПб., 2012. С. 329.

** Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма / сост., предисл., примеч. Л. А. Зыкова. М., 2000. С. 237.

ское Село» — своего рода непроизвольная сатира, приглашение лицеизреть императорскую резиденцию без ностальгического флёра, глазами «Просто-душного». В строфах этого стихотворения ампиризм подаётся как олеография, величавость трактуется как дряхлость... И поэзия — торжествует:

Поедем в Царское Село!
 Там улыбаются мещанки,
 Когда гусары после пьянки
 Садятся в крепкое седло...
 Поедем в Царское Село!

 И возвращается домой —
 Конечно, в царство этикета,
 Внушая тайный страх, карета
 С мощами фрейлины седой,
 Что возвращается домой...

Весьма важна в этом стихотворении авторская поздняя правка. Условные — никогда в Царском не квартировавшие — «улань» первой редакции («Поедем в Царское Село! / Свободны, ветрены и пьяны, / Там улыбаются уланы...») заменены Мандельштамом конкретными, лишёнными романтической ауры гусарами — в соседстве, что ещё более важно, с улыбающимися мещанками (их изначально и духу не было). Опризнавание провинциального или, выражаясь более нейтрально, регионального принципа искусства происходило чаще всего на бессознательном уровне. Впрочем, у гениев начала XX века это чувство верифицировано. «Петербург — глухая провинция, — говорил Александр Блок, — а глухая провинция — „страшный мир“». «Страшный мир» — это «весь мир», финиш человеческой цивилизации. Поэтому чем «столичнее», тем «провинциальнее». «...Версаль мне показался даже ещё более уродливым, чем Царское Село»*, — писал Блок из Парижа летом 1913 года. Такой уродливой, глухой мировой провинцией изображен Петербург в одноимённом романе Андрея Белого.

Цивилизация — это трагедия без катарсиса. Чего не может быть в культуре. Только в ней трагедия переживается как поиск идеальной сущности жизни, как «очищение». В Санкт-Петербурге не почувствовали того, чем в Царском Селе уже повеяло, — «чистота культуры» оберегается «грязью жизни». Как уже говорилось, провинциальность не обязательно признак деградации, она может и должна служить культуруобразующим стимулом.

Ещё в 1879 году со всегдашней своей энергичной простотой об этом — в частном письме Всеволоду Соловьёву — высказался Константин Леонтьев: «Там (в Царском. — А. А.) есть все прелести русской провинции и есть близость Невской Клоаки для дел»***.

И у Ахматовой трагедия, берущая начало у гостиного двора, набирает высоту, неведомую насельникам блистательных резиденций. Не среди «парков и зал», а в обывательских кварталах, где всякое украшение — погрешность против вкуса, поэт присягает на верность тому, что связано для него в Царском Селе с трагедией нового века:

* Блок А. Письмо к В. А. Пясту от 3 июля 1911 г. // Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М.; Л., 1960–1963. Т. 8. С. 350.

** Блок А. Письмо к матери от 13 авг. 1913 г. // Там же. С. 426.

*** Леонтьев К. Н. Избранные письма. 1854–1891 / публ., предисл., коммент. Д. В. Соловьёва. СПб., 1993. С. 227.



Мои молодые руки
Тот договор подписали
Среди цветочных киосков
И граммофонного треска,
Под взглядом косым и пьяным
Газовых фонарей.

(Из цикла «Юность», 1940)

Почти через полвека после Константина Леонтьева Николай Пунин интимно живописует конгениальный самый новой царскосельской поэзии пейзаж. В нём блуждающая, едва обозначенная — и всё же центральная — фигура — музы. Музы, благословившей и эту поэзию, и этот пейзаж:

«Сегодня был с Ан. в Царском. Третий день, как выпал пушистый легкий снег, 8° мороза. Солнечно, прозрачное, высокое небо. Царскосельский парк заметен снегом, дорожек почти нет, тропинки протоптаны сквозь парк по наиболее коротким направлениям к Софии. Пусто и от этого ещё более торжественно и пышно; солнце, смешанное со снегом, золотило поляны, стволы и горело в воздухе. Кажется странным, что в этом городе ещё живут люди; чем они живут? Как они могут жить в такой тишине на останках такого прошлого? Этот город, прилепившийся к гигантским дворцам на окраине парка, вымерший, полуразрушенный, напоминает сторожку могильщиков какого-то великого кладбища. <...> Все дома знакомы и знакома былая жизнь в этих домах; лакеи, отворявшие двери, лестницы, устланные красными бархатными дорожками, сени, парадные комнаты, будуары; знакомые шаги и звон сабель и шпор; лысины, подставленные для поцелуев; дети в шароварах и куртках, обшитых каракулем, в каракулевых же шапочках или в красных шапочках школы Левицкой, с гувернантками и гувернёрами; и другая жизнь: гимназисты в голубых фуражках и с голубыми кашне, выдернутыми из-под светло-серого пальто, студенты на „своих“ извозчиках, балы в Ратуше, пышные балы, где всё было, как „в свете“, но в которых „свет“ ничего не признал бы своим; возвращение с последним поездом из Петербурга, быстрая езда на собственной лошади мимо больших из посеребрённого чугуна электрических фонарей — домой; заспанная горничная без наколки и фартучка; столовая, где на этажерке стоял холодный чай и бутерброды, и т. д.

Спит умерший город, спят дворцы и спит парк. Непоправимо, невозвратно... Но сквозь этот глубокий, страшный, белый сон-смерть совершенно равнодушное к тому, что произошло, глядит прошлое. Само ли оно имеет эту силу, или вечное, почему-то никогда не могущее умереть искусство дало её ему — уж не знаю, но оно, как солнце или звезда, совершенно бесшумно глядит сквозь этот город могил с умным лицом, все видящим и знающим всё. Или это уже не жизнь? Чувство мое сегодня похоже на то, какое бывает, когда смотришь в телескоп на лунные кратеры и поля...

Аничка заходила в Гумилёвский дом, надеясь найти там старую переписку Н. С. — ничего нет, наверное, сожжено не раз менявшимися жильцами»*.

Поэзии в этом прозаическом описании вряд ли меньше, чем в ранних стихотворных опытах Пунина, настоянных на декадентско-символистской суггестивности**.

* Пунин Н. Н. Мир светел любовью. С. 235–236.

** См., например, его стихотворение «Адмиралтейство» в «Царскосельской антологии».

Понятно, что «Ан.» и «Аничка» приведенной дневниковой записи от 21 февраля 1925 года — это Анна Ахматова, с которой Николай Пунин в царскосельской юности знаком не был.

4

Самый интересный, потому что антиномичный, опыт освоения и одновременно преодоления «царскосельского мифа» содержится в поэзии Иннокентия Анненского. В его зыблущейся тени только и могло найти приют новое царскосельское — вернёмся к пушкинской лексике — лирически резкое витийство. Анненский был гиперкультурен и лучше других понимал, написав в статье «О современном лиризме»: «...то, что было только книжным при своём появлении, получило для нас теперь почти что обаяние пережитости»*. Как мало кто ещё, Анненский мог оценить осязаемую грандиозность и блеск царскосельского наследия, понять, сколь мощно оно повлияло на формирование Пушкина. И он же не преминул сказать об изначально «величавой» красоте воспетого им Царского Села, «которая когда-то пленяла и даже трогала, а теперь кажется и условной и холодной»**. Живительный пример оппозиции к позолоченной культуре при замороженности самим фактом её бытования. В нем суть развитого поэтическими наследниками Анненского взгляда на поэзию. Противоречие, как и подобает антиномии, неразрешимое. В явлениях искусства — плодотворно неразрешимое.

Едва ли не все стихи Анненского можно определить как «царскосельские», проникнутые духом царскосельской культуры. И в то же время совсем небольшое их число содержит указание на конкретную топографическую к Царскому Селу привязку. Эрих Голлербах, бродивший некогда по его паркам и улицам в те же дни, что и Анненский, писал в 1927 году: «В стихах этих редко встречаются конкретные признаки царскосельского пейзажа или быта, но нечто „царскосельское“ разлито в большинстве произведений Анненского. Эту его особенность можно понять и почувствовать только подолгу живя в Царском, подолгу дыша воздухом этого города, пропитанного „тонким ядом воспоминанья“»***.

«Анненский больше всего Анненский там, где его страдающий человек страдает в прекрасном мире, овладеть которым он не в состоянии», — написала Лидия Гинзбург****. Поэтому «невозможность» — самое притягательное для Анненского слово, им же и обозначенное как своего рода кредо:

Я люблю всё, чему в этом мире
Ни созвучья, ни отзвука нет.

(«Я люблю», 1906)

Не оказалось и цели. Пренебрежение Царским Селом в поздние годы жизни, прямые инвективы на сей счёт — поразительная и важная деталь биографии Ахматовой, приватной восприемницы музыки Анненского. В Царском Селе для неё сошлись «все недостатки близкой столицы и никаких

* Анненский И. Книги отражений / изд. подг. Н. Т. Ашимбаева, И. И. Подольская, А. В. Федоров. М., 1979. С. 329.

** Анненский И. Пушкин и Царское Село // Иннокентий Анненский. Книги отражений. С. 308.

*** Голлербах Э. Ф. Из загадок прошлого: Иннокентий Анненский в Царском Селе // Голлербах Э. Ф. Встречи и впечатления / сост., подг. текстов и коммент. Е. Голлербаха. СПб., 1998. С. 132.

**** Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1999. С. 297.



достоинств»*. Как будто бы не ею говорилось: «Подумайте — этот город был самым чистым во всей России, его так берегли, так заботились о нем! Никогда ни единого сломанного забора нельзя было увидеть... Это был какой-то полу-Версаль...»**

То же и у Всеволода Рождественского: «Гимназия. Пруды. Родной Версаль» («Царскосельский сонет»). Но и — в те же годы — «Зарастает ромашкою мой городок, / Прогоняют по улице стадо. / На бегущий в сирень паровозный свисток / У прудов отвечает дриада» («Если не пил ты в детстве студеной воды...»).

В этих взаимоисключающих суждениях и впечатлениях — вся соль, наглядная «целесообразность без цели» искусства в целом, если воспользоваться суждением Иммануила Канта о красоте. Истинная тема большого художника — та, что несет в себе и свое опровержение. Сомнительное «для себя» может категорически отстаиваться перед лицом «другого». И именно гипертрофированным «чувством места» вызвана наиболее рискованная из антиномий царскосельской лирики, противопоставление в ней «гения места» — «гению свободы». Жёстче всего эта оппозиция явлена в ахматовском стихотворении «Петроград, 1919», где поэт, «город свой любя», ради «крылатой свободы» его не покидает.

Но и «крылатая свобода» — не рай. Оставивший отечество Дмитрий Мережковский уподобил её в «Царскосельском барельефе» трагедии Орфея, потерявшего Эвридику.

Ни правотой гордиться, ни каяться здесь не приходится никому. Или же: если гордиться, так и каяться. По евангельской заповеди, равно «блаженны» и «нищие духом», и «изгнанные за правду». Не зря Николай Недоброво ещё в первой ахматовской книге различил евангельский мотив: «Иже аще възыщет душу свою спасти, погубит ю: и иже аще погубит ю, живит ю» (Лк. 17: 33)***.

5

Тут к месту сказать об одной характерной особенности облика Царского Села, запечатлённого в художественных творениях, о его образе, данном поэтической традицией.

Всё написанное о Царском Селе в XVIII–XIX веках — с православной колокольни бессодержательно, идет мимо традиционного русского духовного опыта. Оно в первую очередь не трагично, не касается больных проблем нашего сознания.

Оставим в стороне «подносные оды» стихотворцев XVIII века — цель их скорее прагматическая, чем поэтическая, как, например, у Василия Рубана в «Стихах Его сиятельству графу Петру Алексеевичу Румянцеву, на воздвижение в честь побед его Обелиска перед Императорским домом в Царском селе» и проч. Василий Капнист в сердцах увещевал Рубана «рылом не мутить Кастальских чистых вод» — тщетно. Дело тут было не в Рубане и не в Царском Селе, а в общем характере одической поэзии XVIII века. Лидия Гинзбург в этой связи (и в связи с Рубаном) пишет: «В деятельности писателей-наемников XVIII в. на некой „внешней“ ступени стояли темы столь официальные, что в их пределах и воспеваемый и воспевающий теряли личные признаки, превращаясь в абстракцию монарха, вельможи, полководца,

* Срезневская В. С. Дафнис и Хлоя // Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 6.

** Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой: Т. 1: 1924–1925 гг. Paris, 1991. С. 111.

*** Недоброво Н. Анна Ахматова // Русская мысль. 1915. № 7. С. 65 (2-я pag.). В современном изложении: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; а кто погубит её, тот оживит её».

как и в абстракцию пиита. Абстракции и стали по преимуществу достоянием печати и потомства»*.

В XIX веке младшие современники Пушкина сделали эти абстракции чуть более лиричными за счёт добавления в пантеон «воспеваемых» имени поэта, сопрягая его имя с Царским Селом столь же простодушно, как и их деды:

Взгляни — вот он, чертог Фелицы,
Вот Пантеон: Армидин сад,
Где прежде звуками цевницы
Наш Пушкин тешил ореад.

(Семен Стромиллов. «Царское Село», 1837)

Если пейзаж старого русского города — будь то Петербург, Москва, Ярославль или Тверь — невозможен без доминирующих силуэтов церквей и соборов, то доминанта Царского — дворцы и парки без храмов. И не то чтобы этих храмов не было или они оказались невзрачны. Добротные храмы были — любых христианских конфессий. Упоминалось же о них безоглядно и беспредметно, по долгу и восторгу верноподданной службы, как у родоначальника подобных од Ломоносова, употреблявшего слово «храм», судя по контексту одной из его царскосельских од, в древнерусском значении — «хоромы»:

Великолепными верьхами
Восходят храмы к небесам;
Из них пресветлыми очами
Елисавет сияет к нам...

(«Ода <...> августа 27 дня 1750 года»)

Но вот что через полтора столетия после Ломоносова написал Николай Недоброво, начавший и закончивший стихотворение «Царское Село» (1905–1907) приговором:

Чужды преданьям и народу
дворцы и церкви рококо,
и сад, печальную природу
преобразивший далеко...
.....
Не видно нив и слёз отсюда,
и мысль, возникнувшая здесь,
туманится над жизнью люда,
бессилия и яда смесь.

Чуть выше утверждалось: о храмах «никто ни слова». И тут же — строфа с «церквями рококо». Когда «церкви рококо» объявляются «чуждыми» христианскому преданию, тем более — народному духу, подобное упоминание — хуже неупоминания.

Согласиться с Недоброво можно лишь в том смысле, что культурная ипостась Царского Села в сознании художников, о нём писавших, была заметным образом секуляризована.

* Гинзбург Л. Я. Неизданные стихотворения Рубана // XVIII век / под ред. А. С. Орлова. М.; Л., 1935. [Сб. 1]. С. 412.



Разве что Николай Ключев спохватился, да поздно, никто его «Песнь о Великой Матери» (1930–1931) не услышал и панегирика Феодоровскому собору не прочитал:

Феодоровский собор —
Кувшинка со дна Светлояра,
Ярославны плакучий взор
В путивальские вьюги да хмары...

Развспоминались о храмах преимущественно в эмиграции (Сергей Горный, Дм. Кленовский, Алексей Угрюмов), когда от них остались развалины да склады вторсырья. Одна Ахматова изначально видела в этой царской резиденции «ворон на соборных крестах» (впрочем, не пушкинские ли это «стаи галок на крестах» из «Евгения Онегина?»), снег, «возложенный» на землю, как саван, и единственная слышала торжественный гул колоколов. По душевной склонности её мироощущение не просто христианское, оно — православное, «пасхальное», а не «рождественское» (таинство Христовой Смерти и Воскресения владевает в «восточном» христианстве, в «западном» же — таинство Рождения Христа).

Однако мироощущение — мироощущением, поэзия же — поэзией. Православные не перевелись ни в Детском Селе, ни в городе Пушкине. Сомнение в другом: мало кто из них избран музами. Во всяком случае, настоящие стихи с православным запалом по-прежнему редкость. В постсоветское время разве что олеографий прибавилось. Истинному поэту трудно, если вообще возможно, быть добрым христианином: его номинальная речь противится догматам христианского реализма, не разбирающего, как на «ещё живую грудь» может падать вместо молитвенного «каменное слово». И то, что одни принимают за «любовь», на самом деле оказывается «приговором», как в ахматовском стихотворении «И упало каменное слово...» (1939), из которого взяты примеры.

Нужна была нешуточная драма, настоящий прорыв в хаос, самосожжение царскосельской культуры, чтобы на выжженном месте выросли некие неокультуренные травы, вроде ахматовских лопухов и крапивы. Это её пристрастие — не поэтический каприз пресытившегося царскосёла, а отчётливая правда новой поэзии.

Ахматова воспела не Царское как таковое, а колыбель свободного самозарождающегося творчества среди плодоносного запустения в излучине двух веков:

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века,
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Я лопухи любила и крапиву...

(«Ива», 1940)

Вот куда переместился дух поэзии, вот где находился *genius loci* Царского Села начала XX века. Нет более значащей, воистину символической подробности царскосельской жизни, чем исчезновение из лицейского сада священного памятника пушкинских соучеников с надписью «*Genio loci*». Никакого по отношению к нему вандализма проявлено не было, его тихо увезли в Петербург, а потом забыли, для царскосёлов он затерялся, исчез, сровнялся с землей. И вырос из него лопух...

Для Ахматовой пушкинский колорит в Царском — это пейзаж с «ветхим пуком дерев». Строчки хоть и пушкинские, а в современном языковом контексте звучат у «одиноким музы» воистину «жалко».

Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец, —

отчеканила она о Царском ещё в 1910 году («Первое возвращение»).

Дух творчества дышит где хочет, и ахматовскую, совершенно исключительную для царскосельской поэзии символику предугадала Марина Цветаева — задолго до процитированного стихотворения 1940 года «Ива», задолго до знаменитого «Когда б вы знали, из какого сора...». В посвящённом Ахматовой цикле 1916 года у Цветаевой есть и такие удивительные строки:

Давно бездействует метла,
И никнут льстиво
Над Музой Царского Села
Кресты крапивы.

Разумеется, «чужое», превращённое в «интимное», у Ахматовой скорее найдёшь почерпнутым не из цветаевского цикла, а из написанного в том же году «Детства» Николая Гумилёва. Как всегда, Ахматову привлекает в стихах не выраженное прямо, намёк, тайнопись для посвящённых. Её дешифрует ещё один персонаж из гумилёвского круга, Николай Оцуп: «Царскосёлы вряд ли ошибутся, узнавая в этих строчках знакомые места, например по дороге на станцию Александровскую...»^{*} Вот часть этих гумилёвских строчек:

Я ребёнком любил большие,
Мёдом пахнувшие луга,
Перелески, травы сухие
И меж трав бычачьи рога.
.....
Только дикий ветер осенний,
Прошумев, прекращал игру.
Сердце билось ещё блаженной,
И я верил, что я умру
Не один — с моими друзьями,
С мать-и-мачехой, с лопухом,
И за дальними небесами
Догадаюсь вдруг обо всём.

У нас нет уверенности, что этот пейзаж именно царскосельский: в представлении ребенка «мёдом пахнувшие луга» и «перелески» по дороге на Александровскую могли, конечно, существовать, но в не меньшей степени относиться и к Поповке, куда семья Гумилёвых уезжала на лето... Мать-и-мачехи с лопухами там было побольше, чем в Александровском парке... Скорее «бычачьих рогов» ребенок на пути через парк в Александровскую приметил бы слона, завезенного сюда в 1891 году, иногда свободно гулявшего и даже купавшегося в Ламских прудах. (Забавно предположить: слон-то не «интертекстуальный» ли? не он ли пробудил в отроче тягу к Африке и определил его поэтическую судьбу?) Но Ахматова в «Иве» сблизила этот пейзаж, эти травы и лопухи со своим детством, с конкретным Царским Селом (у Гумилёва не названным), сохранив и его пантеистический мотив, и небеса («...Под нашими, под теми небесами»), и тему смерти («И я молчу... Как будто умер брат»).

Так в новой царскосельской эстетике интимизируется грозная равноправность смерти и жизни, заданная финалом стихотворения Гумилёва:

^{*} Оцуп Н. А. Современники. Нью-Йорк, 1986. С. 172.



...людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.

6

Существенная тонкость: кризисный итог царскосельской поэзии XIX века есть свидетельство и отражение кризиса культуры, а не нарастания хаоса бескультурия. Это был декаданс. Но преодолевался он и — что особенно существенно — был преодолен на культурных путях ещё до революции и без революции. Скажу уж совсем парадоксально: это был имперский декаданс, преодоленный, как у Анненского, декадансом частного существования.

В первые годы минувшего столетия метла и в самом деле бездействовала в Царском. Анненский в этом запустении нашел нечто чудотворное. Вот он смотрит на статую Мира («Трилистник в парке», 1906):

Но дева красотой по-прежнему горда,
И трав вокруг неё не косят никогда.

Травы травами, но:

Люблю обиду в ней, её ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.

«Её ужасный нос» свидетельствует здесь не о сомнительной форме, а о том несомненном факте, что его просто-напросто изувечили и не смогли как следует реставрировать.

Из стихов Анненского исчезают царскосельские дворцы, и в парках он видит не зеркальную гладь озёр, а илистое дно пруда. И вот его картинка летнего полдня: «Весёлый день горит... Но сад и пуст и глух» («Маки»). Царское Село для него «маскарад печалей», как он выразился в «Балладе» 1909 года. В этой «балладе», как и в будущей ахматовской «оде», сквозит далеко не имперская реальность:

На шоссе перед запряжкой парной
Фонари, мигая, закоптили.

.....

«Во блаженном...» И качнулись клячи:
Маскарад печалей их измаял...
Жёлтый пёс у разоренной дачи
Бил хвостом по ельнику и лаял...

Тот же бледный матовый свет фонарей осветит в 1961 году «Царскосельскую оду» Ахматовой и так же не преодолеет мрака ночи...

«Но, действительно, для меня нет большего удовольствия, как увидеть иллюзорность вчерашнего верования...», — написал Анненский в октябре 1906 года. И тут же эту иллюзорность обозначил: «Раззолочённые, но чахлые сады...» («Сентябрь»).

Под пером Анненского Царское Село превращается из «обители муз» в лермонтовский «скверный городишко». Он первый заколачивает гвоздь в царскосельские ворота: «А сад заглох... и дверь туда забита...» («Черный силуэт»).

В этой подробности — довлеющий себе изыск, огрубляющая тонкость: *царскосельские сады Иннокентия Анненского не отличишь от палисадни-*

* Анненский И. Письма: в 2 т. / сост. и коммент. А. И. Червякова. Т. II: 1906–1909. СПб., 2009. С. 48.

ков. Так в этой строчке, так в цитированных выше «Маках», так в большинстве его пейзажных описаний.

Само отношение к слову поэтов пушкинской поры Анненскому начинает казаться несколько «бутафорским». И не о каком-нибудь второстепенном авторе у него идёт речь, нет: «Право, кажется, что Пушкин иногда *не видел* того, что хотели покрыть его слова...»*

Но Анненский же не хочет и отречься от «вчерашнего верования» навсегда. Как только он осознаёт правоту, воочию видит иллюзорность царскосельской мечты, тут-то он и принимает её и мучает себя ею. Он знает, что утрачено:

...Там были розы, были розы,
Пускай в поток их унесло.

И, обращаясь к царскосельской писательнице, завершает ещё проникновеннее:

Скажите: «Царское Село» —
И улыбнёмся мы сквозь слезы, —
(«А. И. Микulich», 1906)**

В Царском для Анненского «всё, что навсегда ушло», и вот именно среди этого всего ушедшего особенно мучительно и сладостно ему было творить. То, что «навсегда ушло», всё же существовало, оно осталось, «чтоб навевать сиреням грёзы», как ощущает сам поэт. Имперские розы унесло, но их сменила сирень, заполонившая палисадники отделённых от дворцовой части города особнячков. В таких особнячках — то за Московскими воротами у Колонистского пруда, то в Софии — после ухода с поста директора Царскосельской Николаевской гимназии — жил поэт. Именно эта эфемерно яркая (сирень цветёт всего две-три недели в году) красота сирени, красота, из-за её мимолетности воспринимаемая особенно жадно, становится эмблематичной как для Анненского, так и для наследующих ему под «сиреневой ночью» поэтов. В лице Всеволода Рождественского они утверждают: «Не пряный осенний воздух позднего символизма питал мои лёгкие, а... буйное цветение дачной сирени»***. «В густой сирени царскосельских дач» видит этот поэт читающих английские романы барышень («Царскосельский сонет»), и у него же «на страницу первый стих» «летит, как царскосельская сирень» («Пьянее памяти о первом снеге...»). Вторит ему Дмитрий Кленовский, в Германии грезящий наяву о том, как царскосельская сирень «слетает песней на страницу» («Царскосельский сон») ... У него же найдём важное для поздней, «постанненской» поэтической рефлексии определение Царского Села как города «густой сирени и пустых дворцов» («Царскосельские стихи»). Отсюда и у современного поэта, Елены Ушаковой, «заплата сиреневая» — «знак, узорчик, печать» («Интертекст»). Цвет для Царского Села — «символический», но не «символистский». Живопись начала XX века — у Врубеля, художников «Мира искусства» и других — тоже полнится сиренью. Здесь Анненский совпадает с общим развитием модер-

* Существенно, что это мнение высказано в письме М. А. Волошину, поэту и художнику (Там же. С. 489).

** Анненский контаминирует имя и отчество Лидии Ивановны Веселитской (1857–1936) и её псевдоним В. Микulich.

*** *Рождественский Вс.* Город моего детства / сост. и коммент. А. Г. Груздевой. СПб., 2012. С. 43.



нистской живописи и искусства в целом, хотя далеко не адекватен им, ибо «дремотен» подобно Тютчеву и Вяземскому в их царскосельских стихах*:

В гроздьях розово-лиловых
Безуханная сирень
В этот душно-мягкий день
Неподвижна, как в оковах.

(«Дремотность», <1909>)

Поэзия Анненского вбирает в себя пестроту сегодняшнего дня, но и мучительно насыщена иллюзиями дня вчерашнего. Причины она устраняет, следствия же — оставляет. Человек в ней расположен «между ничем и всем», он лишь «вероятен», а потому — воистину Никто. В этом эстетически вымученном, кивающем на гомеровского пожирателя приключений псевдониме Анненского (Ник. Т-о) хороша не аллюзия, хороша провозглашённая анонимность. Подразумеваемого лирического героя поэта не узришь, а он свободен и «один на всех путях». Пути эти не легки. На них, полагает его высокопросвещённый оппонент, душа погружается в «подполье», «любовь» оборачивается «тоской», и несомненная творческая победа знаменует «приход в мир юродивого лирика»**.

Внутри «присутствия — отсутствия», «сегодня — вчера», «живого — неживого» для поэта пролегает заветная черта. Этому прежде всего и учит опыт Анненского с его колебаниями между «сбывшимся» и «несбывшимся», с его перманентным уязвлением и уязвлённостью царскосельским парадизом. О «зыбкости границы между мёртвым камнем — живым камнем — ожившим камнем и далее — между статуей и человеком», «в общих чертах», но убедительно, написала Т. В. Цивьян. У Анненского «это „смешение“ выражено в... стихотворении, где обломок камня если не мыслящий тростник, знающий о своей смерти, то, во всяком случае, чувствующее существо (а не только вещество — но и вещество тоже!), умеющее помнить, печалиться и томиться — в финале он, как *deus ex machina*, оказывается частью скульптуры, изваянной в этом камне». Речь, понятно, о «Трилистнике в парке», о первом его стихотворении «Я на дне, я печальный обломок...» В венчающей этот «трилистник» «Расе» «зыбкость» подчёркнута невозможностью определить, когда поэт обращается к статуе, а когда к женщине из плоти и крови. Дева белая — эпитет, указывающий у Анненского на мраморность. Но она белеет своей наготой, что уже относимо к живой деве. Она статуйна, её неподвижность подчёркивается — но это статуарность, возникшая через миг после движения, как бы остановка: отбросила тирс и тимпан, небрежно завязала волосы, сжала ноги, «обиделась», замерла. <...> Да и само равнодушие к обидам и годам есть выражение чувств, симметричное тоске печального обломка и Андромеды***.

Также и Ахматова оберегает в стихах тайну не названных по имени царскосельских современников, укрывает их от любопытствующего взгляда, превращает в живую тень. Силуэты, резче, чем у Анненского, очерченные в её строфах, принципиально лишаются конкретных черт. Но каждый из неназванных узнал бы в строчках сокровенную деталь, лирически близкий герою и героине пейзаж...

* См. об этом: Савельева Г. Т. Два мифа о Царском Селе. С. 147–148.

** Иванов В. И. О поэзии Иннокентия Анненского // Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 176–178.

*** Tšivjan T. [Цивьян Т. В.]. Живой камень: Царскосельские мраморы у Анненского // Toronto Slavic Quarterly. 2014. № 47. С. 215–216.

Герой Анненского живёт в мире призрачном. Ему кажется, что и сама действительность бесплотна, она лишь подмигивает и кокетничает с безымянными персонажами, имитируя жизнь. Сам поэт, разумеется, не из числа марионеток. Но этот «утомлённый наблюдатель» только и делает, что примеряет самые дешёвые маски, с отвращением взирая вокруг. «„Забвенность“ Царскосельских парков точно немножко кокетничает, — пишет он летом 1905 года своей постоянной confidentке А. В. Бородиной, — даже в тихий вечер, с своим утомленным наблюдателем. Царское теперь просто — пустыня, и в тех местах, где можно бы было, кажется, ожидать особого движения, напр<имер>, у памятника Пушкина, царит какая-то жуткая тишина; редкие прохожие, чахлые белобрысые детишки — всё это точно боится говорить даже»*.

«Забвенность», обречённую отчуждённость культуры от бытия, бытия от культуры — вот что дарит Анненскому царскосельская традиция и вот что он от неё принимает.

...Минувшее не веет лёгкой тенью,
А под землёй, как труп, лежит оно, —

эти строчки Тютчева из стихотворения «Есть и в моём страдальческом застое...» (1865) предвещают поэзию XX века в большей степени, чем его собственно царскосельские стихи. «И стало как-то явно, — писал Голлербах в «Городе муз», — что в Царском прекрасно не царское, а что-то иное, прикрытое мундирным покровом»** — вицмундиром действительного статского советника Анненского.

Выражалось «иное» через «маскарад печалей». Его непременным участником и мастером стал Всеволод Рождественский. Стихи этого поэта, отсылая к «вчерашним верованиям», тут же свидетельствовали об их распаде. Вот он, прошедший строгую цеховую выучку соглядатай с обожжённой памятью, в «усталую метель» набредает в царскосельском парке на Афродиту в распахнутых «снежных мехах»:

И мраморная грудь богини
Приподнималась горячо,
Но пчелы северной пустыни
Кололи девичье плечо.

А песни пьяного Борея,
Взмывая, падали опять,
Ни пощадить её не смея,
Ни сразу сердце разорвать.

(«Бросая к небу колкий иней...», 1916)

Современный поэт идет и ещё дальше, узрев и олицетворив «иное» в наипростейшем. «Ветвь на фоне дворца» Александр Кушнер в стихотворении с царскосельским пейзажем предпочитает самому дворцу: «...Но зимой не уроним достоинство тихое наше / И продрогшую честь». Сюжет стихотворения раскрывается в том, что первенствует в изображении не пышное императорское барокко, а наделенная экзистенциальными качествами безымянная ветвь. И это тоже — претворенное наследие Анненского, обрученного с «подругой осенью», то есть осязающего тайну бытия через распад:

* Анненский И. Письма. Т. I. 1979–1905 / сост. и коммент. А. И. Червякова. СПб., 2007. С. 416.

** Голлербах Э. Город муз. С. 99.



Ты опять со мной, подруга осень,
Но сквозь сеть нагих твоих ветвей
Никогда бледней не стыла просинь,
И снегов не помню я мертвей.

(<1909>)

7

Анненский поставил кардинальный для искусства начала прошлого века — и всего дальнейшего его, искусства, развития — вопрос:

А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...
(«О нет, не стан, пусть он так нежно зыбок...», 1906)

Анненский стал послушником анонимной жизни — с ее «грязью и низостью». Может быть, это и есть его главный культурный подвиг, подвиг во имя культуры. Этот подвиг не был принят его учеником Гумилёвым, ненавидевшим царскосельского обывателя и во сне, и наяву. Вот что записывает Ахматова 6 ноября 1962 года: «...только говоря об Анненск<ом>, Г<умилёв>, уже поэт-акмеист, осмелился произнести имя своего города, кот<орый> казался ему прозаичным и будничным для стихов»*. Мнение выношенное. В мае 1963 года Ахматова выражается ещё резче: Царское Село было для Гумилёва «унылой низменной прозой»**.

Гумилёв не уловил, что из крупиц этой прозы вернее всего сложится новая поэтика.

Анненский и Гумилёв невосстановимо разорвали на две половины лирическое и житейское сознание Ахматовой. Как лирик она готова была следовать за Анненским, но как личность — за Гумилёвым. Эта антиномичность выражена и в «Царскосельской оде», где автор принимает грубый, низовой мир Царского Села, но оды... оды сложить ему так и не удаётся. Именно в городе Пушкина очень трудно провинциальность, теплоту и тесноту быта, точнее говоря, теплоту и тесноту самой жизни признать культуuroобразующим принципом, необходимой предпосылкой новой культуры, её закваской.

Оппозиция между художником, преобразившим старую и создавшим новую царскосельскую лирику, и художником, отринувшим саму мысль о какой-то там «царскосельской проблеме» в литературе, блестяще выражена Георгием Ивановым в стихотворении 1954 года:

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилёв.

Георгий Иванов в Царском Селе никогда не жил. Но едва ли слишком погрешил против истины посмеивающийся эмигрантский обозреватель, увидев в авторе «Вереска» и «Садов» поэта, «с изысканной простотой игра-

* Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). С. 219.

** Там же. С. 365.

ющего на своей царскосельской свирели»*. Напомним: свирель — «флейта двуствольная».

Для Гумилёва на Анненском всё в царскосельской лирике и закончилось, закончилось к тому же привычной царскосельской банальностью, пускай и «Памяти Анненского» (1911):

...Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.

Гумилёв оказался в плену у ископаемой царскосельской мифологии. Но от прямого претворения её в стихи уклонился. Царскосельскую тему он исчерпал, не успев раскрыть в ней ничего специфически гумилёвского. Он поворачивает вспять, к дворцам и паркам, к «мрамору плит», завершая лирические поминки тоскливой нотой:

...И жалок голос одинокой музы,
Последней — Царского Села.

«Последняя» муза Царского Села оказалась действительно «одиноким». Ею была муза Ахматовой, сменившая музу Анненского. С Анной Андреевной Гумилёв в момент написания стихотворения был уже более года как обвенчан. Но реагировал на её дар неотчётливо. Признание пришло позже, и в 1916 году, помещая «Памяти Анненского» в сборник «Колчан», Гумилёв исключает из окончательной редакции последнюю строфу с прямым указанием на Анненского: «То муза отошедшего поэта...». Без неё он даёт возможность понимать последние строки как обращение к часто оставляемой им в Царском жене: «Колчан» издан в 1916 году, в дни войны, на которую поэт ушёл добровольцем.

Вспомнив «нежданные и певучие бредни» Анненского, Гумилёв по-фактум делает открытие: есть ещё один «последний лебедь» — Ахматова. Словом «последний» он парадоксально и навсегда соединяет имя учителя и имя жены. В конце концов, у него выплывают сразу два «последних поэта» Царского Села с сомнительной родословной от третьего и старшего «последнего лебедя» — Жуковского.

«Царскосельство» Гумилёва заметно лишь в пристрастии к «мрамору», оно консервативно: традицию он принимает как облагораживающий завет. Императорские «китайские затеи», пленив, пробудили в его душе чистый звон «колокольчика фарфорового». Восточные сны поэта, никогда в Китае не бывавшего, имеют царскосельский прообраз:

И вот мне приснилось, что сердце моё не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае
На пагоде пёстрой... Висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

(«Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец...», 1911)

Из заглохшего парадиза Гумилёв уносил себя в XVIII век на приёмы к императрицам.

В благородной преданности символам былой славы отечества, а не конкретным обитателям Александровского дворца — превосходство Гумилёва над Сергеем Городецким, Николаем Клюевым и Сергеем Есениным, зачастившими в дни мировой войны к царскосельскому двору Александры Фе-

* Хроника литературы и искусства: Цех поэтов // Звено. Париж, 1923. № 43. 26 нояб. С. 3.



доровны. За высочайшее покровительство, за освобождение от фронта, за золотые перья (буквально; увы, золотым пером золотых стихов не пишут) все трое и отплатили, как водится в подобных случаях среди поэтов, чёрной неблагодарностью:

Это я плясал перед царским троном
В крылатой поддёвке и злых сапогах.
Это я зловещей совою
Влетел в Романовский дом...*

Это Клюев, из поэмы «Четвёртый Рим» (1922). По слухам, его в Царском Селе прочили «на место Распутина». Есенин, тот проще: свой подносной лист царской семье — с уверением, выписанным славянской вязью: «Приветствует мой стих молодых царевен...» — стёр и из памяти, и из собственных сочинений, да и был таков**. О Городецком и говорить не приходится: его перелицовка «Жизни за царя» в «Ивана Сусанина» слишком известна. К таким итогам приводила в Царском Селе «русификация» сверху. Гумилёв в годы войны, контуженный, оказавшись в Царскосельском лазарете, где сёстрами милосердия служили великие княжны, написал от имени раненых ко дню рождения одной из них, Анастасии, стихотворение, подписавшись: «Прапорщик Н. Гумилёв». То есть не «поэт», а верный присяге прапорщик. Тем более при большевиках не усомнился вписать в альбом царскосельской знакомой 12 июля 1919 года:

Не Царское Село, к несчастью,
А Детское Село — ей-ей!
Что ж лучше: жить царей под властью
Иль быть забавой злых детей?

На фоне увядающей царской резиденции гумилёвский мирискуснический карнавал, его «бунт на борту» и золото «брабантских манжет» приятно забавляют, а в отрочестве — и восхищают. Самолюбиво опасаясь прослыть стилизатором, поэт переносит сюжеты стихов преимущественно в иные, не доступные взгляду современника экзотические области. Как результат этого захватывающего действия упрочился скорее миф о новой поэзии, чем сама новая поэзия. Гумилёв продолжал царскосельскую лирику совсем иными, чем Ахматова, средствами, в надежде — на удивление и зависть царскосельским обывателям — вернуться завоевателем чужих городов, пришельцем из царства мертвых. Он уверовал в отзыв Анненского о его «Романтических цветах»: «...поэзия живых... умерла давно»***.

Лишь перед смертью, в «Заблудившемся трамвае» (1919), его оглушает иное воспоминание:

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...

* Клюев Н. Четвёртый Рим. Пб., 1922. С. 19.

** Стихотворение до 1960 г. нигде не печаталось. Прочитано и преподнесено Есениным великим княжнам Марии и Анастасии на концерте в Трапезной палате Русского (Федоровского) городка в присутствии императрицы, которой подарен сборник «Радуница» с надписью: «Ея Императорскому Величеству Богохранимой царице-матушке Александре Федоровне от баяшника соломенных суетов словомолитвенного раба рязанца Сергея Есенина» (цит. по: Юсов Н. Г. «С добротой и щедротами духа...»: дарственные надписи Сергея Есенина. Челябинск, 1996. С. 91). Произошло это 22 июля (4 авг. н. ст.) 1916 г., в день евангельской Марии Магдалины, равноапостольной мироносицы, соответственно и в день тезоименитства вел. княжны Марии.

*** И. А. <И. Анненский>. О романтических цветах // Речь. 1908. № 308. 15 янв.

Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

В новой царскосельской поэзии «забор дощатый» оказался прочнее «мрамора плит».

Из этого, само собой, не следует, что в Царское Село нужно ездить в поисках «лопухов и крапивы». У Иннокентия Анненского, не запечатлевшего напрямую в стихах саму по себе красоту императорской резиденции, любимым местом прогулок был всё-таки Екатерининский парк. Его фигура на скамье неподалёку от Китайской (Скрипучей) беседки стала чуть ли не местной достопримечательностью. И до сих пор дворцово-парковый ансамбль города Пушкина удовлетворит любые культурные прихоти и запросы*. Но речь у нас идёт о поэзии, о питающих её ключах.

8

В стихотворении «Учитель» (1945), посвящённом памяти Анненского, Ахматова сказала о его пути:

Как тень прошёл и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил...

Призрак отравленного царскосельскими ядами поэта встает у Ахматовой в человеческий рост и обрывает соблазнительную для всех пишущих о Царском Селе умиротворённую ноту. «Настоящая ода», не начавшись, захлопывается у неё в «роковой шкатулке», в «кипарисовом ларце», сниженном до просторечного «кипарисного ларца». Мало того: в «Царскосельской оде» Ахматова утверждала, по её собственным словам, «дерзкое свержение „царскосельских“ традиций от Ломоносова до Анненского...»**. Не совсем ясно, свергается ли тут и сам Анненский, или то, что создавалось до него. Во всяком случае, «Царскосельская ода» не появилась бы, не помни она «Снег» Анненского, его размер, его мотив: «Полюбил бы я зиму, / Да обуза тяжка...»

Нельзя забывать и того, что и Ахматова жила в мире антиномий, сама пыталась иногда уверить себя и других, что «лицейские гимны всё так же заздравно звучат» («Городу Пушкина»). Нечувствительным для самого поэта образом здравицы эти приводили независимого сочинителя в ряды энтузиастов хорового пения:

...Царскосельский воздух
Был создан, чтобы песни повторять.

(«Царскосельские строки», 1921)

В том-то и суть, что — повторять, а не творить новые. Воздух Пушкина был уже утрачен, «выпит», воспеть Царское Село на старинный лад больше не удаётся никому — сколько ни пиши о «пылком юноше в лицейском сюртуке», благословляющем «с мечтательной улыбкой» следующее за ним племя поэтов в лице Тютчева, как это представлялось в туманном далеке Алексею Угрюмову: «Здесь в сердце старика вскипает юный пыл, / Рождая

* Пока Кондакопшинское болото не осушили и тем самым не уничтожили речку Кузьминку, наполняющую пруды и каналы парков. Именно этой идеей вдохновляются предполагаемые строители города Южный в окрестностях Пушкина. 11 июня 2015 г. Законодательным собранием С.-Петербурга Кондакопшинское болото признано подлежащим застройке, т. е. несуществующим.

** Записные книжки Анны Ахматовой. С. 297.



мудрые и пламенные песни...» («Ф. И. Тютчев»). Перевезённый в Царское Село за два месяца до кончины безнадежно больным, Тютчев уже не вставал и никаких «пламенных песен» сочинить был не в состоянии. «Ах, какая мука, когда не можешь найти слова, чтобы передать мысль», — чуть ли не последнее его речение, а последнее: «Я исчезаю, исчезаю!»

Угрюмовский «Ф. И. Тютчев» в своем безмятежно-ностальгическом визионерстве зашкаливает даже в сравнении с ординарными советскими виршами. И его пример никак не единичен. Стилизаций подобного толка не счесть. Дело, разумеется, приятное, может быть, освобождающее от напряжения, от навалившейся тяжести бытия, особенно вдали от «отечества», как, например, у Виргинии-Вероники Поппер в изданном в Хельсинки сборнике «Царскосельский лицей» (1987): «Это было когда-то — в Царскосельском лицее. / Смуглый юноша Пушкин... Деятнадцатый век... / Подружился он с Музой здесь в студенческой келье, / с легкокрылой “резвушка” подружился навек». Очень мило, конечно, когда у автора и в семьдесят лет настроение благоухающе северянинское. Неясно только, зачем всё это печатать.

Взять хотя бы обширную антологию «Царское Село в поэзии» (СПб., 1999). Стихи за 250 лет, начиная с Ломоносова. Завершается она лирикой двадцатипятилетней Линды Йонненберг из славного рода Горчаковых. Но что проку от её молодости, если она исповедует всё ту же эстетику «сказочно-сонных аллей», «глади озёрной» да «глади души», что лишь слегка «рябится»... В «воздушно-сладком лепете парок» мнится ей царскосельская «гармония веков и снов»... Нет этой гармонии — полтора века прошло, как не стало.

Если сравнить в своей массе стихи о Царском Селе других, более опытных, мастеров XX века, легко различишь в них всё тот же меланхолический наигрыш: «А посреди пруда с большой колонны / Орёл чугунный, крылья распластав, / Летел — напоминание о славе...» (Георгий Раевский); «Выхожу на межу / Царскосельских аллей — / Елисейских полей...» (Мария Вега); «Старинный парк в снегу, спит Царское Село, / И снова бродит тень тропой заповедной...» (Виссарион Саянов); «...И вечных струй напев однообразный / Звенит, как в незапамятные дни...» (Татьяна Гнедич); «И кажется — из царскосельской урны / Прозрачная, хрустально-ключевая, / Течёт струя...» (Игорь Чиннов); «Не могу о тех я не заплакать, / Кто со мною в Пушкин не вернётся, / Из кувшина Девы не напьётся, / К Пушкину на бронзовой скамейке / Не придёт...» (Елена Рывина); «Белый лебедь проплывает / В царскосельской тишине...» (Лев Озеров) и т. п. Даже Анне Ахматовой, правда под самоцензурным нажимом, случалось настраиваться на мелодраматический тон: «О, горе мне! Они тебя сожгли...» («Городу Пушкина», 1957). Это о разрушенном в войну городе Пушкине. Хотя в первой редакции 1946 года, напечатанной в «Звезде», было по-ахматовски интимно и горько: «Мой городок игрушечный сожгли, / И в прошлое мне больше нет лазейки...»*

В «некалендарный» XX век, в неразборчивое время, вся эта квазикультурная аура «емвлем и символов» классицизма утрачивает актуальный подтекст, удушает живое чувство, делая предметом лирической рефлексии обветшалые образы, втиснутые в «пушкинские» размеры. И неважно, чем они окрашены — эмигрантским ностальгическим унынием тех, что «...вспять давнопрошедшие / Вернуть хотели бы года» (Николай Надежин), или штампованной бравурностью советских глашатаев типа Всеволода Азарова: «Вновь

* См.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 285–286.

звучат молодые слова / В старом сводчатом зале Лицея»... Просмотрев сотни строф в таком роде, рад будешь любому проблеску веселия, любому эпатажу, например стихам Евгения Винокурова «Статуя в парке» (1964?):

Там, где отбилось, подправят. И горделивая поза,
и гармоничные складки — всё это вранье...
Мне же милей эта бедная чёрная проза:
лужи. Деревья. И на суках воронье.

Для добровольных, а не мимолетных, узников царскосельских садов «горделивая поза», конечно, не вранье. Для них «нет в царскосельских садах / места случайным тонам!», как для Юрия Ореховацкого, одного из самых увлечённых адептов «пушкинской» гармонии, увы, процеженной сквозь сито «чистого искусства» времён Голенищева-Кутузова. Слаще «царскосельского плена» для них ничего в мире не сыщешь. Но их литературное анахоретство сейчас скорее причудливо, чем органично. Вместо пушкинских страстей — блаженный «взгляд и нечто».

По признанию Ахматовой, из всех строк Пушкина её больше всего поразила строка «...великолепный мрак чужого сада» из загадочного стихотворения «В начале жизни школу помню я...». По ней можно судить о том, что прекрасное поэт связывает с тайной и риском. Прекрасное — своего рода «рискованная тайна», а само творчество есть бескорыстное притязание на вещи, тебе заведомо не принадлежащие. Эта духовная активность — следствие горького отчуждения творца от безвозвратно утерянного, но родного ему содержания жизни. Об этом, видимо, дал знак Пушкин в своём «итальянском» стихотворении с зачином, вызванным лицейскими ассоциациями.

Достоинство царскосельской темы, царскосельского, можно сказать, мироощущения, имеет теперь иной, чем в пушкинские времена, источник. Царское Село ставит человека перед лицом смерти, испытывает его небытием. Смерть — постоянный соблазн, выход из тупика существования. В год смерти Блока и Гумилёва Анне Ахматовой в Царском «Каждая клумба в парке / Кажется свежей могилой». Хотя гибель обоих поэтов с этим местом не связана.

Даже тогда, когда поэта в заветную область влекут ностальгические чувства, знаки остаются:

...о! туда, туда,
По древней Подкапризовой дороге,
Где лебеди и мёртвая вода.

(«Одни глядятся в ласковые взоры...», 1936; курсив мой. — А. А.)

Выделенный эпитет указывает на тему смерти не только, а может быть, и не столько, своим прямым значением. Анатолий Найман пишет, что для Ахматовой «живая вода» — «знак и признак Царского Села», связывая эту символику с цитатой из Пушкина («сии живые воды»)*. Пушкинские реминисценции в лирике Ахматовой всегда знак повышения смысловой напряжённости текста. В паре с «мёртвой водой», также, как видим, ассоциирующейся у поэта с Царским Селом, «живая вода» уводит к фольклорному представлению о воскрешении мёртвых. «Мёртвая вода» в русских сказках заживляет смертельные раны, сращивает разъятые части тела убитого — не воскрешает его, но делает как бы не подверженным тлению. Если вспомнить, что стихотворение Ахматовой «Не бывать тебе в живых...», сложившееся

* Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1999. С. 237.



в вагоне царскосельского поезда и навеянное гибелью Гумилёва, содержит строчки о смертельных ранах героя — «Двадцать восемь штыковых, / Огнестрельных пять», — то упование Ахматовой на чудо и на «живую воду», как возвращающую человека с того света (после того как его окропят «мёртвой водой»), знак глубоко сакрального смысла всей ахматовской царскосельской символики. Добавим ещё, что фольклорная «живая вода» часто служит для исцеления слепоты, возвращения зрения. Это вода, так сказать, для художников...

В Царском Ахматова постоянно ощущает призрачность личного бытия. Здесь собственная жизнь ей не нужна, потому что здесь ей внятно лишь: «Все души милых на высоких звёздах». Это написано осенью 1921 года, когда «всё расхищено, предано, продано», и героиня надеется на одно — не с ней самой возможна в этих садах встреча, а с её тенью, на ней вина:

Из прошлого восставши, молчаливо
Ко мне навстречу тень моя идёт.

(«Царскосельские строки»)

По обобщению В. Н. Топорова, за подобными переживаниями кроется «новая форма „исторического“». О Царском Селе он говорит так: «На роковом пороге материя истончилась здесь до того, что всё стало казаться призрачным, но эта потеря „материальности“ компенсировалась всё большим обострением чувства и своего рода ясновидением духа»*.

Не песни Ахматова любит в этих садах «повторять», а слушать, как «тишина тишину сторожит»:

Там тень моя осталась и тоскует,
В той тёмно-синей комнате живёт,
Гостей из города до утра ждёт
И образок эмалевый целует.

(1917)

«...Ты одна стережёшь эту тишину», — пишет ей Пунин 20 апреля 1924 года**. И сравнивает её с самой меланхоличной из обитательниц царскосельских парков: «...она сидит, как девушка с кувшином в Царскосельском парке»***.

«Неужели вправду на неё может действовать так Царское Село со всеми воспоминаниями, с ним связанными?» — задаётся вопросом Павел Лукницкий****. Вправду. Из всей царскосельской лирики больше всего пристало духу её поэзии пушкинское:

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшей головой.

Только в этой лирико-покаянной ипостаси пушкинская традиция явлена у Ахматовой нередуцированно. Даже больше того — подхвачена и развита, закрепившись в её подсознании. «...Половина моих снов происходит

* Топоров В. Н. Петербургские тексты и петербургские мифы // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. С. 377.

** Пунин Н. Н. Мир светел любовью... С. 211.

*** Там же. С. 164.

**** Лукницкий П. Н. Асумiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. С. 109.

там»*, — говорит Ахматова о доме Шухардиной в Царском, где прошло её детство. И в иных местах ей всё кажется похожим «на аллею у царскосельского пруда» («Приморский сонет»).

В венчающей у Ахматовой царскосельскую тему «Царскосельской оде», личностный, биографический план выражен намного сильнее, чем это пристало высокому жанру. С роскошной непринуждённостью автор, называя Царское Село «городом парков и зал», взор от них тут же отвращает и описывает пространство вокруг... кабака! Царскосельский мир просматривается в стихотворении как раз из его окон, мимо которых в мёртвом свете фонарей мелькают, не задерживаясь, придворные кареты, мчатся рысаки и шастают цыганки. На пути к дворцам — кабак!

Императорский парк — приватный строгий кабинет — прохладная детская за дощатым забором — вот прямой маршрут царскосельской музыки. В том, что эта «детская» предстает «кабаком», сквозит не кощунство, а недостижимая предшествующей царскосельской поэзией ступень лирического откровения и дерзновения. Ахматова создаёт своего рода низовую царскосельскую мифологию, ей подчиняет свою музу: на самом деле никакого «кабака» в доме Шухардиной не было, как не было «до чугулки» и самого дома, а был на этом месте — пустырь**. «Низкое», «прозаическое», как уже говорилось, — необходимое условие существования «высокого», «поэтического». Истинно эстетическим художественная практика XX века утверждает преимущественно то отношение к предмету изображения, в котором таится потенция чувства, противоположного выраженному.

9

Николай Пунин, кажется, развивая Гумилёва, сделал Ахматовой как поэту самый изысканный из известных мне комплиментов: «Ты поэт местного, царскосельского значения». Совершенно напрасно расценивать эти слова как иронические или уничижительные. Они были взяты на эпиграф к «Царскосельской оде», заменённый позже совсем уж «местной», цитировавшей, строчкой Гумилёва: «А в переулке забор дощатый». Ничего смешного применительно к Ахматовой произнесённое словечко «местного» не содержит. Оно ключевое и верное. «Местное» — самая питательная среда для царскосельской гениальности.

Сходное переживание может распространяться и на самого Пушкина. Более простодушно, чем Пунин, его выражает упоминавшийся уже выпускник Лицея Владимир Зотов, почтивший в полувековую годовщину гибели Пушкина: «не всенародного — лицейского поэта» («Памяти лицейского поэта», 1887).

«Ковш душевной глуби», каким является, по определению Пастернака, детство, — провинциальный ковш. Можно сказать, что и само детство для каждого лирически настроенного человека — «провинциально». «Провинциально» в перспективе свободного пространства целой жизни. По сравнению с этим провинциальным, «местным значением» «царскосельское значение» — это уже производная, ставшая путеводной, величина, своего рода вектор, указывающий индивидуальный путь. И я думаю — тайно, для себя, Ахматова со словами Пунина была в ладу. Наряду со строчкой Гумилёва они

* Мандрыкина Л. А. «Я ... видела события, которым не было равных»: из рукописного наследия А. А. Ахматовой // Ленинградская панорама / сост. Я. А. Гордин. Л., 1984. С. 478.

** См. об этом: Корнилова Н. А. Анна Ахматова: возвращения в Царское Село // Царскосельская газета. 2010. № 11. 4 марта. С. 9.



стоят эпиграфом к «Царскосельской оде» (не напечатанные «для других», вписывались автором в экземпляры близких людей).

Зачахшая царскосельская культура могла бы стать достоянием частного быта, что тоже имело свои немалые резоны. Сидеть в своём кабинете под лампой с абажуром и, наслаждаясь анонимностью, оставив барокко и ампи́р зевакам и детям, ворожить над культурой, не заботясь о том, гениа-лен ты или нет, — эта поза Анненского имела некогда шанс утвердиться в царскосельской жизни и утвердить её. Отчасти и утвердилась. Во всяком случае новым, сегодня творящим поэтам она близка. Стихи Елены Ушаковой 1999 года — с эпиграфом из Анненского — в этом отношении образцовы:

Там, где волшебное не спорит с захоластным,
А дружит с ним, крапива и лопух
Вплетаются в строку глухим, невнятным, устным,
Шершавым словом и ласкают слух.

И так случилось, что провинция — защита
Культуры, низкой жизни сор и грязь
Здесь очищаются, железа и гранита,
Их прямизны и рамок сторонясь.

Ахматовой подобная ипостась культуры не была вовсе чужда. Но в большей степени она ценила безытную духовность, «философию нищеты». В её поэзии сквозит оппозиционная императорской статичности, так сказать, «вторая царскосельская культура», ею лирически приподнятая и возвеличенная.

Обозначившееся противостояние во многом идёт от произошедшей в стихах Ахматовой — по выражению Романа Тименчика — «русификации Царского Села», резко отличной от того, как она явлена, скажем, у Николая Клюева, привнесившего национальные черты в царскосельскую культуру извне и издалека. Алексей Баталов пишет, что само явление Анны Андреевны царскосельским паркам «русифицировало» их пейзаж. «...Неяркий тихий день... полуразрушенные перила мостов с разбитыми декоративными вазами, недвижная чёрная вода в заросших берегах, пустые покосившиеся, словно покинутые своими изваяниями, мраморные пьедесталы на перекрестках и тёмная фигура пожилой женщины в платке — всё это составляло мир какой-то хрестоматийной русской картины»*, — пишет он о прогулке с Ахматовой в послевоенном Пушкине.

В этом отношении ахматовские царскосельские преображения сродни блоковскому взгляду на эти места как бы сквозь русские очки. «Там тишина, сквозные леса, снег запорошил траву. <...> Ни звука. Только поезда поют на разных ветках железной дороги», — пишет Блок матери 26 октября 1908 года о поездке в Царское Село**. А уже следующим днём помечен первый вариант стихотворения «Опять над полем Куликовым...».

Предпочитавший северные, менее фешенебельные пригороды Петербурга, Озерки и Шувалово, Блок в Царском появлялся редко и его роскошью, подобно Лермонтову, заморожен не был, отдав, впрочем, неоригинальную дань «сияющим водам», лебедям и тому, что «Пушкиным пахнет». Но в общем смотрел на местность как-то *сквозь* дворцовые ансамбли, не замечающим их взором: «...огромная даль. Сегодня ночью увидели мы из Царского пожар»***. Едва ли не отсюда, откуда-нибудь из Кузьмино, ничем не при-

* Баталов А. Рядом с Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 557.

** Блок А. Собр. соч. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 256.

*** Там же. С. 247 (письмо матери от 18 июля 1908 г.).

мечательного царскосельского предместья, представился ему «...над Русью далече / Широкий и тихий пожар». Здесь ему пригрезилось, как «Опять с вековою тоскою / Пригнулись к земле ковыли». Эрих Голлербах пишет на этот счет категорично: «...за Кузьминскими воротами, в тумане вечерней долины, зародилось „Куликово поле“»*.

Ахматова видит чужестранцами построенные дворцы, не нами сотворенные статуи, европейские сады и парки... И что же? Особенно привлекают её на этом фоне наш российский сорняк, «пушкинская» увядающая ива, наш, с грязцой, быт, мещанские палисадники, кабацкий надрыв. Разгул, всяческий соблазн на фоне бывшего великолепия как-то неизъяснимо хорош, то есть притягателен. Приметы царскосельского «былого» для Ахматовой не в том, что оно «чуждо вьет», как у Тютчева, но в том, что оно вьет жутью.

«Вот аттракцион „Убей Дантеса“ / В многолюдном парке царскосельском...», — извлекает эту жуть на свет, трудно сказать — «божий», Сергей Стратановский. И другой современный поэт, Алексей Пурин, видит в наши дни то, на что другие закрывают глаза: «В Царском Селе, запотевшем, как тонкий стакан, / бритоголовый немецкий стоит истукан». И ведь на самом деле стоит — на Софийском бульваре, Эрнст Тельман, дружеская реплика из ГДР... Как тут было не вообразить Виктору Кривулину в этих краях: вот он, «Пушкин в виде Данко, освещающий людям путь» (1985). Этому поэту достаточно было взглянуть окрест себя, чтобы генерализовать:

роддом отечественных Муз
какой-то славы дын военный
лицо покойного стиха —
в его хладеющие члены
вдохнёшь ли дух ВДНХ?

Таково открытое и утверждённое в поэзии наследниками автора «Кипарисового ларца» «загадочное будничное» слово. В ХХI веке оно не в восторге ни от дворцов, ни от великокняжеских усадеб. У Нины Савушкиной сторожащие их призраки сами предостерегают потомство от иллюзий. В канун очередной лицейской годовщины они напутствуют нас такими правдивыми речами среди дряхлеющих аллей:

...И звенят в чертополохе
ледяными семенами
сквозняки другой эпохи,
не срастающейся с нами.

(«Лаборатория»)

Под стихотворением дата: 18 октября 2001 года.

В XVIII веке место поэта Василия Рубана было определено — толкаться где-нибудь в прихожей «Высочайшего Двора». В тех дворах, где проводит дни современный поэт, нет и следов позолоты, как нет её и в самих его стихах:

Я вижу Валю-монтёра, краснорожий, полутораногий,
Короткой ногой здоровую задевая, будто строгая,
Он спешит в магазин за водкой, огромный и одинокий,
Хоть Юркина мать и болтает, что там что ни день другая.

(Вячеслав Лейкин. «Памяти друга», 1984)

И это — поэзия. Поэзия, очищенная от внеположных примесей и бредней.

* Голлербах Э. Город муз. С. 163.



Анненский между дворцом и кабаком поместил свою благоустроенную, хотя поначалу и казенную, квартиру. «...Никогда не утомляло меня — как утомляет почти всё на свете — сидеть под огромным абажуром...», — признавался он*. Главное, что не под люстрой.

В 1910-е годы царскосельские особнячки стали оплотом нового художественного направления в старом, как мир, искусстве. В кабинете Сергея Маковского на «улице белых домов» составлялись книжки «Аполлона», у Гумилёва собирался «Цех поэтов». Земли, к которой самоупоенно тянулись акмеисты, хватало для них в зарослях парков и на клумбах палисадников. Какими бы трагедиями ни оборачивалась реальная жизнь, трагический пафос не входит в их обязательную эстетическую программу. Это только для символистов всех стран аксиома: «Поэт должен быть несчастен». «Не должен быть очень несчастным...» — возразит Ахматова толерантно, но твёрдо.

Люди, вкус к подобной культурной установке чувствовавшие, не переводились и за гранью «аполлоновских» и «гиперборейских» дней. И после революции, живя, по выражению Ады Оношкович-Яцыны, в «ясной пустоте» Детского Села, они пестовали свое царскосельство. Прежде всего — Валентин Кривич и Эрих Голлербах, ревностные адепты и собиратели «чудного былого» царскосельской выделки, оставшихся крупниц культуры. Знали они толк не только в экслибрисах, гербах и гравюрах, но и в Розанове, и в Бердяеве... И в буддизме, который Голлербах смело предпочёл унаследованному от предков лютеранству.

Но вот чем люди их круга себя занимали: «Благодарю Вас ещё раз за любезное желание предоставить мне имеющиеся у Вас 3 гербовых печатки, со своей стороны мог бы предложить Вам книжицу Н. Н. Врангеля...» — пишет, к примеру, Голлербах Владиславу Лукомскому летом 1923 года**. Вынесенное им из царскосельского «бабушкиного флигеля» «пристрастие к старинным, потёртым, благородным вещам, к ампирной мебели, к бронзе, к музыке стенных часов»*** провоцирует двоякое к себе отношение. Оно не в духе Ахматовой, но всё-таки входит в «общий замысел» новой царскосельской культуры, представленной тем же Анненским.

Из поэтов, усвоивших и преобразивших наследие обоих, выделим Александра Кушнера. Глубокая культурная отзывчивость диктует ему строчки о «барочной пене», не упраздняя доверчивой любви к самым простым вещам, к будущему «за морем одуванчиков». И, что ещё существеннее, Кушнеру дано умение превращать в поэзию житейские прописи, внимания, тем более любви, никак не достойные:

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Что ни год получает
По письму, по письму.

Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья —
Содержанье письма.

(1970)

* Анненский И. Письма. Т. 1. С. 416.

** ОР РНБ. Ф. 207. Ед. хр. 58. Л. 33.

*** Голлербах Э. Ф. Разъединённое // Голлербах Э. Встречи и впечатления. С. 22.

Как и ахматовская «Царскосельская ода», стихотворение написано в размере, дарованном царскосельской поэзии Анненским, его «Снегом» — с той же темой любви к повседневной вечности, к её торжествующей над человеческими свершениями обыденности: «...Но люблю ослабелый / От заоблачных нег — / То сверкающе белый, / То сиреневый снег...»*

В стихотворении «Руины» (1975), отклике на царскосельскую романтическую готику, Кушнер высказывается прямо:

Как вы страшны, бывшие идеалы,
Как вы горьки, любовные прощанья,
И старых дружб мгновенные обвалы,
Отчаянья и разочарованья!

Следуя и преображая тему Анненского, писавшего в Царском Селе о «чём-то недоборе», Кушнер обуюн «тоской о вечном недоборе» («И если я в ад попаду...», 1967). Ещё выразительнее эта новая царскосельская эстетика выражена им в отклике на посещение пушкинских мест, в «Белых стихах» (1984), хранящих память о «Вновь я посетил...» и украшенных «незначительными» подробностями:

...Меня ничто, ничто не задевало,
Вот только полукруглая одна
Верандочка, стеклянная игрушка,
Построенная для игры в лото
И чтенья вслух, скрипучая, сквозная,
Непрочная, верандочка, залог
Другой какой-то, невозможной жизни...

Борис Эйхенбаум в книге об Ахматовой 1923 года написал: «Героиня Ахматовой, объединяющая собой всю цепь событий, сцен и ощущений, есть воплощенный „оксюморон“»**. А оксюморон — это такая стилистическая фигура, которая создаёт новое, небывалое прежде понятие из взаимоисключающих признаков. Например, «живой труп», «счастливая беда», «убогая роскошь». И это такие поэты, которым «весело грустить». «Оксюмороном» была не только новая царскосельская поэзия, в которой господствовала ахматовская «весенняя осень», — «оксюмороном» глядит жизнь и смерть, «смертожизнь» самих царскосельских поэтов, начиная с Анненского.

Автор «Кипарисового ларца» открыл и утвердил в поэзии «загадочное будничное» слово, определив его в письме к Максимилиану Волошину 6 марта 1909 года как «самое страшное и властное». И завершил он свой путь столь же «загадочной» — «будничной» смертью***. Сами похороны поэта вызвали у современника представление о «весне» среди зимы, о русском захолустье среди императорского великолепия: «...белый катафалк с гробом, с венками лавров и хризантем медленно и тяжело двигался по вязкому и мокрому снегу; дорогу развезло; ноябрьская оттепель обнажила суровые

* Просодически и Анненский, и Ахматова, и Кушнер наследуют П. А. Вяземскому, его «Палестине» (1850), написанной почти не встречающимися в русской поэзии XIX в. двухстопными анапестами с чередующимися женскими и мужскими рифмами: «Свод безоблачно синий / Иудейских небес...». Кушнер позднего Вяземского ценит, хотя выделяет для себя скорее «Вакханалию» (1957, опубл. в 1965) Пастернака, начинающуюся с «зимнего неба». Всё же во второй половине XX в. в Ленинграде и Пушкине редкий размер получил распространение в первую очередь благодаря «Царскосельской оде».

** Цит. по: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л. 1969. С. 145.

*** См.: Анненский И. Ф. Письма. Т. II. С. 288.



загородные дали; день был тихий, строгий, дымчатый; земля кругом была та страшная „весенняя“, с которой у него соединялся образ смерти»*.

Вот и для Ахматовой — как и для русского полузабытого словаря в целом — царскосельский «парадиз» одновременно и «рай», и «раёк» (галерка). Волшебное в его пейзаже соседствует с захолустным:

И так близко подходит чудесное
К развалившимся *грязным* домам.

(«Все расхищено, предано, продано...», 1921; курсив мой. — А. А.).

Стилеобразующ в этой новой поэтике не «царскосельский сюсюк», а «царскосельский ворованный воздух», как непроизвольно вырвалось в прощальных сумерках Екатерининского парка у Натальи Горбаневской, чей поэтический дебют некогда приветствовала Ахматова. Вырвалось и через годы стало стихами:

...тех прощальных сумерек звёздных
царскосельский ворованный воздух.

(«Поскучай обо мне, без меня...», 1983–1985)

Этот «воздух» в равной степени украден и у задохнувшегося лирика Анненского, и у расстрелянного Гумилёва, и у загубленной царской семьи, и у извозчика, и у мастерового...

Но и поэзия в свой — окончательный — черёд уворовала его у душегубов, создав из этого «ничто», из этого «воздуха» свободную культуру, «ворованный воздух», о котором писал в «Четвёртой прозе» Мандельштам: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешённые и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух».

Этот таинственный воздух царскосельской музыки над дощатыми заборами по переулкам, над лопухами и крапивой, среди «дряхлого пука деревьев» стоит в современной поэзии всех «китайских затей». В «садах прекрасных», в их «сумраке священном» он по-прежнему живителен.

* Волошин М. А. Лики творчества. Л., 1988. С. 528. По замечанию А. С. Кушнера, это описание отсылает к тексту самого Анненского, к его «Балладе».

СОДЕРЖАНИЕ

Петербургский контекст (*Алексей Пурин*) — место 3

Вагон № 1

Михаил АЛЕКСАНДР — место 6
Ольга АНИКИНА — место 10
Евгений АНТИПОВ — место 14
Алексей АХМАТОВ — место 18
Владимир БАУЭР — место 22
Анатолий БЕРГЕР — место 26
Валерий БОБРЕЦОВ — место 30
Тамара БУКОВСКАЯ — место 34
Александр ВЕРГЕЛИС — место 37
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ — место 41
Николай ГОЛЬ — место 45

Вагон № 2

Борис ГРИГОРИН — место 50
Дмитрий ГРИГОРЬЕВ — место 52
Виталий ДМИТРИЕВ — место 56
Елена ДУНАЕВСКАЯ — место 60
Елена ЕЛАГИНА — место 64
Владимир ЗАХАРОВ — место 68
Валерий ЗЕМСКИХ — место 71
Галина ИЛЮХИНА — место 75
Евгений КАМИНСКИЙ — место 79
Вероника КАПУСТИНА — место 83

Вагон № 3

Ольга КИРЕЕНКО — место 86
Александр КОМАРОВ — место 90
Игорь КУБЕРСКИЙ — место 94
Александр КУШНЕР — место 98
Игорь ЛАЗУНИН — место 102
Олег ЛЕВИТАН — место 106
Дмитрий ЛЕГЕЗА — место 109
Вячеслав ЛЕЙКИН — место 113
Валентина ЛЕЛИНА — место 117
Александр ЛЕОНТЬЕВ — место 121
Елена ЛИТВИНЦЕВА — место 125

Вагон № 4

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД — место 130
Алексей МАШЕВСКИЙ — место 134
Арсен МИРЗАЕВ — место 138
Алла МИХАЛЕВИЧ — место 142
Валерий МИШИН — место 146
Сергей НИКОЛАЕВ — место 149
Наталия ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА — место 153
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ — место 157
Вадим ПУГАЧ — место 161

Вагон № 5

Алексей ПУРИН — место 166
Давид РАСКИН — место 170
Владимир РЕЦЕПТЕР — место 174
Светлана РОЗЕНФЕЛЬД — место 179
Нина САВУШКИНА — место 183
Валерий СКОБЛО — место 187
Анастасия СКОРИКОВА — место 191
Калерия СОКОЛОВА — место 195
Сергей СТРАТАНОВСКИЙ — место 199
Александр ТАНКОВ — место 203

Вагон № 6

Александр ТЕНИШЕВ — место 208
Валерий ТРОФИМОВ — место 211
Елена УШАКОВА — место 215
Александр ФРОЛОВ — место 219
Валерий ЧЕРЕШНЯ — место 223
Валерий ШУБИНСКИЙ — место 227
Лариса ШУШУНОВА — место 232
Нора ЯВОРСКАЯ — место 236
Вадим ЯМПОЛЬСКИЙ — место 240
Михаил ЯСНОВ — место 243

Вагон № 7

Международный

Ася ВЕКСЛЕР — место 248
Ксения ДЬЯКОНОВА — место 252
Елена ИГНАТОВА — место 256
Ольга МАРТЫНОВА — место 260
Михаил ОКУНЬ — место 264
Борис ПАРАМОНОВ — место 268
Евгений СЛИВКИН — место 272

Вагон № 8

Почтовый

Виктор АНДРЕЕВ — место 278
Александра ГЛЕБОВСКАЯ — место 282
Николай ГОЛЬ — место 287
Елена ДУНАЕВСКАЯ — место 291
Анастасия МИРОЛЮБОВА — место 295
Ирина МИХАЙЛОВА / Алексей ПУРИН — место 299
Давид РАСКИН — место 303
Калерия СОКОЛОВА — место 306
Сергей СТЕПАНОВ — место 307
Михаил ЯСНОВ — место 311

Вагон № 9

Багажный

Владимир ВЕЙДЛЕ — место 316
Андрей АРЬЕВ — место 332

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Приобрести альманах можно в Союзе российских писателей
(Москва, ул. Поварская, д. 52, офис 32, e-mail: vsrp@mail.ru);
возможна рассылка наложенным платежом.

С электронной версией «Паровоза» можно познакомиться на сайте:

<http://www.voloshin-fest.ru/shop/12/desc/parovoz>

ДЛЯ СПРАВОК:

в Москве тел. +7 (495) 691-03-45,
e-mail: vsrp@mail.ru

в Санкт-Петербурге: тел. +7 (921) 186-57-24;
e-mail: vk11382@mail.ru

Литературно-художественное издание

Паровозъ

ПОЭТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ-НАВИГАТОР

Союза российских писателей

Состав 9–2019

Уважаемые коллеги, ждём ваших материалов
(поэтических подборок, эссе и критических статей о текущей поэзии
поэтах, вышедших книгах современников)
по адресу: parovoz-srp@mail.ru

Редактор *В. С. Кизило*
Корректор *Е. В. Разинкина*
Верстка *А. В. Васильевой*

Союз российских писателей
Москва, ул. Поварская, д. 52, оф. 32

Подписано в печать 07.11.2019. Печать офсетная.

Печ. л. 23. Формат 70 × 108 ¹/₁₆.

Тираж 1000 экз. Заказ № 2732.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Контраст»
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38, лит. А